ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА   
Часть Первая

**ПРЕДИСЛОВИЕ ЗАРАТУСТРЫ**

О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ И ПОСЛЕДНЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

1.

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, он покинул отечество и родное озеро и удалился в горы. Здесь наслаждался он духом своим и одиночеством и не утомлялся счастьем этим целых десять лет. Но наконец преобразилось сердце его, и однажды утром, поднявшись с зарей, встал он перед солнцем и так обратился к нему:

"Великое светило! В чем было бы счастье твое, не будь у тебя тех, кому ты светишь?

Десять лет восходило ты над пещерой моей: ты пресытилось бы светом и восхождением своим, не будь меня, моего орла и моей змеи.

Но каждое утро мы ждали тебя, принимали щедрость твою и благословляли тебя.

Взгляни! Я пресытился мудростью своей, словно пчела, собравшая слишком много меда; и вот – нуждаюсь я в руках, простертых ко мне.

Я хочу одарять и наделять, пока мудрейшие из людей не возрадуются вновь безумию своему, а бедные – своему богатству.

И потому должен я сойти вниз, как ты, когда каждый вечер погружаешься в пучину моря, неся свет свой нижнему миру, ты, богатейшее из светил!

Подобно тебе, должен я *закатиться* [[**1**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-1)], – так называют это люди, к которым хочу я сойти.

Так благослови же меня, о спокойное око, без зависти взирающее и на величайшее счастье!

Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы драгоценная влага струилась из нее, разнося всюду отблеск блаженства твоего!

Взгляни! Эта чаша готова вновь опустеть, а Заратустра хочет снова стать человеком".

Так начался закат Заратустры.

2.

Заратустра спустился с горы, не повстречав никого на своем пути. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, оставивший священную хижину свою, чтобы поискать в лесу кореньев. И обратился старец к Заратустре с такими словами:

"Мне знаком этот странник: несколько лет тому назад проходил он здесь. Имя его Заратустра; но преобразился он.

Тогда ты свой пепел нес в горы: неужели ныне хочешь ты нести огонь свой в долины? Неужели не боишься кары, грозящей поджигателю?

Да, я узнаю Заратустру. Взор его чист, и нет на лице его отвращения. Не оттого ли и идет он так, словно танцует?

Заратустра изменился, ребенком стал Заратустра и пробудился от сна. Чего же хочешь ты от спящих?

Словно в море, погрузился ты в одиночество, и море носило тебя. Увы! Тебе хочется снова выйти на берег? И опять самому таскать бренное тело свое?"

И отвечал Заратустра: "Я люблю людей".

"Но не потому ли, – сказал святой, – ушел я в лес и пустыню, удалившись от всех, что слишком любил людей?

Теперь я люблю Бога: людей я не люблю. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к нему убила бы меня".

Заратустра отвечал: "Разве говорил я что-то о любви? Я несу людям дар".

"Не давай им ничего, – сказал святой, – лучше возьми у них часть их ноши и неси вместе с ними – это будет для них лучше всего, если только это будет по вкусу и тебе самому!

И если хочешь ты давать им, дай не больше милостыни, да еще заставь просить ее!"

"Нет, – отвечал Заратустра, – я не подаю милостыню. Для этого я недостаточно беден".

Святой посмеялся над Заратустрой и сказал: "Так постарайся же, чтобы они приняли сокровища твои! Не доверяют они отшельникам и не верят, что приходим мы к ним ради того, чтобы дарить.

Слишком одиноко звучат шаги наши по их улицам. И если ночью, лежа в своих постелях, задолго до восхода солнца услышат они идущего человека, то спрашивают сами себя: "Куда это крадется вор?"

Так не ходи же к людям, оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, подобно мне, – медведем среди медведей, птицей среди птиц?"

"А что святой делает в лесу?" – спросил Заратустра.

И тот отвечал: "Я слагаю песни и пою их; слагая песни, я смеюсь, плачу и напеваю: так славлю я Бога.

Пением, плачем и смехом славлю я Бога, Господа моего. Что же несешь ты нам в дар?"

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: "Что могу дать я вам! Лучше позвольте мне уйти поскорее отсюда, чтобы ничего не отнять у вас!". И так расстались они друг с другом, старец и муж, смеясь, словно двое детей.

Но когда Заратустра остался один, так сказал он в сердце своем: "Возможно ли это? Этот святой старец в своем лесу еще ничего не слышал о том, что *Бог умер!"*.

3.

Придя в ближайший город, что располагался за лесом, Заратустра увидел толпу людей, собравшихся на базарной площади, ибо было им обещано зрелище – канатный плясун. И обратился Заратустра к народу с такими словами:

*"Я учу вас о Сверхчеловеке*. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что сделали вы, дабы преодолеть его?

Доныне все существа создавали нечто, что выше их; вы же хотите стать отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверям, чем преодолеть человека?

Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище либо мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для Сверхчеловека – посмешищем либо мучительным позором.

Вы совершили путь от червя до человека, но многое еще в вас – от червя. Когда-то были вы обезьянами, и даже теперь человек больше обезьяна, нежели иная из обезьян.

Даже мудрейший из вас есть нечто двусмысленное и неопределенно-двуполое, нечто среднее между тем, что растет из земли, и обманчивым призраком. Но разве велю я вам быть тем либо другим?

Слушайте, я учу вас о Сверхчеловеке!

Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же и воля ваша скажет: *Да будет* Сверхчеловек смыслом земли!

Заклинаю вас, братья мои, *оставайтесь верны земле* и не верьте тем, кто говорит вам о неземных надеждах! Они – отравители; неважно, знают ли они сами об этом.

Они презирают жизнь; это умирающие и сами себя отравившие, это те, от которых устала земля: да погибнут они!

Прежде величайшим преступлением была хула на Бога, но Бог умер, и эти преступления умерли вместе с ним. Теперь же самое ужасное преступление – хулить землю и чтить непостижимое выше смысла земли!

Некогда душа с презрением смотрела на тело: и тогда чем-то высшим считалось презрение это. Душа жаждала видеть тело тощим, отвратительным и голодным – так надеялась она освободиться от него и от земли.

О, та душа сама была тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была наивысшим наслаждением для нее.

Но скажите мне, братья мои, что говорит ваше тело о вашей душе? Не есть ли ваша душа – бедность, и грязь, и жалкое самодовольство?

Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять его в себя и не стать нечистым.

И вот – я учу вас о Сверхчеловеке: он – это море, где потонет великое презрение ваше.

В чем то высокое, что можете вы пережить? Это – час *великого презрения*: час, когда счастье ваше становится для вас таким же отвратительным, как разум ваш и добродетель.

Час, когда вы говорите: "Что есть счастье мое? Оно – бедность, и грязь, и жалкое самодовольство. Но оно должно быть таким, чтобы служить оправданием и самому бытию!".

Час, когда вы говорите: "В чем мой разум? Добивается ли он знания, как лев пищи своей? Мой разум – бедность, и грязь, и жалкое самодовольство!".

Час, когда вы говорите: "В чем добродетель моя? Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра и зла своего! Все это – бедность, и грязь, и жалкое самодовольство!".

Час, когда вы говорите: "В чем справедливость моя? Ибо я не пламя и не уголь. А справедливый – это пламя и уголь!".

Час, когда вы говорите: "В чем сострадание мое? Разве оно не крест, к которому пригвождают того, кто любит людей? Но мое сострадание – не распятие!".

Говорили вы так? Кричали так? О, если бы я уже слышал все это от вас!

Не грехи ваши – то самодовольство ваше вопиет к небу, ничтожество грехов ваших вопиет к небу!

Где же та молния, что лизнет вас языком своим? Где то безумие, которое должно внушить вам?

Внемлите, я учу вас о Сверхчеловеке: он – та молния, он – то безумие!".

Когда Заратустра закончил речи свои, кто-то крикнул из толпы: "Довольно мы уже слышали о канатном плясуне; пусть теперь нам покажут его!". И весь народ смеялся над Заратустрой. А канатный плясун, думая, что речь шла о нем, принялся за свое дело.

4.

Заратустра смотрел на толпу и удивлялся. Потом говорил он так: "Человек – это канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат над пропастью.

Опасно прохождение, опасна остановка в пути, опасен взгляд, обращенный назад, опасен страх.

Величие человека в том, что он мост, а не цель; и любви в нем достойно лишь то, что он – *переход и уничтожение*[[**2**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-2)].

Я люблю того, кто не умеет жить иначе, кроме как во имя собственной гибели, ибо идет он по мосту.

Я люблю того, кто несет в себе великое презрение, ибо он – великий почитатель и стрела, томящаяся по другому берегу.

Я люблю того, кто не ищет в небесах, за звездами, основания для того, чтобы погибнуть и принести себя в жертву; того, кто приносит себя в жертву земле, чтобы когда-нибудь стала она землей Сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет ради познания и стремится познавать во имя того, чтобы жил некогда Сверхчеловек. Ибо так хочет он гибели своей.

Я люблю того, кто работает и изобретает, чтобы выстроить жилище для Сверхчеловека и для него приготовить землю, животных и растения: ибо так хочет он гибели своей.

Я люблю того, кто любит добродетель свою: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела желания другого берега.

Я люблю того, кто не оставляет для себя ни единой капли духа, но жаждет быть всецело духом добродетели своей: так, подобно духу этому, проходит он по мосту.

Я люблю того, кто из добродетели своей делает влечение и судьбу: только ради добродетели своей еще хочет он жить, и не жить более.

Я люблю того, кто не стремится иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель сильнее двух, ибо тогда она становится тем узлом, на котором держится судьба.

Я люблю того, кто расточает душу свою[[**3**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-3)], кто не хочет благодарности и сам не воздает ее: ибо он одаряет всегда и не стремится уберечь себя.

Я люблю того, кто стыдится, когда счастье сопутствует ему в игре, и вопрошает себя: "Неужели я нечестный игрок?" – ибо жаждет он все потерять.

Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди дел своих и всегда исполняет больше, чем обещал: ибо жаждет он гибели.

Я люблю того, кто оправдывает грядущее поколение, а прошедшее – избавляет, ибо жаждет он гибели от ныне живущих.

Я люблю того, кто наказует Бога своего, потому что любит его: ибо от гнева Господа своего должен он погибнуть.

Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах ее; кого может погубить малейшее испытание: охотно идет он по мосту.

Я люблю того, чья душа переполнена настолько, что он забывает себя и вмещает в себя все вещи. Так все, что вмещает он, становится его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и сердцем; того, чей разум – лишь малая частица сердца его – сердца, влекущего к гибели.

Я люблю всех, кто подобен тяжелым каплям, падающим одна за другой из темной тучи, нависшей над человечеством: они предвещают приближение молнии и гибнут, как провозвестники.

Смотрите, я – провозвестник молнии, я – тяжелая капля из грозовой тучи; а имя той молнии – *Сверхчеловек"*.

5.

Произнеся эти слова, Заратустра снова взглянул на толпу и умолк. "Вот стоят они и смеются, – говорил он в сердце своем, – они не понимают меня: не для их слуха речи мои.

Неужели надо сначала лишить их ушей, чтобы они научились слушать глазами? Неужели надо греметь, подобно литаврам, и трещать, словно проповедники покаяния? Или, быть может, верят они только заикающемуся?

Есть у них нечто, чем гордятся они. Как же именуют они предмет гордости своей? Они называют его "культурой", которая, по их словам, отличает их от пастухов.

Поэтому не любят они принимать на свой счет слово "презрение". Тогда стану я взывать к их гордости.

Я буду говорить им о самом презренном, а самый презренный – это *последний человек"*.

И обратился Заратустра к народу с такими словами:

"Настало время человеку поставить себе цель. Пора ему посадить росток высшей надежды своей.

Пока еще изобильна и щедра земля его: но придет время, и станет она скудной и бессильной, и ни одно высокое дерево уже не вырастет на ней.

Горе! Приближается время, когда человек уже не сможет пустить стрелу желания своего выше себя, и тетива лука его разучится дрожать.

Я говорю вам: надо иметь в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас пока еще есть хаос.

Горе! Приближается время, когда человек не сможет более родить ни одной звезды. Горе! Приближается время презреннейшего человека, который не в силах уже презирать самого себя.

Смотрите! Я покажу вам *последнего человека*.

"Что такое любовь? Что такое созидание? Что такое страсть? Что такое звезда?" – так вопрошает последний человек и недоуменно моргает глазами.

Земля стала маленькой, и на ней копошится последний человек, который все делает таким же ничтожным, как он сам. Его род неистребим, как земляные блохи: последний человек живет дольше всех.

"Счастье найдено нами", – говорят последние люди, бессмысленно моргая.

Они покинули страны, где было холодно, ибо нуждались в тепле. Они еще любят ближнего и жмутся друг к другу – потому только, что им нужно тепло.

Болезнь и недоверчивость считаются у них грехом, ибо ходят они осмотрительно. Только безумец может натыкаться на камни и на людей!

Время от времени – немножко яду: он навевает приятные сны. И побольше яду напоследок, чтобы было приятнее умереть.

Они еще трудятся, ибо труд для них – развлечение. Но они заботятся о том, чтобы развлечение это не утомляло их чрезмерно.

Не будет уже ни бедных, ни богатых: и то, и другое слишком хлопотно. И кто из них захочет повелевать? Кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно.

Нет пастыря, есть одно лишь стадо[[**4**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-4)]! У всех одинаковые желания, все равны; тот, кто мыслит иначе, добровольно идет в сумасшедший дом.

"Прежде весь мир был безумным", – говорят самые проницательные из них и бессмысленно моргают.

Все они умны, они все знают о том, что было: так что насмешкам их нет конца. Они еще ссорятся, но быстро мирятся – сильные ссоры нарушили бы их покой и пищеварение.

Есть у них и свои маленькие удовольствия: одно – днем, другое – ночью; но более всего они пекутся о здоровье.

"Мы открыли счастье", – говорят последние люди и бессмысленно моргают".

Так закончилась первая речь Заратустры, которую называют также "Предисловие", потому что на этом месте его прервали крики и ликование толпы: "Дай же нам этого последнего человека, – восклицала толпа, – сделай нас последними людьми, о Заратустра! Не нужен нам твой Сверхчеловек!". И все ликовали, прищелкивая языками. Но опечалился Заратустра и так сказал в сердце своем:

"Они не понимают меня: не для этих ушей мои речи.

Слишком долго жил я в горах, слишком часто прислушивался к шуму ручьев и деревьев, оттого и обращаюсь я к ним, словно к пастухам.

Как горы в утренний час, безмятежна и светла душа моя. Они же думают, что я холодный насмешник и тешусь злыми шутками.

Вот смотрят они на меня и смеются, а смеясь, еще и ненавидят меня. Лед в смехе их".

6.

Но тут случилось нечто такое, что сделало все уста немыми и взоры неподвижными, ибо в это время за свое дело принялся канатный плясун; он появился из-за маленькой дверки и пошел по канату, натянутому между двумя башнями над базарной площадью, полной людей. Когда одолел он уже полпути, дверка снова отворилась, и какой-то малый, одетый, как паяц, во все пестрое, выскочил из нее и быстро пошел по канату вслед за первым.

"Вперед, хромоногий, – закричал он страшным голосом, – вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, как бы я не пощекотал тебя своей пяткой! Что делаешь ты здесь, между башнями? Твое место в башне, туда бы и запереть тебя,

чтобы не загораживал дорогу тому, кто лучше тебя!" – И с каждым словом он все приближался к канатному плясуну, а когда подошел на расстояние одного шага, произошло нечто ужасное, что сделало все уста немыми и взоры неподвижными: он испустил дьявольский крик и перепрыгнул через того, кто преграждал ему путь. Канатный же плясун, увидев, что соперник побеждает, потеряв голову и равновесие, бросил свой шест и полетел в бездну, словно вихрь мелькающих в воздухе ног и рук. Толпа на площади волновалась, как море, когда налетает буря: в смятении, сбивая друг друга с ног, все ринулись в разные стороны, но большей частью туда, куда падало тело.

Заратустра же не двинулся с места, и прямо возле него упал канатный плясун, весь изувеченный и разбитый, но еще живой. Через некоторое время сознание вернулось к нему, и он увидел Заратустру, стоявшего рядом на коленях. "Что делаешь ты здесь? – спросил несчастный. – Я давно знал, что сам черт подставит мне ногу. Теперь он потащит меня в преисподнюю: неужели ты хочешь помешать ему?"

"Клянусь честью, друг, – отвечал Заратустра, – не существует ничего такого, о чем говоришь ты: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем тело: не бойся же ничего!"

Умирающий взглянул на него с недоверием. "Если ты говоришь правду, то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я не более чем животное, которое побоями и голодом научили плясать".

"О, нет, – сказал Заратустра, – опасность стала призванием твоим, а за это нельзя презирать. Теперь же призвание твое привело тебя к гибели. За это я сам похороню тебя".

На эти слова умирающий уже ничего не ответил; он только шевельнул рукой, как бы ища руку Заратустры, чтобы поблагодарить его.

7.

Между тем наступил вечер, и базарная площадь погрузилась во тьму; уже разбрелся народ, ибо даже любопытство и страх утомляются. А Заратустра все сидел на земле рядом с мертвым, погруженный в свои мысли, так что забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер стал пронизывать одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем:

"Поистине хороший улов был у меня сегодня! Ни одного человека не уловил я, разве что мертвого.

Ужасно и все еще лишено смысла бытие человеческое: уделом человека может стать судьба паяца.

Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть Сверхчеловек, молния из темной тучи человечества.

Но далек я еще от них, и мысль моя их не достигает. Для людей я еще нечто среднее между безумцем и трупом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный недвижимый товарищ! Я отнесу тебя туда, где сам и похороню".

8.

Сказав это в сердце своем, Заратустра взвалил труп на спину и отправился в путь. Но не успел он пройти и сотни шагов, как к нему кто-то подкрался и зашептал на ухо – то был паяц из башни.

"Уходи из этого города, о Заратустра, – говорил он, – слишком многие возненавидели тебя здесь. Тебя ненавидят и добрые, и праведные и называют врагом своим и ненавистником; ненавидят верующие и говорят, что опасен ты для толпы. Счастье твое, что над тобой посмеялись: и воистину, говорил ты, словно паяц. Счастье твое, что связался ты с этой падалью: унизившись так, сегодня спас ты себя. Но уходи прочь из этого города, не то завтра я перепрыгну через тебя – живой через мертвого". И сказав это, паяц исчез, а Заратустра пошел дальше по темным улицам.

У городских ворот повстречались ему могильщики: они осветили ему факелом лицо и, узнав его, долго издевались над ним: "Заратустра уносит мертвого пса: браво, он сделался могильщиком! Даже наши руки слишком чисты для этой поживы. Уж не хочет ли он украсть кусок у самого черта? Ну что ж! Счастливо пообедать! Только черт еще лучший вор, чем Заратустра, – он украдет их обоих и сожрет!". – И могильщики шушукались между собой и смеялись.

Заратустра отвечал на это молчанием, продолжая свой путь. Два часа шел он по лесам и болотам и все время слышал вой голодных волков; наконец голод напал и на него. Он остановился у какого-то одинокого дома, в окошке которого горел свет.

"Голод нападает на меня, словно разбойник, – сказал сам себе Заратустра. – В лесах и на болотах, в глубокую полночь нападает на меня голод мой.

Странные у него капризы: часто приходит он ко мне после обеда, сегодня же я целый день не чувствовал его. Где это он замешкался?"

Говоря себе так, Заратустра постучал в дверь. Появился старик с фонарем и спросил: "Кто это пожаловал ко мне и нарушил мой скверный сон?"

"Живой и мертвый, – отвечал Заратустра. – Дай мне поесть и попить; днем позабыл я об этом. Тот, кто кормит голодного, утоляет собственную душу: так гласит мудрость".

Старик ушел, но тотчас вернулся, неся Заратустре хлеб и вино. "Плохи здешние места для голодных, – сказал он, – потому и живу я здесь. Человек и зверь приходят ко мне, к отшельнику. Но позови же и спутника своего, он проголодался не меньше тебя".

Заратустра отвечал: "Было бы трудно уговорить его разделить со мной трапезу, ибо мертв спутник мой".

"Что мне за дело, – проворчал старик, – тот, кто стучится в мой дом, пусть принимает то, что предлагают ему. Ешьте и прощайте".

Потом шел Заратустра еще два часа, вверяясь дороге и свету звезд: ибо привык он ходить по ночам и любил смотреть в лицо всему спящему. Но когда стало светать, Заратустра очутился в дремучем лесу, и не было видно ни одной дороги. Тогда положил он мертвеца в дупло дерева у своего изголовья – чтобы защитить его от волков, – а сам лег на мох под деревом. И тотчас уснул, усталый телом, но непреклонный душой.

9.

Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и полдень прошли по лицу его. Но наконец открылись глаза его: с удивлением посмотрел Заратустра на лес, погруженный в глубокую тишину, с удивлением заглянул внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, внезапно завидевший землю, и возликовал: ибо открыл он новую истину. И так говорил в сердце своем:

"Свет истины озарил меня: мне нужны последователи, и притом живые, а не мертвые – не мертвецы, которых несу я, куда хочу.

В живых последователях нуждаюсь я, в тех, что пойдут за мной, ибо хотят они следовать себе; потому и пойдут они за мной туда, куда хочу я.

Свет истины озарил меня: не к народу должен обращаться я, но к последователям! Заратустра не станет пастухом и собакой для стада!

Сманить многих из стада – вот для чего пришел я. Негодовать будут на меня народ и стадо: разбойником станут звать пастухи Заратустру.

Я сказал "пастухи", они же зовут себя добрыми и праведными. Пастухами назвал я их, они же зовут себя верующими.

Взгляните же на этих добрых и праведных! Кого больше всех ненавидят они? Разбивающего скрижали их ценностей, разрушающего и преступающего, но он и есть созидающий.

Взгляните на верующих! Кто больше всего ненавистен им? Разбивающий скрижали их ценностей, разрушающий и преступающий, но он и есть созидающий.

Последователей ищет созидающий, а не людей толпы, не мертвецов, не верующих. Тех, кто станет созидать вместе с ним, ищет он: тех, кто напишет новые ценности на новых скрижалях.

Последователей ищет созидающий и тех, кто соберет жатву вместе с ним[[**5**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-5)], ибо все у него созрело для жатвы. Недостает только сотни серпов: потому вырывает он колосья и гневается.

Последователей ищет созидающий, таких, которые умеют точить серпы свои. Разрушителями назовут их и презирающими добро и зло. Но это – жнецы и празднующие на пиру.

Тех, кто станет созидать вместе с ним, товарищей по жатве и сотрапезников ищет Заратустра: какое ему дело до мертвецов и пастухов с их стадами!

А ты, мой первый попутчик, прощай! Хорошо схоронил я тебя в дупле, надежно спрятал от волков.

Но расстаюсь я с тобой, ибо час мой настал. Между двумя зорями открылась мне новая истина.

Не стану я ни пастухом, ни могильщиком. И никогда уже не обращусь к народу: в последний раз взывал я к мертвому.

С созидающими, собирающими жатву и празднующими хочу соединиться я: покажу им радугу и все ступени, ведущие к Сверхчеловеку.

Всем одиноким и удалившимся от мира и тем, кто одинок вдвоем, буду петь я песнь свою; и тому, кто имеет еще уши, чтобы слышать неслыханное, вложу я в сердце бремя счастья моего.

К своей цели стремлюсь я, своим путем следую; я перепрыгну через медлящих и нерадивых. Да будет путь мой их гибелью!"

10.

Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стояло в зените: и тут он взглянул вверх, потому что услышал над собой пронзительный птичий крик. И что же! Описывая широкие круги, парил в небе орел и нес змею[[**6**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-6)], но не так, как носят добычу: змея обвивалась вокруг шеи его, словно подруга.

"Это звери мои!" – сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем.

"Самое гордое животное под солнцем и самое мудрое животное под солнцем – отправились они в путь; они хотели узнать, жив ли еще Заратустра. И в самом деле, жив ли я?

Опаснее мне быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня звери мои!"

Сказав это, вспомнил он, что говорил святой старец в лесу, вздохнул и произнес в сердце своем: "Хотел бы я стать умнее! О, если бы стал я столь же мудрым, как змея моя!

Но жажду я невозможного: ибо прошу гордость свою, чтобы она всегда сопутствовала мудрости моей!

И если некогда мудрость моя покинет меня – а она так любит оставлять меня, – пусть уж тогда и гордость моя вместе с глупостью уносятся прочь!"

Так начался закат Заратустры.

**РЕЧИ ЗАРАТУСТРЫ**

О ТРЕХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Я говорю вам о трех превращениях духа: о том, как дух стал верблюдом, верблюд – львом и, наконец, лев – ребенком.

Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого, способного к почитанию: всего самого трудного и тяжелого жаждет сила его.

"Что такое тяжесть?" – вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы его хорошенько навьючили.

"Герои, в чем наибольшая тяжесть? – вопрошает выносливый дух. – В том, чтобы я мог взять все это на себя и возрадовался силе своей".

Не означает ли это: унизиться, чтобы причинить боль высокомерию своему? Или заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять мудрость свою?

Или это значит: расстаться с нашим делом, когда празднует оно победу? Или подняться на высокую гору, чтобы искусить искусителя?

Или это значит: питаться желудями и травой познания и во имя истины терпеть голод души?

Или это значит: быть больным, и отослать утешителей, и свести дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего хочешь ты?

Или это значит: войти в грязную воду, если это – вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб?

Или это значит: любить тех, кто нас презирает, и протянуть руку призраку, который стремится запугать нас?

Все это, все самое трудное берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному тяжелой поклажей верблюду, спешащему в пустыню, торопится в свою пустыню и он.

Но там, в безлюдной пустыне, свершается второе превращение: там львом становится дух, добыть себе свободу желает он и сделаться господином пустыни своей.

Там ищет он своего последнего владыку: врагом хочет он стать ему, последнему господину и Господу своему, до победного конца хочет бороться с великим драконом.

Кто же он, великий дракон, которого дух отныне не хочет признавать господином и владыкой? Имя того дракона – "Ты должен". Но дух льва говорит "Я хочу".

Зверь "Ты должен" лежит на пути его, переливаясь золотой чешуей, и на каждой чешуйке блестит золотом "Ты должен!".

Блеск тысячелетних ценностей на чешуе этой, и так говорит величайший из драконов: "Ценности всех вещей переливаются на мне блеском своим".

"Созданы уже все ценности, и все они – это я. Поистине, не должно больше быть "Я хочу!" – так говорит дракон.

Братья мои, зачем нужен лев в человеческом духе? Почему бы не довольствоваться вьючным животным, покорным и почтительным?

Создавать новые ценности – этого еще не может и лев: но создать свободу для нового творчества может сила его.

Завоевать свободу и поставить священное "Нет" выше долга: вот для чего нужен лев, братья мои.

Завоевать себе право создавать новые ценности – вот чего больше всего боится выносливый и почтительный дух. Поистине, грабежом, достойным хищного зверя, кажется ему все это.

"Ты должен" некогда было для него высшей святыней, и он любил ее; теперь же ему должно увидеть в ней заблуждение и произвол, чтобы смог он отвоевать себе свободу от любви своей: вот для чего нужен лев.

Но скажите мне, братья мои, что может сделать ребенок такого, что не удается и льву? Зачем хищному зверю становиться еще и ребенком?

Дитя – это невинность и забвение, новое начинание и игра, колесо, катящееся само собою, первое движение, священное "Да".

Ибо священное "Да" необходимо для игры созидания, братья мои: своей воли желает теперь человеческий дух, свой *мир* обретает потерянный для мира.

Я назвал вам три превращения духа: сначала дух стал верблюдом, потом сделался львом, и наконец, лев стал ребенком.

Так говорил Заратустра. В то время он остановился в городе, который назывался "Пестрая Корова".

О КАФЕДРАХ ДОБРОДЕТЕЛИ

Заратустре хвалили одного мудреца, который умел хорошо рассуждать о сне и добродетели: за это премного чтили и щедро вознаграждали его, и все юноши приходили и садились перед кафедрой его. Пошел к нему и Заратустра и вместе со всеми сел перед кафедрой. И так говорил мудрец:

"Честь и уважение сну! Это первое! И сторонитесь тех, кто плохо спит и бодрствует ночью!

В присутствии сна стыдлив даже вор: всегда неслышно крадется он во мраке ночи. Но нет стыда у ночного сторожа – не стыдясь трубит он в свой рожок.

Немалое искусство – уметь спать: ведь для этого необходимо бодрствовать целый день.

Десять раз на дню должен ты преодолеть себя: это преодоление дарует тебе приятную усталость и будет снотворным маком для души.

Десять раз на дню должен ты вновь примириться с собой: ибо преодоление есть обида, и плохо спит непримирившийся.

Десять раз на дню должен ты находить истину, иначе будешь искать ее и ночью, и душа твоя останется голодной.

Десять раз в день смейся и будь весел, чтобы ночью не беспокоил тебя желудок – этот отец скорби.

Немногие знают такую истину: чтобы хорошо спать, надо обладать всеми добродетелями. Разве стану я лжесвидетельствовать? Разве буду прелюбодействовать?

Разве позволю я себе возжелать рабыню ближнего моего? [[**7**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-7)] Плохо сочеталось бы все подобное с хорошим сном.

И даже если все добродетели есть у тебя, не забывай вот о чем: умей вовремя отправить спать добродетели свои.

Чтобы не ссорились они между собой, эти милые кумушки, тем более из-за тебя, злосчастный!

Будь в мире с Богом и с соседом своим: этого требует хороший сон. Будь также в мире и с соседским чертом! Не то ночью он станет посещать тебя.

Чти начальников своих и повинуйся им, даже если предпочитают они ходить криво! Этого требует хороший сон. Разве твоя в том вина, что власть хромонога?

Того пастуха назовут наилучшим, который пасет овец на тучных лугах[[**8**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-8)]: ибо так обретает он добрый сон.

Я не хочу ни великих почестей, ни огромного богатства: от этого воспаляется селезенка. Но хорошо спится, если есть доброе имя и маленькое сокровище.

Лучше небольшое общество, чем дурное: но все должны приходить и уходить вовремя. Это способствует хорошему сну.

По душе мне нищие духом: [[**9**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-)] они способствуют сну. Блаженны они, тем более если всегда считать их правыми.

Так проходит день у добродетельного. Однако с приходом ночи остерегаюсь я призывать сон; не хочет он, чтобы призывали его, владыку всех добродетелей!

Я только размышляю, что сделал я и о чем думал в течение дня. Терпеливо, словно корова, пережевываю я все это, вопрошая себя: каковы же были десять преодолений моих?

И те десять примирений, и десять истин, и те десять раз, когда я смеялся, услаждая сердце свое?

И вот, покуда я так размышляю и взвешиваю все эти сорок мыслей, внезапно овладевает мною сон, незваный владыка добродетелей.

Он ударяет по векам моим – и они тяжелеют; касается рта моего – и он остается открытым.

Поистине, неслышными шагами приходит он ко мне, приятнейший из воров, и похищает мысли мои: и я застываю на месте, глупый, как эта кафедра.

Однако недолго стою я так, одолеваемый сном, и тотчас ложусь".

Слушая мудреца, Заратустра смеялся в сердце своем: ибо нечто прояснилось для него. И так сказал он себе:

"Дурак этот мудрец со своими сорока мыслями: но не сомневаюсь я в том, что крепкий сон хорошо удается ему.

Счастлив уже и тот, кто живет рядом с ним! Такой сон заразителен: он проникает даже сквозь толстые стены.

Не иначе как зачарована и сама кафедра его. И не напрасно сидят юноши перед этим проповедником.

Его мудрость гласит: добродетельно бодрствовать во имя хорошего сна. Действительно, не имей жизнь никакого смысла, и будь я вынужден выбрать бессмыслицу, тогда и мне его мудрость показалась бы наиболее достойной выбора.

Ясно мне стало теперь, к чему прежде всего стремились некогда люди, ища учителя добродетели. Хорошего сна искали они и в придачу – добродетелей, увитых цветами снотворного мака!

Мудрость сна без сновидений – ее проповедовали с кафедры все эти прославленные мудрецы: иного смысла жизни не ведали они.

И теперь еще встречаются подобные проповедники добродетели, но не всегда столь же честные; однако время их уже прошло. И недолго еще стоять им: скоро лягут они.

Блаженны сонливые, ибо скоро они заснут".

Так говорил Заратустра.

О МЕЧТАЮЩИХ ОБ ИНОМ МИРЕ

Однажды Заратустра устремил мечты свои по ту сторону человека, подобно тем, кто мечтает о мире ином.

"Творением страдающего и измученного Бога предстал тогда мне наш мир.

Грезой показался мне он и вымыслом Бога; разноцветным фимиамом пред очами недовольного божества мир сей представился мне.

"Добро" и "Зло", "Радость" и "Страдание", "Я" и "Ты" – все казалось мне разноцветным фимиамом перед оком творца. Отвратить от себя взор свой хотелось ему – и создал он мир.

Отвратить взор от страданий своих и забыться – это пьянящая радость для тех, кто страдает. Самозабвением и опьяняющей радостью увиделся мне этот мир.

Мир, вечно несовершенный; несовершенное отображение вечного противоречия, опьяняющая радость для своего несовершенного творца – таким увиделся мне некогда этот мир.

Так, подобно тем, кто мечтает о мире ином, устремил я однажды мечты свои по ту сторону человека. Действительно ли – по ту сторону?

О братья мои, этот Бог, созданный мной, был делом рук человека и безумием его, подобно всем прочим богам!

Человеком был он, и притом – лишь малой частью человека и моего "Я": из моего же пепла и пламени пришел ко мне этот призрак. Поистине, не из мира иного явился он!

И что же, братья мои? Я преодолел себя, страдающего, я отнес пепел свой в горы и ярчайшее пламя обрел для себя. Взгляните! Призрак *отступил* от меня!

Мукой и страданием было бы теперь для меня верить в подобные призраки: горем и унижением было бы это для выздоравливающего. Так говорю я тем, кто мечтает о мире ином.

Горем, и бессилием, и коротким безумием счастья, которое знает лишь мучительно страдающий, созданы все иные миры.

Усталость, жаждущая одним прыжком – смертельным прыжком [[**10**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-10)] – достигнуть последних пределов, жалкая усталость неведения, не желающая больше хотеть, – это она создала всех богов и все иные миры.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в теле, пальцами ослепленного духа ощупывало последние стены.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в земле, прислушивалось к тому, что говорили недра бытия.

И вот – захотело оно пробиться сквозь последние стены, выйти из последних пределов своих и достичь мира иного.

Но надежно спрятан от людей "мир иной" – нечеловеческое, полностью лишенное всех человеческих черт, небесное Ничто; и безмолвствуют недра бытия, и никогда не обращаются к человеку, кроме как в образе Человека.

Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Но скажите мне, братья, самое дивное из всего сущего – не доказано ли оно наилучшим образом?

Да, само мое "Я" и весь хаос противоречий его честнее всего свидетельствует о бытиё своем: творящее, оценивающее, жаждущее "Я" – есть мера и ценность всех вещей.

И это мое "Я", самое правдивое свидетельство бытия, говорит о теле и стремится к нему, даже когда предается страстным мечтам и трепещет разбитыми крыльями.

Все честнее учится оно говорить, это "Я"; и чем больше учится, тем больше находит слов, чтобы хвалить тело и землю.

Новой гордости научило меня мое "Я", этой гордости учу я теперь людей: не прятать больше голову в песок небесных абстракций, но высоко держать ее, эту голову, созидающую смысл земли!

Новой воле учу я людей: принять тот путь, по которому ранее шли слепо и наугад, и охотно следовать ему, и восхвалять его, и не отклоняться от него в сторону, тайком, подобно больным и умирающим!

Это они, больные и умирающие, презрели тело и землю, выдумали Неземное и искупительные кровавые жертвы: [[**11**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-11)] но даже эти мрачные яды, столь сладостные для них, они брали у земли и у тела!

От нищеты и бедствий своих хотели они убежать, но звезды были чересчур далеко. И вздыхали они: "Ах. если бы были пути в небе, по которым можно было бы пробраться в иное бытие, дабы обрести счастье!" – и вот они изобрели для себя эти лазейки и кровавое питье! [[**12**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-)]

Неблагодарные! – они возомнили, что сумели отречься от тела и от земли. Но кому же обязаны они болью и блаженством этого отречения? – Своему телу и этой земле.

Заратустра кроток с больными. Поистине, не гневается он на их неблагодарность и на все то, что служит им утешением. Пусть же выздоравливают они и преодолевают себя, пусть создадут себе высшее тело!

И выздоравливающего не попрекает Заратустра, когда тот с нежностью взирает на заблуждения свои, а в полночь прокрадывается к могиле Бога своего; но болезнью и слабостью тела остаются для меня слезы его.

Всегда много больных среди мечтателей и тех, кто исходит тоской по божеству: яростно ненавидят они познающего и ту, самую младшую из добродетелей, что зовется правдивостью.

Назад, во тьму минувшего оглядываются они; действительно, иначе смотрели тогда на мечту и на веру: умопомешательство считалось богоподобием, а сомнение – грехом.

Слишком хорошо знаю я этих богоподобных и знаю, чего хотят они: они жаждут, чтобы веровали в них и чтобы сомнение было грехом. Хорошо знаю я и то, во что они сами веруют больше всего.

Поистине, не в иные миры и не в искупительную силу крови – в тело истово веруют они; собственное тело для них – "вещь в себе".

Но больна эта вещь: они охотно сбросили бы кожу. Оттого и слушают они проповедников смерти и сами проповедуют мир иной.

Братья мои, вслушайтесь лучше в голос здорового тела: чист и честен голос его.

Правдивее и честнее говорит здоровое тело – сильное и совершенное, и говорит оно о смысле земли".

Так говорил Заратустра.

О ПРЕЗИРАЮЩИХ ТЕЛО

Презирающим тело хочу сказать я слово мое. Не обязаны они ни переучиваться сами, ни переучивать других, пусть лишь расстанутся с телом своим – и так станут немыми.

"Я – тело и душа", – говорит ребенок. И почему бы всем не говорить, как дети?

Но пробудившийся и познавший говорит: я – только тело, и не более того; душа же – лишь слово, обозначающее нечто в теле.

Тело – это великий разум, великое множество с единым сознанием, война и мир, стадо и пастырь.

Орудием телу служит и твой маленький разум, который называешь ты духом, брат мой, он – всего лишь орудие и игрушка великого разума – тела.

"Я", – говоришь ты, гордясь этим словом. Но важнее – хотя ты и не хочешь этому верить, – гораздо важнее тело твое и великий разум его; оно не говорит "Я", а созидает его.

Все, что испытывается чувством и познается умом, никогда не имеет в себе конца своего. Однако чувство и ум хотят убедить тебя в том, что они – цель и предел всех вещей: так тщеславны они.

Чувство и ум всего лишь орудия и игрушки: за ними скрывается *Самость*. Она ищет глазами чувств и слушает ушами ума.

Самость всегда прислушивается и ищет: она сравнивает, подчиняет, разрушает и завоевывает. Она господствует и повелевает даже твоим "Я".

За мыслями и чувствами твоими, брат мой, стоит могущественный господин, неведомый мудрец – Самость имя ему. В твоем теле живет он, он и есть тело твое.

В теле больше разума, нежели в высшей мудрости твоей. И кто знает, зачем вообще нужна телу высшая мудрость?

Самость смеется над твоим "Я" и его гордыми скачками. "Что мне эти скачки и полеты мысли? – говорит она себе. – Окольный путь к моей цели. Я служу помочами для "Я" и внушаю ему понятия его.

Самость внушает "Я": "Здесь испытывай боль!". И вот оно страдает и думает о том, как бы ему не страдать более, – и оно *должно* так думать.

Самость внушает "Я": "Здесь ощущай радость!". И "Я" радуется и думает о том, как бы ему еще испытать эту радость, – и оно *должно* так думать.

Презирающим тело хочу сказать я слово мое. Из почитания возникло презрение их. Что же это такое, что создает презрение и почитание, ценность и волю?

Творящая Самость создала себе презрение и почитание, это она – творец радости и скорби. Творящее тело создало себе ум как орудие воли своей.

Даже в безумии и в пренебрежении вы служите Самости, вы, презирающие тело. Я говорю вам: ваша Самость желает умереть и отворачивается от жизни.

Она уже не в силах делать то, к чему больше всего стремится, – творить сверх себя. Этого хочет она превыше всего, в этом самое страстное ее желание.

Однако поздно уже ей стремиться к этому: и вот – Самость жаждет гибели.

Ваша Самость желает смерти – оттого вы и стали презирать тело! Ибо вы уже не в силах творить сверх себя.

Вот почему негодуете вы на жизнь и на землю. Бессознательная зависть кроется в косом взгляде презрения вашего.

Нет, не пойду я вашим путем, вы, презирающие тело! Вы для меня не мост к Сверхчеловеку!

Так говорил Заратустра.

О РАДОСТЯХ И СТРАСТЯХ

Брат мой, если есть у тебя добродетель, и ты один обладаешь ею как достоянием своим, ни к чему, чтобы была она у тебя общей со всеми.

Конечно, тебе хочется ласкать ее и называть по имени, шутя, дергать за ухо и быть с ней на короткой ноге.

Смотри же! Теперь имя, которым ты назвал ее, стало общим для всех, и сам ты стал частью толпы вместе с добродетелью своей!

Лучше, если ты скажешь: "Нельзя ни выразить, ни назвать по имени то, что составляет муку и сладость души моей, а также голод утробы моей".

Да будет добродетель твоя слишком высока, чтобы называть ее по имени: а если придется тебе говорить о ней, не стыдись говорить невнятно. [[**13**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-13)]

Запинаясь же, говори так: "Это *мое* достояние, и я люблю его; оно нравится мне таким, какое есть, и я один желаю быть хозяином его.

Ни потребности естества моего, ни божественного закона, ни человеческого установления не хочу я видеть в добродетели моей; не хочу и того, чтобы стала она для меня путеводителем на небо, в рай.

Предмет любви моей – земная добродетель: в ней мало мудрости и совсем мало смысла, понятного всем.

Но эта птица свила у меня гнездо свое: потому я люблю и ласкаю ее, и теперь золотые яйца высиживает она у меня".

Так должно тебе восхвалять добродетель твою, и пусть будут невнятны слова твои.

Некогда тебя одолевали страсти, и ты называл их злыми. Ныне же есть одни лишь добродетели: из страстей твоих выросли они.

Ты вложил свою высшую цель в эти страсти, запечатлев ее в сердце своем: радостями и добродетелями стали они теперь.

Будь ты из рода вспыльчивых, или сластолюбцев, или изуверов, или людей мстительных:

– все же, в конце концов, все страсти твои обратятся в добродетели и все демоны – в ангелов.

Некогда диких псов держал ты в подземельях своих: и вот – в сладкоголосых птиц превратились они.

Из ядов своих приготовил ты себе бальзам: ты доил корову скорби – ныне же пьешь сладкое молоко ее вымени.

И впредь ничего злого не вырастет из тебя, разве что зло, которое произрастет из борьбы добродетелей твоих.

Брат мой, если счастье сопутствует тебе, то у тебя только одна добродетель, и не более: тогда легче идти тебе через мост.

Почетно иметь много добродетелей, но это – тяжкий жребий; и многие, удаляясь в пустыню, умерщвляли себя, уставая быть войной и полем сражения добродетелей своих.

Брат мой, зло ли это – войны и сражения? Однако это зло необходимо, как необходимы и зависть, и недоверие, и клевета между твоими добродетелями.

Взгляни, как каждая из них жаждет высшего: она требует всего духа твоего, чтобы стал он вестником ее; она желает всей силы твоей в гневе, любви и ненависти.

Ревнива каждая добродетель, а ревность – ужасная вещь. И добродетели могут гибнуть от ревности.

Охваченный пламенем ее, подобно скорпиону обращает против себя отравленное жало свое.

О, брат мой, разве ты еще не видел, как добродетель поносит и жалит саму себя?

Человек есть нечто, что должно преодолеть: и потому ты должен любить свои добродетели, ибо из-за них ты погибнешь.

Так говорил Заратустра.

О БЛЕДНОМ ПРЕСТУПНИКЕ

Вы не хотите убивать, пока животное не опустится на колени, вы, судьи и заклатели жертв? Взгляните, бледный преступник склонился: глаза его говорят о великом презрении.

"Мое "Я" есть нечто, что должно преодолеть: мое "Я" – причина великого презрения к человеку", – говорят глаза его.

То, что он сам осудил себя, было величайшим моментом жизни его: не дайте же возвысившемуся снова пасть!

Нет иного избавления, кроме скорой смерти, для того, кто так страдает от самого себя.

Судьи, из сострадания должны вы убивать, а не из мести, и, убивая, заботиться о том, чтобы жизнь оправдала вас самих.

Недостаточно только примириться с тем, кого казните вы. Да будет скорбь ваша любовью к Сверхчеловеку: так оправдаете вы продление собственной жизни!

"Враг" – должны вы провозгласить, а не "злодей"; "больной", а не "плут"; "безумец", а не "грешник".

А ты, обагренный кровью судья, если бы вздумал ты вслух высказать то, что совершил уже в мыслях, каждый воскликнул бы: "Прочь эту мерзость, прочь этого ядовитого гада!".

Но одно – мысль, другое – дело, третье – образ дела. Между ними не вращается колесо причинности.

Некий образ сделал бледным этого человека. На равных был он с делом своим, совершая его; но свершив, не вынес образа его.

Отныне лишь преступника, совершившего злодеяние, стал он видеть в себе. Безумием называю я это: исключение стало сутью для него.

Проведенная черта завораживает курицу; удар, который нанес он, заворожил его бедный разум. Безумием *после* дела называю я это.

Слушайте, судьи! Есть еще и другое безумие – это безумие *перед* деянием. Нет, недостаточно глубоко проникли вы в эту душу!

Так говорит обагренный кровью судья: "Для чего убил этот преступник? Он хотел ограбить!". Я же говорю вам: душа его алкала крови, а не кражи: он томился по счастью ножа!

Но слабый разум не вместил этого безумия и переубедил его. "Велика важность – кровь! – говорил разум его, – по крайней мере можно еще и ограбить! Отметить!"

И он послушался своего слабого разума и рассуждений его, свинцом легли они на него, и вот, убивая, он еще и ограбил. Ибо ему не хотелось стыдиться безумия своего.

Теперь свинцовым грузом легла на него вина, а его разум снова недвижим, расслаблен и туп.

Если бы только мог он встряхнуть головой, сбросил бы он это бремя; кто еще может сбросить его?

Что же такое этот человек? Скопище болезней, через дух его проникающих в мир, – там ищут они добычу себе.

Что же такое этот человек? Клубок ядовитых змей, которые всегда в разладе между собой, – и вот они расползаются по свету в поисках поживы.

Взгляните на это несчастное тело! То, по чему томилось оно и от чего страдало, пыталась объяснить эта жалкая душа; и она объясняла это как радость убийства, как желание испытать счастье ножа.

На тех, кто ныне подвержен недугу, нападает зло, вернее, то, что *ныне* считается злом: и вот – эти страждущие сами хотят причинить боль, и притом посредством того же, что им самим причиняет страдание. Но были другие времена и другое добро и зло.

Некогда злом были сомнение и воля к Самости; еретиками, колдунами становились подверженные недугу, как колдуны и еретики, страдали они и хотели других заставить страдать.

Но это не вмещается в ваши уши, ибо противоречит тому, чему поучают вас "добрые". Но какое мне дело до ваших "добрых"!

Многое в них вызывает во мне отвращение, и поистине, не зло их. Но хотелось бы мне, чтобы безумие охватило их и погибли они, как этот бледный преступник!

Поистине, хотел бы я, чтобы безумие их называлось истиной,

или верностью, или справедливостью: но у них есть "добродетель", чтобы жить долго, пребывая в жалком самодовольстве.

Я – перила моста над бурным потоком: держись за меня тот, кто может держаться! Но костылями не стану я вам.

Так говорил Заратустра.

О ЧТЕНИИ И ПИСАНИИ

Из всего написанного я люблю только то, что пишется собственной кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.

Нелегко понять чужую кровь: я ненавижу читающих из праздности.

Кто знает читателя, тот уже не трудится ради него. Еще одно столетие читателей – и сам дух будет скверно пахнуть.

То, что каждый смеет учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль.

Некогда дух был Богом, потом сделался человеком, теперь же – становится чернью.

Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть.

В горах кратчайший путь – с вершины на вершину: но для этого нужны длинные ноги. Притчи – те же вершины, а те, к кому обращены они, должны быть высокими и могучими.

Разреженный чистый воздух, близкая опасность, дух, преисполненный радостной ярости: все это так хорошо подходит одно к другому!

Пусть меня окружают горные духи – я отважен. Мужество рассеивает призраки и само создает горных духов, мужество хочет смеяться.

Я уже не чувствую так, как чувствуете вы: этим тяжелым, мрачным тучам подо мной, над которыми смеюсь я, этим грозовым тучам подобны вы.

Вы смотрите вверх, когда взыскуете высоты. А я смотрю вниз, ибо я возвысился.

Кто из вас может смеяться и в то же время оставаться на высоте?

Кто поднялся на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией – и на сцене, и в жизни.

Беззаботными, насмешливыми, насильственными – такими желает видеть нас Мудрость: она – женщина и всегда любит только воина.

Вы говорите мне: "Тяжело бремя жизни". Зачем же вам тогда ваша гордость утром и смирение вечером?

"Тяжело бремя жизни": не прикидывайтесь такими неженками! Все мы выносливы, как вьючные ослы.

Что общего у нас с розовым бутоном, трепещущим, когда упадет на него капля росы?

Правда: мы любим жизнь, но не потому, что привыкли к жизни, а потому, что привыкли к любви.

В любви всегда есть какое-то безумие. Но во всяком безумии всегда есть и нечто разумное.

И даже мне, приемлющему жизнь, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри, а также те, кто подобен им среди людей, больше всех знают о счастье.

Вид этих легких, глупых, изнеженных и подвижных душонок и зрелище того, как порхают они, доводят Заратустру до песен и слез.

Я поверил бы только в такого бога, который умеет танцевать.

И когда взирал я на дьявола своего, я обнаружил в нем глубину и торжественность, серьезность и основательность. Это был Дух Тяжести, это из-за него все утяжеляется и падает,

Убивают не гневом, но смехом. Вставайте же. убьем Дух Тяжести!

Я научился ходить: с тех пор я позволяю себе бегать, Я научился летать: с тех пор я не нуждаюсь в толчках, чтобы сдвинуться с места.

И вот я легок, и вот я летаю и вижу себя под собой, и теперь некий бог танцует во мне.

Так говорил Заратустра.

О ДЕРЕВЕ НА ГОРЕ

Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, проходя через горы, окружавшие город, который

назывался "Пестрая Корова", он увидел этого юношу: тот сидел, прислонившись к дереву, и усталым взором смотрел в долину.

Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и сказал:

"Если бы я захотел потрясти это дерево, охватив его руками, у меня не хватило бы на это сил.

Но ветер, который мы даже не можем увидеть, терзает его и гнет, куда хочет. Незримые руки гнут и терзают нас сильнее всего".

Юноша встал и проговорил в смущении: "Я слышу Заратустру, а только что я думал о нем".

Заратустра спросил:

"Чего же ты пугаешься? С человеком происходит то же, что и с деревом.

Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло."

"Да, во зло! – воскликнул юноша. – Как же сумел ты раскрыть мою душу?"

Заратустра рассмеялся и ответил: "Иные души невозможно раскрыть: для этого их надо сначала выдумать".

"Да, во зло! – снова воскликнул юноша. – Ты сказал правду, Заратустра. Я перестал верить себе самому с тех пор, как устремился в высоту, и никто уже теперь не верит мне. Как же случилось это?

Слишком быстро меняюсь я: мое "сегодня" опровергает мое "вчера". Поднимаясь, я часто перепрыгиваю через ступени, и этого не прощает мне ни одна ступень.

Когда я наверху, я всегда чувствую себя одиноким. Никто не говорит со мной. холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?

Как стыжусь я своего восхождения и того, что спотыкаюсь! Как насмехаюсь над своим тяжелым и частым дыханием! Как ненавижу летающих! Как устал я на высоте!"

Тут юноша умолк. А Заратустра взглянул на дерево, у которого они стояли, и сказал:

"Одиноко стоит это дерево на горе, высоко поднялось оно и над зверем, и над человеком.

И пожелай оно заговорить, не нашлось бы никого, кто бы понял его: так высоко оно вознеслось.

И вот оно ждет и ждет – чего же, право? В слишком близком соседстве с тучами живет оно: не ожидает ли оно первой молнии?"

Когда Заратустра сказал это, юноша воскликнул в сильном смятении: "Да, ты прав. Заратустра. Я желал своей гибели, стремясь в высоту, и ты – та молния, которой ждал я. Посмотри же, что сделалось со мной с тех пор, как пришел ты к нам: *зависть* к тебе сокрушила меня!" – так говорил юноша, горько рыдая. Заратустра же обнял его и увлек за собой.

И когда прошли они немного, так стал говорить Заратустра:

"Разрывается сердце мое. Яснее слов говорят мне глаза твои о грозящей тебе опасности. Еще не свободен ты – ты только *ищешь* свободы. Утомили тебя поиски твои и лишили сна.

В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет душа твоя. Но и дурные влечения твои тоже жаждут свободы.

Эти дикие псы рвутся на волю; они лают от радости в своих подземельях, пока дух твой стремится разрушить все темницы.

Ты и сам еще узник, алчущий освобождения: мудрая душа у таких узников, но вместе с тем коварная и дурная.

Очиститься должен свободный духом, ибо много еще в нем тюремного мрака и гнили: око его должно стать чистым.

Да, я ведаю опасность, грозящую тебе. Но любовью и надеждой заклинаю тебя: не отказывайся от любви и надежды своей!

Пока еще знаешь ты благородство свое, чувствуют его и другие – те, кто не любит тебя и посылает злобные взгляды тебе вослед. Знай, что благородный у всех стоит поперек дороги.

Также и "добрым" мешает он: когда же они и его называют добрым, то этим хотят устранить с пути.

Новое хочет создать благородный и новую добродетель. Старое хочет сохранить добрый, чтобы оно пребывало в целости.

Но не в том опасность для благородного, что он сделается добрым, а в том, что может стать наглецом, насмешником и разрушителем.

О, знал я благородных, потерявших высшую надежду свою. И вот теперь они клевещут на все высокие стремления.

И вот теперь они живут, бесстыдно срывая краткие удовольствия, и ничтожные цели ставят они себе: едва на день хватает этих целей.

"Дух – тоже сладострастие", – так заявляют они. И разбились крылья у их духа, и теперь он ползает всюду и оскверняет все, что гложет.

Некогда думали они стать героями, эти теперешние сластолюбцы. Ныне – герой внушает им скорбь и ужас.

Но любовью и надеждой заклинаю тебя: храни героя в душе своей! Свято храни свою высшую надежду!"

Так говорил Заратустра.

О ПРОПОВЕДНИКАХ СМЕРТИ

Есть проповедники смерти, и полна земля людьми, которым нужна проповедь отвращения к жизни.

Переполнена земля лишними, испорчена жизнь от чрезмерного множества живущих. О, если бы можно было обетованием "вечной жизни" выманить их из этой!

Желтыми или черными называют проповедников смерти. Я же хочу показать вам их в других красках.

Вот они, эти ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют иного выбора, кроме вожделения и самоистязания. Но и вожделения их – тоже самоистязание.

Они еще даже не становились людьми, эти ужасные: пусть же они проповедуют отвращение к жизни и погибают сами!

Вот они, чахоточные душой: едва родившись, они начинают умирать и мечтают об учении, проповедующем усталость и отречение.

Они бы охотно отказались от жизни, так одобрим же волю их! Будем же осторожны, чтобы не воскресить этих мертвецов и не повредить эти живые гробы!

Им встречается больной, или старик, или покойник; и они тотчас заявляют: "Жизнь опровергнута!".

Но опровергнуты только они сами и глаза их, что видят лишь один лик сущего.

Погруженные в глубокое уныние, падкие до всего мелкого и случайного, влекущего смерть: так ждут они ее, стиснув зубы.

Или иначе: хватаются за сладости, смеясь собственному ребячеству; держатся за жизнь, как за соломинку, и сами же насмехаются над собой.

Их мудрость гласит: "Глупец тот, кто продолжает жить, но кто из нас не глупец! И в этом – вся глупость жизни!".

"Жизнь – одно лишь страдание", – так говорят другие и не лгут: так позаботьтесь же о том, чтобы *ваша* жизнь прекратилась! Постарайтесь, чтобы кончилась жизнь, которая для вас – лишь страдание!

И пусть такой будет заповедь добродетели вашей: "Убей себя сам! Укради себя у жизни!".

"Сладострастие – грех, – так говорят одни, – позвольте же нам уйти и не производить детей!"

"Тяжело рожать, – говорят другие, – да и к чему это? Рождаются одни несчастные!" Эти тоже проповедуют смерть.

"Сострадание необходимо, – говорят третьи. – Берите все, что я имею! Возьмите и меня самого! Тем меньше буду я привязан к жизни!"

Будь они сострадательны до конца, они отвратили бы от жизни ближних своих. Быть злыми – вот что было бы их истинной добротой.

Но они хотят освободиться от жизни: что им до того, что они еще крепче связывают других своими цепями и дарами!

И даже вы, для кого жизнь – суровый труд и беспокойство, разве вас не утомила она? Разве вы не созрели еще для проповеди смерти?

Все вы, кому по сердцу суровый труд и все стремительное, новое, неизведанное, – вы сами себе стали в тягость; ваше рвение – это всего лишь бегство от себя и желание забыться.

Если бы больше вы верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но слишком мало в вас содержания, чтобы ждать, и даже для того, чтобы лениться!

Повсюду раздаются голоса проповедников смерти; и полна земля людьми, нуждающимися в проповеди ее; или "вечной жизни": мне все равно – лишь бы исчезли они с лица земли.

Так говорил Заратустра.

О ВОЙНЕ И ВОИНАХ

От самых достойных среди врагов своих мы не желаем пощады, а также от тех, кого любим до глубины души. Так позвольте же мне сказать вам правду!

Собратья по войне! Я люблю вас от всего сердца; я всегда был одним из вас и остаюсь им теперь. И я же – достойнейший из врагов ваших. Так позвольте мне сказать вам правду!

Я ведаю ненависть и зависть вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Да будет у вас достаточно величия, чтобы не стыдиться самих себя!

И если не можете вы быть подвижниками познания, будьте по крайней мере воинами его. Ибо они – спутники и предвестники этого подвижничества.

Я вижу множество солдат: хотел бы я увидеть много воинов! Я вижу солдат, одетых одинаково: униформой зовется то, что носят они. Да не будет столь же однообразно содержание их, скрывающееся под формой!

Будьте такими, чье око всегда ищет врага – *своего* врага. Не каждый из вас способен на ненависть с первого взгляда.

Своего врага должны вы искать, на своей войне сражаться, за свои убеждения. Если же убеждения, которые вы отстаивали, потерпят поражение, пусть верность ваша торжествует победу свою!

Любите мир как средство к новой войне, и мир короткий – сильнее, чем мир продолжительный.

Не к работе призываю я вас, но к борьбе; не к миру, но к победе. Да будет труд ваш – борьбой, а мир ваш – победой!

Только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие. Да будет мир ваш – победой.

Вы утверждаете, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам: только благо войны освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великого, чем любовь к ближнему. Не сострадание, а храбрость ваша спасала доныне несчастных.

"Что такое добро?" – спрашиваете вы. Добро – это храбрость. Пусть маленькие девочки говорят: "Добро – это то, что красиво и вместе с тем трогательно".

Вас называют бессердечными: но сердца ваши искренни, и я люблю стыдливость сердечности вашей. Вы стыдитесь прилива чувств, другие же стыдятся отлива их.

Вы дурны? Ну что ж, братья мои! Окутайте себя возвышенным – мантией для всего дурного.

Становясь возвышенной, душа ваша делается надменной, и сама ее возвышенность таит в себе злобу. Я знаю вас.

Злобно встречаются надменный с бессильным. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас.

Враги ваши должны быть достойны ненависти, но не презрения Вы должны гордиться вашими врагами: тогда успехи их будут и вашими.

Восстание – это доблесть рабов. Да будет вашей доблестью послушание! А любое ваше приказание – повиновением!

Для хорошего воина "Ты должен" звучит приятнее, нежели "Я хочу". И даже то, к чему предрасположено сердце ваше, должно быть сперва приказано вам.

Да будет любовь ваша к жизни любовью к высшей надежде, а этой надеждой пусть станет высшее из убеждений ваших!

Но и его вы должны получить от меня как приказ – он гласит: человек есть нечто, что должно преодолеть.

Так живите жизнью повиновения и войны! Что толку в долгой жизни! Какой воин захочет пощады!

Я не щажу вас, я люблю вас всем сердцем, собратья по войне!

Так говорил Заратустра.

О НОВОМ КУМИРЕ

Кое-где существуют еще племена и народы, но не у нас, братья мои: у нас есть государства.

Государство? Что это такое? Итак, внимайте же мне теперь, ибо скажу я вам слово свое о гибели народов.

Государством зовется самое холодное из всех чудовищ. Холодно лжет оно; и вот какая ложь выползает из уст его: "Я, государство, я – это народ".

Это ложь! Родоначальниками народов были созидающие – это они наделили верой и любовью соплеменников своих: так служили они жизни.

Те же, кто расставил западни для людей и назвал это государством, – разрушители: меч и сотню вожделений навязали они всем.

Там, где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его как дурной глаз и посягательство на исконные права и обычаи.

Такое знамение даю я вам: у каждого народа свой язык добра и зла, и в этом – один народ непонятен другому. Этот язык обретается каждым народом в исконных правах и обычаях его.

Но государство лжет на всех языках добра и зла; и в речах своих оно лживо, и все, что имеет оно, – украдено им.

Фальшь у него во всем: не своими зубами кусается зубастое это чудище, даже внутренности его – и те фальшивы.

Смешение языков в понимании добра и зла: это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине, влечение к гибели означает знамение это! Поистине, оно на руку проповедникам смерти!

Народятся многие множества: для лишних и было изобретено государство!

Смотрите же, как оно приманивает к себе эти многие множества! Как оно душит их, как жует и пережевывает!

"Нет на земле ничего большего, чем я: я – перст Божий, я – устроитель порядка", – так рычит чудовище. И не одни только длинноухие и близорукие опускаются на колени!

О, даже вам, великие души, нашептывает чудовище свою мрачную ложь! О, оно угадывает богатые сердца, охотно расточающие себя!

Оно угадывает и вас, победители старого Бога! Вы утомились в борьбе, и теперь сама усталость ваша служит новому кумиру!

Героями и теми, кто честен, хотел бы окружить себя этот новый кумир! Холодное чудовище охотно греется под солнцем чистой совести!

Этот новый кумир все готов дать *вам*, если вы поклонитесь *ему*: [[**14**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-14)] так покупает он блеск добродетелей ваших и взор гордых очей.

Вами хочет он приманить многие множества! И вот изобретена была адская штука – конь смерти, бряцающий сбруей божеских почестей!

Да, изобретена была смерть для многих множеств, смерть, прославляющая себя под видом жизни: поистине, неоценимая услуга всем проповедникам смерти!

Государством зовется сей новый кумир; там все – хорошие и дурные – опьяняются ядом; там все теряют самих себя; там медленное самоубийство всех называется жизнью.

Взгляните же на всех этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой называют они эту кражу. И все превращается у них в болезни и бедствия!

Посмотрите на этих лишних! Они постоянно больны; они выблевывают желчь свою и называют это газетой. Они глотают друг друга и никак не могут переварить.

Посмотрите же на них! Они приобретают богатства и становятся еще беднее. Они, немощные, жаждут власти и, прежде всего, рычага ее – денег!

Взгляните, как лезут они, эти проворные обезьяны! Как карабкаются друг через друга, как срываются в смердящую пропасть!

Туда, к трону власти стремятся они: в безумии своем мнят они, будто счастье восседает на нем! Часто грязь восседает на троне – и трон нередко стоит в грязи!

Безумцы все эти карабкающиеся обезьяны, мечущиеся, словно в бреду. Зловоние источает их кумир, это холодное чудовище; зловонны и они сами, служители его.

Братья мои, неужели хотите вы задохнуться в смрадном чаду их вожделеющих пастей? Бейте же стекла, выпрыгивайте на свободу!

Прочь от зловония! Прочь от идолопоклонства лишних людей!

Подальше от смрада! Подальше от чадящего дыма человеческих жертв!

Свободна и теперь еще земля для возвышенных душ. Еще много привольных мест для отшельников и для тех, кто одинок вдвоем; мест, где веют благоуханием спокойные моря.

Еще открыт великим душам доступ к свободе. Поистине, мало что может овладеть тем, кто владеет лишь малым: хвала бедности!

Только там, где кончается государство, начинается человек – не лишний, но необходимый: там звучит песнь того, кто нужен, – единственная и неповторимая.

Туда, где государство *кончается,* – туда смотрите, братья мои! Разве не видите вы радугу и мосты, ведущие к Сверхчеловеку?

Так говорил Заратустра.

О БАЗАРНЫХ МУХАХ

Друг мой, беги в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих и исколот жалами малых.

С достоинством умеют лес и скалы молчать вместе с тобой. Уподобься же вновь любимому дереву своему: раскинув ветви, прислушиваясь, тихо склонилось оно над морем.

Где оканчивается уединение, там начинается базар: там, где базар, там шум великих актеров и жужжание ядовитых мух.

В мире самые лучшие вещи еще ничего не значат, пока нет того, кто их представит с подмостков: великими людьми называет толпа этих представляющих.

Плохо понимает толпа все великое, то есть творческое; но хорошо понимает актеров, представляющих все великое на сцене.

Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир – невидимо вращается он; а вокруг актеров вращаются толпа и слава: это и называют мировым порядком.

У актера есть дух, но мало совести духа. Он всегда верит в то, посредством чего заставляет уверовать и других, – он верит *в себя самого!*

По-новому верит он завтра, а послезавтра – вновь по-другому. Стремительны чувства его, как у толпы, и так же переменчивы настроения.

"Опрокинуть" означает у него "доказать"; "свести с ума" – "убедить". Самым же убедительным доказательством считает он кровь.

Истина, проскальзывающая только в чуткие уши, для него – ложь и ничто. Поистине, он верит лишь в тех богов, от которых в мире больше всего шума!

Базар полон ликующими паяцами, и толпа гордится своими великими людьми, этими повелителями минуты!

Но минута настойчива, и вот – торопят тебя эти настырные и требуют ответа: да или нет? Увы, если захочешь поставить ты стул свой между их "за" и их "против"!

Да не будут в соблазн тебе эти суетливые поборники безусловного тебе, возлюбленному Истины! Никогда еще не держалась она за руку абсолютного.

Сторонись и остерегайся этих навязчивых: только на базаре набрасываются с вопросом – "Да или нет?".

Медленно течет жизнь всех глубоких родников: долго должны ждать они, пока узнают, *что* упало в глубины их.

Подальше от базара и славы уходит все великое: в стороне от базара и славы жили всегда изобретатели новых ценностей.

Друг мой, беги в свое уединение: я вижу, ты искусан ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый свежий ветер!

Беги в свое уединение! Слишком близко жил ты к маленьким и жалким; беги от их невидимого мщения! Нет в них ничего, кроме мести.

Не поднимай же руки на них! Ибо они бесчисленны, и не твой это жребий – бить мух.

Нет им числа, этим маленьким и жалким: не одному гордому зданию дождевые капли и сорные травы послужили причиной гибели.

Ты – не камень, но уже становишься пустым от множества падающих капель. Трещины и щели появляются на тебе.

Я вижу, устал ты от ядовитых мух и в кровь исцарапан во многих местах, а гордость твоя не хочет даже возмущаться.

Крови желают эти жалкие создания, крови жаждут их бескровные души – вот и жалят они в невинности и простоте душевной.

Но ты глубок, и глубоко страдаешь даже от ничтожных ран; и вот, не успеешь ты излечиться – снова ползет ядовитый червь по руке твоей.

Но ты слишком горд, чтобы взять и прихлопнуть этих лакомок; берегись же, как бы не стало уделом твоим переносить их ядовитую наглость.

И с похвалами жужжат они вокруг тебя: назойливость – вот что такое похвалы их! Быть поближе к коже и крови твоей – этого жаждут они.

Они льстят тебе, словно Богу или дьяволу; они визжат перед тобой, словно перед Богом или дьяволом. Ну что ж, они льстецы, визгуны – и не более.

Бывают они любезны и предупредительны с тобой. Но таково всегда было благоразумие трусов. Да, трусливые умны!

Своей мелкой душой они много думают о тебе: ты всегда вызываешь у них подозрение. Все, о чем много думают, становится подозрительным. [[**15**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-15)]

Они наказывают тебя за добродетели твои, а прощают – зато полностью – только ошибки твои.

Ты снисходителен и справедлив, потому и говоришь: "Не виновны они в своем ничтожном существовании". Но их мелкая душа думает: "Вина лежит на всяком великом существовании".

Когда ты снисходителен, они все равно чувствуют твое презрение и возвращают тебе благодеяние твое, уязвляя тайком.

Молчание гордости твоей всегда им не по вкусу: но они ликуют, когда бываешь ты настолько скромным, чтобы стать тщеславным.

То, что узнаем мы в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же маленьких людей!

Перед тобой они чувствуют себя ничтожными, и низость их тлеет и разгорается в невидимую месть.

Разве не замечал ты, как часто они делались безмолвными, когда ты подходил к ним, и как силы покидали их. словно дым от угасающего костра?

На, друг мой, укором совести являешься ты для ближних своих: ибо недостойны они тебя. Потому они ненавидят тебя и готовы высасывать кровь твою.

Ближние твои всегда останутся для тебя ядовитыми мухами; само величие твое делает их столь ядовитыми и похожими на мух

Друг мой, беги в свое уединение, туда, где веет суровый свежий ветер. Не твое дело разгонять мух.

Так говорил Заратустра

О ЦЕЛОМУДРИИ

Я люблю лес. Плохо жить в городах: слишком много там страстных людей

Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем стать предметом вожделений страстной женщины?

Взгляните же на этих мужчин: их глаза говорят, что не ведают они ничего лучшего на земле, чем спать с женщиной.

Грязь на дне души их; увы, если у грязи этой есть еще и дух!

О, если бы вы были совершенны, по крайней мере, так же, как звери! Но зверям присуща невинность.

Разве я призываю умерщвлять свои чувства? Я призываю к невинности чувств.

Разве к целомудрию призываю я вас? Для некоторых целомудрие – добродетель, но для многих – почти что порок.

Они, быть может, и воздерживаются, но пес чувственности завистливо проглядывает из всех их деяний.

До высот их добродетели, вплоть до сферы духа, где царит холод, преследует их это животное, несущее с собой вражду.

И как искусно пес чувственности умеет молить о духе, когда ему отказано в теле!

Вы любите трагедии и все, что терзает сердце? Но я не доверяю вашему псу.

У вас слишком жестокие глаза: слишком похотливо смотрите вы на испытывающих страдания. Не переоделось ли сладострастие ваше, называя себя теперь состраданием?

И еще такую притчу даю я вам: многие, желавшие изгнать своего искусителя, превратились в свиней.

Кому целомудрие в тягость, тому не следует советовать его. чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю, превратившись в грязь и похотливость души.

Неужели говорю я что-то грязное? А ведь все это – еще не самое дурное.

Познающий неохотно погружается в воду истины не тогда, когда она грязная, а когда она мелкая.

Поистине, есть целомудренные до глубины души: они снисходительны и смеются охотнее и веселее вас.

Они смеются и над целомудрием и спрашивают: "Что такое целомудрие?

Не безумие ли это? Но это безумие само пришло к нам, а не мы к нему.

С радушием приютили мы этого гостя в нашем сердце: теперь живет он у нас, и пусть остается, сколько захочет!"

Так говорил Заратустра.

О ДРУГЕ

"Наедине с самим собой перестаешь быть один – становится на одного больше, а это уже слишком, – думает отшельник. – Все один да один – это в конце концов образует двоих!"

"Я" и "Меня" слишком неумеренны в беседах: как возможно было бы это вынести, если бы не было друга?

Друг для отшельника – это всегда третий, это пробка, препятствующая разговору двоих погружаться вглубь.

Ах, слишком много бездн существует для отшельника. Вот почему так страстно жаждет он друга и высоты его.

Наша вера в других выдает то, во что мы хотели бы верить в нас самих. Наше страстное желание обрести друга является предателем нашим.

И часто с помощью любви хотят всего лишь перескочить через зависть. И часто нападают и делают себе врага для того, чтобы скрыть собственную уязвимость.

"Будь хотя бы врагом моим!" – говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе.

Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести за него войну; а чтобы вести войну, надо *уметь* быть врагом.

Врага должен чтить ты в друге своем. Разве можешь ты подойти вплотную к другу своему, не перейдя к нему?

Пусть будет друг твой самым достойным врагом твоим. Будь же ближайшим к сердцу его, противясь ему.

Ты не хочешь перед другом носить одежды? Ты оказываешь честь ему, показываясь таким, каков ты есть на самом деле? Но за это он посылает тебя к черту!

Кто не скрывает себя, вызывает возмущение: у вас достаточно оснований бояться наготы! Будь вы богами, вы бы стыдились одежд своих!

Не старайся приукрашивать себя для друга: ибо стрелой и стремлением к Сверхчеловеку должен ты быть для него.

Смотрел ли ты на друга, когда спит он, чтобы увидеть, каков он тогда? Что такое лицо друга твоего? Это – твой собственный лик, но отраженный в грубом и несовершенном зеркале.

Видел ли ты друга своего спящим? Не испугался ли ты его вида? О да, человек есть нечто, что должно преодолеть.

Угадывать и уметь молчать должен друг: умерь желание свое видеть все. Пусть сон твой раскроет тебе, что делает друг твой, бодрствуя.

Да будет сострадание твое угадыванием: сперва узнай, хочет ли друг сострадания. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности.

Да будет сострадание к другу сокрыто под твердой оболочкой, на ней должен ты стереть зубы свои. Тогда сострадание приобретет утонченность и сладость свою.

Стал ли ты чистым воздухом, уединением, хлебом и лекарством для друга своего? Иной не в силах освободиться от собственных цепей, однако друга своего спасает.

Если ты раб, то не можешь быть другом. Если тиран, – не можешь иметь друзей.

Слишком долго таились в женщине раб и тиран. Поэтому неспособна она к дружбе: ей ведома только любовь.

В любви ее всегда есть несправедливость и слепота ко всему, чего не любит она. Но и в сознательной любви женщины есть и внезапность, и молния, и тьма рядом со светом.

Пока еще не способна женщина на дружбу: женщины – это кошки, или птицы, или, в лучшем случае, коровы.

Пока еще не способна женщина на дружбу: но скажите мне вы, мужчины, кто из вас способен на нее?

О ваша бедность, мужчины, о ваша скудость души! То, что даете вы другу, я даю любому из врагов своих и не становлюсь от этого беднее.

Существует товарищество: пусть будет и дружба!

Так говорил Заратустра.

О ТЫСЯЧЕ И ОДНОЙ ЦЕЛИ

Много стран и народов видел Заратустра: так открыл он добро и зло разных народов. Не нашел он на всей земле большей силы, чем добро и зло.

Ни один народ не смог бы выжить, не производя оценки – что есть добро и что есть зло; чтобы сохраниться, должен он оценивать иначе, нежели сосед его.

Многое, что у одного народа называется добром, у другого слывет позором и поношением: вот что обнаружил я. Многое из того, что здесь именуется злом, там облекалось в пурпур почестей.

Никогда сосед не понимал соседа; всегда удивлялась душа одного безумию и злобе другого.

Скрижаль заповедей добра воздвиг над собой каждый народ. Смотри, это скрижаль преодолений его, это голос его воли к власти.

Похвально у него то, что дается с трудом; добрым зовется тяжелое и неизбежное; а то, что сильно настолько, чтобы освободить от величайшей нужды, – самое редкое и тяжелое – он провозглашает священным.

То, что позволяет ему господствовать, побеждать и блистать на страх и зависть соседу, имеет для него значение высшего, наипервейшего мерила ценностей и смысла всех вещей.

Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа, его землю, и небо, и соседа его, ты открыл закон преодолений его и угадал, почему он поднимается по этой лестнице к надежде своей.

"Ты всегда должен быть первым и стоять впереди других; никого не должна любить ревнивая душа твоя, кроме друга", – слова эти приводили в трепет душу грека, и шел он своей стезей величия.

"Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелами", – считалось достойным и вместе с тем делом нелегким у народа, [[**16**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-16)] от которого происходит имя мое – имя, которое ношу я с достоинством и честью, хотя и нелегко это мне.

"Чтить отца и мать и вплоть до сокровенных глубин души предаться воле их" – такова скрижаль преодолений другого народа, воздвигшего ее над собой и ставшего могущественным и вечным силой ее.

"Хранить верность и во имя ее жертвовать кровью и честью своей даже в злых и опасных делах", – так, поучаясь, преодолевал себя другой народ, и, преодолевая, великие надежды понес он в себе.

Поистине, сами себе заповедали люди все добро свое и зло. Поистине, не заимствовали они и не нашли его, и не упало оно к ним, словно глас с неба.

Изначально человек придал ценность вещам, чтобы этим сохранить себя; он дал вещам смысл, человеческий смысл. Потому и назвал он себя человеком, что стал оценивать.

Оценивать – значит создавать. Слышите вы, созидающие! Именно оценка придает ценность и драгоценность всем оцененным вещам.

Лишь через оценку появляется ценность: и без оценивания был бы пуст орех бытия. Слышите вы, созидающие!

Перемена ценностей – это перемена созидающих. Всегда будет разрушителем тот, кто становится творцом.

Некогда творцами были целые народы, и только потом – отдельные личности: поистине, отдельная личность – это самое юное из всего созданного.

Скрижали заповедей добра воздвигли над собой народы. Любовь, стремящаяся повелевать, и любовь, жаждущая повиноваться, сообща создали эти скрижали.

Стремление к стаду древнее, чем притяжение собственного "Я": и покуда добрая совесть означает волю стада, лишь дурная совесть скажет: "Я".

Поистине, лукавое и бессердечное "Я", ищущее своей выгоды в выгоде большинства, – не начало стада, а гибель его.

Любящие и созидающие – вот кто всегда был творцом добра и зла. Огонь любви и гнева пылает на именах всех добродетелей.

Много стран и народов повидал Заратустра, но не нашел он на всей земле силы большей, чем творения любящих: "Добро" и "Зло" суть их имена.

Поистине, чудовищны сила и власть этой похвалы и этого порицания. Скажите мне, братья мои, кто преодолеет их? *Кто* набросит оковы на тысячеглавого зверя?

Тысяча целей существовала до сих пор, ибо была тысяча народов. Теперь же недостает только оков для тысячеглавого зверя, недостает единой цели. У человечества нет еще цели.

Но скажите мне, братья мои: если до сих пор еще нет у человечества цели, то есть ли оно само или еще нет его?

Так говорил Заратустра.

О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ

Вы жметесь к ближнему и говорите при этом красивые слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему – это всего лишь дурная любовь к самим себе.

Вы убегаете к ближнему от самих себя и хотели бы сделать из этого добродетель: но я насквозь вижу ваше "бескорыстие".

"Ты" старше, чем "Я"; "Ты" объявлено священным, но пока еще не признано таковым "Я": и вот – человек жмется к ближнему.

Разве призываю я вас любить ближнего? Скорее я посоветую вам бежать от ближних и любить дальних!

Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему; выше любви к человеку – любовь к делам и призрачным видениям.

Этот призрак, парящий над тобой, брат мой, прекраснее тебя; почему бы тебе не отдать ему плоть и кровь свою? Но ты страшишься и бежишь к ближнему.

Вы не выносите себя и недостаточно себя любите: и вот вы хотите соблазнить ближнего своего на любовь к вам и позолотить себя его заблуждением.

Я хотел бы, чтобы все эти ближние и соседи их стали для вас невыносимы; и тогда из самих себя вам придется создать друга с переполненным сердцем.

Вы приглашаете свидетеля, когда хотите похвалить себя; и когда вы убедили его думать о вас хорошо, тогда и сами начинаете хорошо думать о себе.

Лжет не только тот, кто говорит вопреки знанию своему, но прежде всего тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Именно так общаетесь вы между собой, вводя в заблуждение на свой счет соседей своих.

Так говорит глупец: "Общение с людьми портит характер, особенно когда нет его".

Один идет к ближнему, потому что ищет себя, а другой – потому что хочет себя потерять. Ваша дурная любовь к себе превращает ваше одиночество в тюрьму.

Дальние расплачиваются за вашу любовь к ближнему; и всякий раз, когда вы соберетесь впятером, должен умереть шестой.

Я не люблю ваших праздников: слишком много лицедеев встречаю я там, и даже зрители часто кривляются, словно актеры. [[**17**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-17)]

Не о ближнем учу я вас, но о друге. Да будет друг для вас праздником земли и предчувствием Сверхчеловека.

Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкой, если хочешь, чтобы тебя любили всем сердцем.

Я учу вас о друге, о вместилище добра, в котором мир предстает совершенным и завершенным; я учу вас о созидающем друге, который всегда готов одарить таким миром.

И как мир этот развертывается для него. так. свертываясь, снова он возвращается к нему, подобно становлению добра через зло, подобно становлению цели из случая.

Да будет для тебя грядущее и отдаленное причиной твоего нынешнего: в друге люби Сверхчеловека, как причину свою.

Братья мои, любить дальнего, а не ближнего призываю я вас.

Так говорил Заратустра.

О ПУТИ СОЗИДАЮЩЕГО

Брат мой, ты хочешь уединения? Хочешь искать пути к самому себе? Помедли немного и выслушай меня.

"Кто ищет, легко может потерять себя. Всякое уединение есть грех", – так говорит стадо. А ты долго принадлежал стаду.

И голос его еще долго будет звучать в тебе. И если ты скажешь: "У меня уже не одна совесть с вами", – это будет жалобой и болью.

Видишь, сама эта боль рождена в тебе общей совестью стада: последний отблеск этой совести вспыхивает еще на скорби твоей.

Но ты хочешь идти путем скорби, потому что это путь к самому себе? Тогда покажи, что имеешь на это и право, и силу!

Воплощаешь ли ты в себе это новое право и новую силу? Первое движение? Само собою катящееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя?

О, как много тех, для кого высота – предмет вожделения! И тех, у кого вызывает она судороги честолюбия! Покажи, что ты не из этих сладострастников и честолюбцев!

О, как много великих идей, чье действие, подобно кузнечным мехам: от них человек надувается и становится еще более пустым.

Ты называешь себя свободным? Я хочу слышать господствующую мысль твою, а не то, что ты избежал ярма.

Из тех ли ты, кто *имел право* сбросить его? Есть и такие, что лишились последней ценности своей, отбросив покорность.

Ты называешь себя свободным *от* чего-то? Какое мне дело до этого! Но взор твой должен поведать мне: *ради* чего ты свободен?

Можешь ли ты создать себе сам добро и зло? И утвердить над собой волю свою как закон? И быть самому себе – мстителем и судьей закона своего?

Страшно быть наедине с таким судьей и мстителем. Так брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.

Сегодня ты страдаешь еще от людского множества, ты, одинокий; пока еще с тобой все твое мужество и все твои надежды.

Но однажды устанешь ты от одиночества, и согнется гордость твоя, и заскрежещет зубами мужество твое, и ты воскликнешь: "Я одинок!".

Наступит время, и не увидишь ты больше высоты своей, а все твое низменное будет близко; возвышенное твое станет пугать тебя, словно призрак, и ты воскликнешь тогда: "Все – ложь!".

Есть чувства, грозящие убить одинокого; если же это не удается им, то должны умереть они сами! Но сможешь ли ты стать убийцей?

Брат мой, ведомо ли тебе уже слово "презрение"? А муки справедливости – быть справедливым с теми, кто презирает тебя, – знакомы тебе?

Многих ты принуждаешь изменить мнение о себе: за это они жестоко отметят. Ведь ты приблизился к ним и все-таки прошел мимо: этого они никогда тебе не простят.

Ты поднимаешься над ними: но чем выше восхождение, тем меньшим видит тебя око зависти. А больше всего ненавидят того, кто способен летать.

"Как можете *вы* быть справедливы ко мне? Я выбираю вашу несправедливость как долю, мне предназначенную". – так должен говорить ты.

Несправедливость и грязь бросают вослед одинокому: но если хочешь ты стать звездой, ты все равно должен светить им!

Остерегайся добрых и праведных! Они охотно распинают всякого, кто сам создал себе добродетель: они ненавидят одинокого.

Берегись также святой простоты! Все, что не просто, не свято для нее; и она охотно играет с огнем – с огнем костра.

Остерегайся приступов любви своей! Слишком скоро протягивает одинокий руку первому встречному.

Иному ты должен подать не руку, а только лапу: [[**18**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-18)] и я хочу, чтобы у лапы твоей были когти.

Но самый опасный враг, который может повстречаться тебе, – это ты: ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.

Одинокий, ты на пути к самому себе! И на этом пути ты минуешь самого себя и пройдешь мимо семи своих искусителей!

Ты будешь сам для себя еретиком, и колдуном, и прорицателем, и безумцем, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени: как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел!

Одинокий, ты идешь путем созидающего: создать Бога из тех семи искусителей жаждет воля твоя!

Одинокий, ты идешь путем любящего: самого себя любишь ты и потому презираешь себя, как могут презирать только любящие.

Творить хочет любящий, ибо велико презрение его! Что знает о любви тот, кто не презирал именно того, кого он любил?

С любовью и жаждой созидания иди в уединение свое, брат мой; и только потом, хромая, поплетется за тобой справедливость.

Унося с собой слезы мои, иди в свое уединение, брат мой. Я люблю того, кто стремится творить сверх себя и потому гибнет.

Так говорил Заратустра.

О СТАРЫХ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИНАХ

"Отчего так опасливо крадешься ты в сумерках, Заратустра? И что так бережно скрываешь под плащом своим?

Не сокровище ли это, подаренное тебе? Или новорожденное дитя твое? Или же стал ты другом злых и ходишь теперь путями крадущих?"

"Поистине, брат мой, – отвечал Заратустра, – то, что несу я, это – сокровище, подаренное мне: одна маленькая истина.

Однако она своенравна и капризна, как дитя; и не зажимай я ей рот, она кричала бы, не переставая.

Когда сегодня, в час захода солнца, шел я один дорогой своей, повстречалась мне старушка, и так обратилась она к душе моей:

"О многом сказал Заратустра и нам, женщинам, но ничего не поведал *о женщине"*.

И я возразил ей: "Говорить о женщине следует только с мужчинами".

"Расскажи об этом и мне, – попросила она, – я так стара, что тотчас все позабуду".

И снизошел я к просьбе ее и говорил так:

"Все в женщине – загадка, и на все это есть одна разгадка: беременностью зовется она.

Мужчина для женщины – средство: цель же всегда – ребенок. Но что же такое женщина для мужчины?

Двух вещей желает настоящий мужчина – опасности и игры. И потому нужна ему женщина, как самая опасная из всех игрушек.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения воина: все остальное – безумие.

Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому и любит он женщину: горька для него и сладчайшая из них.

Женщина понимает детей лучше мужчины, но в мужчине детского больше, чем в женщине.

В настоящем мужчине всегда сокрыто дитя, которое хочет играть. Найдите же в нем дитя, женщины!

Да будет женщина игрушкой, чистой и изящной, словно драгоценный камень, блистающей добродетелями еще не созданного мира.

Пусть звездный луч сияет в любви ее! Пусть надеждой ее будет: "О, если б мне родить Сверхчеловека!".

Пусть отвага будет в любви ее! Ею она победит того, кто внушает ей страх.

Да будет честь в любви ее! Впрочем, женщина мало что смыслит в чести. Пусть же станет честью ее – любить всегда сильнее, чем любят ее, и в любви никогда не быть второй.

Мужчине следует остерегаться женщины, когда она любит: ибо тогда готова она на любую жертву, и все остальное не имеет никакой ценности в глазах ее.

Мужчине следует остерегаться женщины, когда она ненавидит: ибо он в глубине души своей только зол, она же – скверна.

Кого ненавидит женщина больше всех? – Железо так говорило магниту: "Больше всего я тебя ненавижу за то, что ты притягиваешь, не имея достаточно сил, чтобы тащить за собой".

Счастье мужчины зовется "Я хочу". Счастье женщины – "Он хочет".

"Вот, только теперь стал мир совершенным!" – так думает каждая женщина, когда повинуется в полноте любви своей.

Повиноваться должна женщина и обрести глубину для поверхности своей. Ибо неглубока она – беспокойно бурлящая пена на мелководье.

Напротив, мужчина глубок, в подземных пещерах бушует бурный поток его: женщина лишь смутно чувствует, но не постигает силу его".

И тут возразила мне старушка: "Много лестного сказал нам Заратустра, в особенности молодым.

Странно, Заратустра мало знает женщин, однако же прав насчет них! Не оттого ли это, что для женщины нет ничего невозможного?

А теперь прими от меня в благодарность одну маленькую истину! Я уже слишком стара для нее!

Укутай ее и зажми ей рот: а то она кричит чересчур громко".

"Дай же мне твою маленькую истину!" – сказал я.

И молвила старушка:

"Идешь к женщинам? Не забудь плетку!"

Так говорил Заратустра.

ОБ УКУСЕ ЗМЕИ

Однажды в жаркий день заснул Заратустра под смоковницей и прикрыл руками лицо свое. И вот – подползла змея и ужалила его в шею так, что он вскрикнул от боли. Убрав руки с лица, он увидел гадюку: но и та узнала взгляд Заратустры, смущенно отвернулась и хотела уползти прочь.

"О нет, – сказал Заратустра, – еще не отблагодарил я тебя! Ты вовремя разбудила меня, еще долог путь мой".

"Твой путь уже недолог, – печально отвечала гадюка, – мой яд убивает".

Заратустра улыбнулся. "Когда это умирал дракон от яда змеи? – возразил он. – Возьми же яд свой обратно! Ты не так богата, чтобы дарить его мне". Тогда гадюка обвилась вокруг его шеи и облизала рану ему.

Когда Заратустра рассказал об этом ученикам своим, спросили они его: "В чем же, о Заратустра, мораль притчи твоей?". И он отвечал так:

"Разрушителем морали называют меня добрые и праведные: мораль притчи моей безнравственна.

А именно: если есть враг у вас, не воздавайте ему за зло добром: ибо это унизит его. Напротив, убедите его, что он сделал вам добро.

Лучше разгневаться, чем пристыдить! И мне не нравится, что вы готовы благословлять, когда вас проклинают. [[**19**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-19)] Лучше в ответ тоже немножко проклясть!

И если постигла вас большая несправедливость, тотчас ответьте на нее пятью малыми! Отвратительно видеть, как несправедливость гнетет только кого-то одного.

Известно ли вам это? Разделенная несправедливость – это уже наполовину справедливость. И только тот должен брать на себя несправедливость, кому по силам нести ее!

Маленькая месть человечнее отсутствия мести. И если наказание не есть также честь и право для преступника, то я не хочу наказаний ваших.

Благороднее признать себя неправым, чем держаться за право свое, в особенности когда прав. Но для этого надо быть достаточно богатым.

Мне претит ваша холодная справедливость, и из глаз судьи вашего смотрит палач с холодным мечом.

Скажите, где найти справедливость, которая есть любовь со зрячими очами?

Так взрастите же такую любовь, что понесет не только всякое наказание, но и любую вину!

Взрастите справедливость, которая оправдывает всех, кроме судящих!

Хотите услышать еще и это? У того, кто желает быть справедливым до конца, даже ложь обращается в человеколюбие.

Как же сделаться справедливым до конца? Как воздать каждому свое? Да будет с меня довольно, если я воздам каждому мое.

И наконец, последнее, братья мои: остерегайтесь причинить несправедливость отшельнику! Как сможет он забыть ее? Чем отплатит за нее?

Отшельник подобен глубокому колодцу. Легко бросить камень в него; но достигнет он дна – и скажите, кто из вас пожелал бы снова достать его?

Остерегайтесь оскорбить отшельника! Но если вы все же сделали это, тогда убейте его!"

Так говорил Заратустра.

О РЕБЕНКЕ И БРАКЕ

Есть у меня один вопрос к тебе – и только к тебе, брат мой: как морской лот, бросаю я его в душу твою, чтобы узнать, насколько глубока она.

Ты молод и мечтаешь о ребенке и браке. Но ответь мне: таков ли уже ты, чтобы *иметь право* желать ребенка?

Победитель ли ты, преодолел ли самого себя, повелитель ли ты своих чувств, господин ли своих добродетелей? Об этом спрашиваю я тебя.

Или в желании твоем говорит животное и потребность природы твоей? Или одиночество? Или недовольство собой?

Я хочу, чтобы победа и свобода твои страстно желали ребенка. Живые памятники должен ты ставить победе и освобождению.

Ты должен строить превыше и дальше себя. Но прежде построй самого себя, соразмерно в отношении души и тела.

Возрастай же не только вширь, но и ввысь. Сад супружества да поможет в этом тебе!

Ты должен создать высшее тело, первое движение, само собой катящееся колесо: ты должен создать созидающего.

Брак: так называю я волю двоих создать единое, большее тех, кто создал его. Брак – это взаимоуважение и почитание этой воли.

Да будет это смыслом и правдой брака твоего. Но то, что считается браком у многого множества, у всех этих лишних, – как назвать это?

О, эта бедность души, желающей быть вдвоем! О, эта грязь души вдвоем! Это жалкое удовольствие – быть вдвоем!

Все это называют они браком и говорят, что союзы их заключены на небесах.

Тогда не надо мне этого неба лишних людей! Не надо мне этих животных, опутанных небесной сетью!

Да не приблизится ко мне этот Бог, с кряхтением благословляющий то, что не соединял он! [[**20**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-20)]

Но не смейтесь над подобными браками! Какой ребенок не плачет из-за родителей своих!

Достойным виделся мне человек, созревшим для смысла земли: но когда увидел я жену его, мир показался мне домом умалишенных.

Да, я хочу, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой и гусыня соединяются друг с другом.

Один вышел на поиски истины как герой, а добычей его стала маленькая наряженная ложь. Он называет это своим браком.

Другой был недоступен в общении и привередлив в выборе людей. Но раз и навсегда испортил свое общество: он называет это своим браком.

Третий искал служанку с добродетелями ангела. И вот – сам сделался служанкой у женщины, и теперь ему самому надо бы стать ангелом.

Часто замечаю я, как осторожны покупатели и какие лукавые у них глаза. Но даже самый хитрый из них берет себе жену не глядя.

Любовью именуется у вас множество коротеньких безумств. А брак ваш, как одна большая глупость, кладет конец безумствам этим.

Эта ваша любовь к женщине и любовь женщины к мужчине – о, если бы была она состраданием к сокрытому, страдающему божеству! Но чаще всего лишь двое животных угадывают друг друга.

Даже лучшая любовь ваша – лишь слащавое подобие любви и болезненный пыл; тогда как она должна служить факелом, освещающим путь в высоту.

Некогда должны вы будете любить сверх себя! Так *научитесь* же сперва любви! И потому придется испить вам горькую чашу ее.

Даже в чаше высшей любви содержится горечь: так порождает она стремление к Сверхчеловеку, пробуждая жажду твою, созидающий!

Жажда творчества, стрела, летящая к Сверхчеловеку: скажи, брат мой, такова ли воля твоя, стремящаяся к браку?

Священны для меня такая воля и такой брак.

Так говорил Заратустра.

О СВОБОДНОЙ СМЕРТИ

Многие умирают слишком поздно, а иные – слишком рано. Пока еще странным покажется учение: "Умри вовремя!".

Умри вовремя: так учит Заратустра.

Конечно, как может вовремя умереть тот, кто жил не вовремя? Лучше бы ему и не родиться! – Так советую я всем лишним.

Но и лишние важничают своей смертью, и даже самый пустой орех хочет быть расколотым.

Все относятся к смерти серьезно: но пока еще она не стала праздником. Люди не научились еще чтить самые светлые праздники.

Я показываю вам смерть, в которой обретается полнота и завершенность, – смерть, которая станет для живущих жалом и священным обетом.

Такой смертью умирает завершивший путь свой, умирает победоносно, окруженный теми, кто преисполнен надежд и дал священный обет свой.

Так должно научиться умирать; да не будет праздника там, где умирающий не освятил клятвы живущих!

Такая смерть – наилучшая; лучшей же после нее будет – умереть в борьбе и растратить великую душу.

Но и борющемуся, и побеждающему одинаково ненавистна ваша смерть: скаля зубы свои, она крадется, как вор, а приходит к вам повелителем.

Истинно свободную смерть хвалю я, ту, что приходит ко мне, ибо я хочу ее.

Когда же устремится к смерти воля моя? – У кого есть цель и преемник, тот пожелает смерти вовремя, тогда, когда это удобно. для цели и для преемника.

Из глубокого почитания цели и преемника не повесит он сухих венков в святилище жизни.

Поистине, не хочу я уподобляться сучильщикам веревок: нить их увеличивается в длину, сами же они пятятся.

Иные становятся слишком стары для побед и истин своих; беззубый рот не имеет уже права на все истины.

Всякий, жаждущий славы, должен заблаговременно расстаться с почетом и освоить нелегкое искусство – уйти вовремя.

Не позволяй есть себя тогда, когда находят тебя особенно вкусным: это знают те, кто хочет, чтобы их долго любили. [[**21**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-21)]

Бывают, конечно, кислые яблоки: их удел – ждать последнего дня осени; и тогда делаются они одновременно зрелыми, желтыми и морщинистыми.

У одних раньше стареет сердце, у других – ум. Иные бывают стариками в юности, но кто поздно юн, долго остается таким.

Некоторым не удается жизнь: ядовитый червь гложет им сердце. Да приложат они все силы свои, чтобы смерть лучше удалась им!

Есть и такие, что никогда не становятся сладкими: они начинают гнить уже летом. Лишь малодушие удерживает их на ветке.

Слишком много живущих, и чересчур долго держатся они на ветвях жизни своей. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева всех этих гниющих и червивых!

Пусть бы явились проповедники *скорой* смерти! и подобно буре, сотрясли бы деревья жизни! Но я слышу только проповедь медленного умирания и терпения ко всему "земному".

Вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное и так слишком долго терпит вас самих, клеветники!

Поистине, слишком рано умер тот еврей, которого почитают проповедники медленной смерти: и для многих с тех пор стало роком то, что он умер так рано.

Только слезную еврейскую тоску успел познать еврей Иисус, вкупе с ненавистью добрых и праведных, и тогда объяла его жажда смерти.

Зачем не остался он в пустыне, вдали от добрых и праведных! Быть может, он научился бы жить, и любить землю, и даже смеяться!

Верьте мне, братья мои! Слишком рано он умер; он бы сам отрекся от учения своего, доживи он до моих лет! В нем было достаточно благородства, чтобы отречься!

Но был он еще незрелым. Незрела любовь юноши, и незрела ненависть его к земле и человеку. Еще связаны и тяжелы у него чувства и крылья духа.

Зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и меньше скорби в нем: лучше понимает он смерть и жизнь.

Свободный к смерти и свободный в смерти, он произносит священное "Нет", когда уже нет времени для "Да": так понимает он смерть и жизнь.

Да не будет умирание ваше хулой на человека и землю, друзья мои: с такой просьбой обращаюсь я к меду души вашей.

Даже в смерти должны пылать дух ваш и добродетель, подобно вечерней заре над землей: иначе смерть ваша плохо удалась вам.

Так хочу умереть и я: чтобы вы, друзья мои, ради меня еще больше любили землю; снова в землю желаю я обратиться – обрести покой у той, что родила меня.

Поистине, была цель у Заратустры, в нее метал он мяч свой; отныне вы, друзья, будете преемниками цели моей, вам бросаю я золотой мяч.

Приятнее всего смотреть мне на вас, друзья мои, когда подбрасываете вы его! Вот почему помедлю я еще немного на земле: простите мне это!

Так говорил Заратустра.

О ДАРЯЩЕЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

1.

Когда Заратустра простился с городом, который полюбило сердце его и который назывался "Пестрая Корова", последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и провожали его. Так дошли они до перекрестка: тут Заратустра сказал им, что дальше пойдет один, ибо любил он ходить в одиночестве. И вот ученики, прощаясь, подали ему посох, на золотой ручке которого змея кольцами обвивалась вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; а затем обратился к ученикам своим с такими словами:

"Скажите же мне: как сделалось золото высшей ценностью? – Потому оно стало ей, что редкостно и бесполезно, и нежен блеск его; оно всегда дарит само себя.

Только как символ высшей добродетели стало золото представлять высшую ценность. Как золото, светится взор у дарящего. Золотой блеск заключает мир между солнцем и луной.

Редкостна высшая добродетель и бесполезна, она сияет и нежна в блеске своем: дарящая добродетель есть наивысшая.

Поистине, я разгадал вас, ученики мои: вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Действительно, что у вас общего с кошками и волками?

Жажда ваша в том, чтобы самим стать и даром, и жертвой: потому и алчет душа ваша вобрать в себя все сокровища.

Ненасытно стремится душа ваша к богатствам и драгоценностям, ибо ненасытна и добродетель ваша в своем желании дарить.

Вы притягиваете все вещи к себе и в себя, чтобы изливались они из родника вашего дарами любви.

Поистине, грабителем, стяжающим все ценности, должна стать дарящая добродетель; но здоровым и священным называю я это себялюбие.

Есть еще и другое – неимущее, голодное, всегда готовое украсть; таково себялюбие больных, больное себялюбие.

Глазами вора взирает оно на все блестящее; с голодной алчностью примеряется оно к тем, кто обильно ест; всегда пресмыкается оно близ стола дарящих.

Болезнь и невидимое вырождение сказываются в этой алчности; о больном теле свидетельствует воровская жадность этого себялюбия.

Скажите мне, братья мои: что считается у нас худшим и наихудшим? Разве не *вырождение?* - А как раз на него мы и наталкиваемся там, где нет дарящей души.

Наверх ведет путь наш, от рода к высшему роду. Но ужасно нам вырождающееся чувство, которое заявляет: "Все – для меня".

Вверх устремляется наше чувство: оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символы таких возвышений суть имена добродетелей.

Так проходит тело через Историю – в становлении и в борьбе. А дух – что он для тела? Он – глашатай его битв и побед, товарищ и отголосок его.

Все наименования добра и зла суть символы: они не говорят, а только намекают, молча указывая. Глупец тот, кто в названиях ищет знания.

Будьте же внимательны, братья мои, в те часы, когда дух ваш заговорит притчами и символами: ибо тогда зарождается добродетель ваша.

Тогда тело возвышается и воскресает; своей благодатью окрыляет оно дух ваш, и становится он творцом и ценителем, несущим любовь и благо всем вещам.

Когда переполненное сердце ваше волнуется и разливается, подобно потоку, и это – благо и вместе с тем опасность для живущих на берегу: тогда зарождается добродетель ваша.

Когда вы возвысились над похвалой и порицанием и воля ваша желает повелевать всеми вещами как воля любящего: тогда зарождается добродетель ваша.

Когда вы презираете мягкое ложе и все приятное, однако, легко засыпаете даже возле роскошных постелей неженок: тогда зарождается добродетель ваша.

Когда вы начинаете желать одной волей и этот поворот от всего, что заботит вас, называете необходимостью: тогда зарождается добродетель ваша.

Поистине, она – новое добро и новое зло! Голос нового родника, доносящийся из глубин!

В ней могущество, в этой новой добродетели; она – господствующая мысль, осененная мудрой душой: золотое солнце, и вокруг него – змей познания".

2.

И тут Заратустра умолк на минуту, с любовью глядя на учеников. Потом продолжил он речь свою, и голос его изменился:

"Оставайтесь верны земле, братья мои, со всем могуществом добродетели вашей! Ваша дарящая любовь и познание, да послужат они смыслу земли! Так прошу я и заклинаю вас.

Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! О, как много добродетели улетало и прежде!

Верните – как сделал это я, – верните улетевшую добродетель назад, на землю, снова к телу и жизни: да придаст она земле свой смысл, смысл человеческий!

Сотни раз уносились прочь и сбивались с пути и дух, и добродетель. И поныне живут в нашем теле все эти мечты и заблуждения: нашей плотью и волей стали они.

Сотни раз уже пытались вырваться и заблуждались дух и добродетель. Да, человек и был их попыткой вырваться! О, сколько невежества и заблуждений стало в нас плотью!

Не только разум тысячелетий, но и безумие их проявляется в нас. Опасно быть наследником.

Продвигаясь шаг за шагом, боремся мы с исполином-случаем, и над человечеством до сих пор еще тяготеют неразумие и бессмыслица.

Да послужат ваш дух и ваша добродетель смыслу земли, братья мои: да будет ценность всех вещей вновь установлена вами! Ради этого должны вы бороться! Во имя этого – созидать!

Познавая, очищается тело; приобретая опыт знания, возвышается оно; у познающего освящаются все влечения; радостна душа у возвысившегося.

Врач, исцелись сам: тогда исцелишь ты и больного твоего. Но лучшим исцелением будет для него, если он своими глазами узрит того, кто сам исцелил себя.

Есть тысячи троп, троп еще не хоженых; тысячи здоровых натур и скрытых островов жизни. До сих пор не открыты еще и не исследованы человек и земля его.

Бодрствуйте и внимайте, одинокие! Таинственные ветры несутся на крыльях из будущего; до чуткого уха долетает благая весть.

Вы, ныне одинокие, вы, покинувшие людей, некогда вы станете народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный, а от него – Сверхчеловек.

Поистине, земля еще станет местом выздоровления! И уже веет вокруг вас новое благоухание, несущее исцеление и новую надежду!"

3.

Сказав это, Заратустра замолчал, как человек, не договоривший еще до конца; долго стоял он, в нерешительности покачивая посохом своим. Наконец так сказал он, и голос его изменился:

"Один пойду я дальше, ученики мои! Уходите и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Поистине, призываю я вас: уходите от меня и противьтесь Заратустре! А еще лучше – стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Познающий должен не только любить врагов своих, но и уметь ненавидеть друзей своих.

Плохая награда учителю, если ученики его так и остаются учениками. И почему не хотите вы разорвать венок мой?

Вы почитаете меня; но что, если рухнет почитание ваше? Берегитесь, чтобы идол не поразил вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но при чем тут Заратустра? Вы – верующие в меня: но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда обрели меня. Так бывает со всеми верующими; и потому так мало значит всякая вера.

Теперь призываю я вас потерять меня и найти себя; и только тогда, когда все вы отречетесь от меня, вернусь я к вам. [[**22**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g1-22)]

Поистине, братья мои, по-иному будут искать вас, потерянных мною, очи мои; другой любовью тогда буду любить я вас.

И некогда вы должны еще стать друзьями моими и детьми единой надежды; тогда буду я с вами в третий раз, чтобы отпраздновать Великий Полдень.

Великий Полдень: человек на середине пути от животного к Сверхчеловеку празднует начало заката своего – путь на запад – как наивысшую надежду свою; ибо это есть путь к новому утру.

И тогда благословит себя гибнущий, идущий путем заката, ибо так переходит он к тому, что по ту сторону; и солнце его познания будет стоять в зените.

*"Умерли все боги: ныне хотим мы, чтобы жил Сверхчеловек"*, - да будет это в Великий Полдень нашей последней волей!"

Так говорил Заратустра.

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА   
Часть Вторая

"...и только тогда, когда все вы отречетесь от меня, вернусь я к вам.   
Поистине, братья мои, по-иному будут искать вас, потерянных мною, очи мои; другой любовью тогда буду любить я вас".

*Заратустра "О дарящей добродетели"*

РЕБЕНОК С ЗЕРКАЛОМ

После этого Заратустра опять удалился в горы, в уединение пещеры своей, и сторонился людей: так ожидает сеятель, посеяв семена свои. Однако душа его была полна нетерпения и страстной тоски по тем, кого полюбил он: ибо многое еще было у него, чтобы дать им. А это труднее всего: из любви сжимать отверстую руку и, одаряя, хранить стыдливость.

Так проходили у отшельника месяцы и годы; а мудрость его все возрастала и причиняла ему страдание полнотой своей.

Однажды проснулся он еще до зари, долго припоминал что-то, сидя на ложе, и наконец так сказал в сердце своем:

"Что же так напугало меня во сне, что пробудился я? Не подошел ли ко мне ребенок, несший зеркало?

"Заратустра, – сказал мне он, – взгляни на свое отражение!"

Но когда посмотрел я в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось: ибо не себя увидел я в нем, а дьявольский лик, язвительно усмехающийся.

Поистине, ясно понимаю я знамение и предостережение сна моего: *учение* мое в опасности, сорная трава хочет называться пшеницей!

Враги мои усилились и исказили образ учения моего, так что возлюбленные ученики мои устыдились даров, которые дал я им.

Потерял я друзей моих; настал час искать потерянных мною!"

С этими словами Заратустра вскочил, но не так, как, задыхаясь, вскакивают в испуге, а подобно пророку и певцу, охваченному вдохновением. С удивлением смотрели на него орел и змея: ибо, словно утренняя заря, воссияло грядущее счастье на лице его.

"Что случилось со мной, звери мои? – говорил он. – Не преобразился ли я? Не посетило ли меня, подобно порыву бури, блаженство? Безумно счастье мое, и безумство все, что станет говорить оно: еще слишком юно мое счастье – будьте же снисходительны к нему.

Я ранен им: все страждущие да станут мне исцелителями!

Снова к друзьям своим могу сойти я, а также и к врагам! Вновь Заратустра будет говорить, и дарить, и творить благое тем, кого любит он!

Моя нетерпеливая любовь бурными потоками изливается с высот в долины, к восхождению и закату своему. С безмолвных гор и из грозовых туч страдания с шумом низвергается она вниз, в долины.

Слишком долго тосковал я, глядя вдаль; слишком долго принадлежал уединению: так разучился я молчанию.

Я весь стал устами и журчанием ручья, бегущего с высоких скал: в долины хочу я низринуть речь свою.

И пусть бурный поток любви моей устремится туда, где нет дорог! В конце концов найдет он путь к морю!

Правда, есть во мне озеро, уединенное и самодовлеющее, словно отшельник, но поток любви моей и его увлекает вниз – к морю!

Новыми путями иду я, новые речи рождаются во мне; подобно всем созидающим, устал я от обветшавших слов. Не желает больше мой дух ходить на истоптанных подошвах.

Слишком медленно течет для меня всякая речь: в твою колесницу прыгаю я, о буря! Но и тебе еще достанется от бича ярости моей!

Подобно крикам и возгласам ликования, промчусь я по морским просторам, пока не достигну тех блаженных островов, где обитают друзья мои.

И враги мои между ними! Как люблю я теперь всякого, с кем могу говорить! И врагов моих – их тоже объемлет блаженство мое.

И когда я вскакиваю на самого норовистого коня своего, копье – лучший помощник мой: оно – самая надежная опора моя.

Копье, которое бросаю я во врагов своих! Как благодарен я им, что могу наконец метнуть его!

Велико было напряжение тучи моей: под громовой хохот молний осыплю я градом долины.

Могуче взволнуется грудь моя, грозной бурей промчится по горам дыхание ее: легко станет сердцу моему.

Поистине, подобно буре, грядет счастье мое и свобода! Враги же пусть думают, что некто *злой* неистовствует над их головами.

И даже вы, друзья мои, устрашитесь моей необузданной мудрости и, быть может, убежите вместе с врагами моими.

О, если б сумел я пастушьей свирелью привлечь вас обратно! О, если б мудрость моя – эта львица – научилась нежно рычать! А ведь уже многому научились мы вместе!

В безлюдных горах зачала дикая мудрость моя; на жестких камнях произвела она на свет самое младшее из чад своих.

Теперь, словно безумная, носится она по пустыне и все ищет мягкого дерна – моя древняя дикая мудрость!

На мягкий дерн сердец ваших, друзья мои! – на любовь сердец ваших жаждет она уложить возлюбленное чадо свое!"

Так говорил Заратустра.

НА БЛАЖЕННЫХ ОСТРОВАХ

Плоды падают со смоковниц, сочные и сладкие; и когда падают они, лопается их красная кожица. Я – северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, достаются вам поучения эти, друзья мои: пейте же сок их и вкушайте их сладкую мякоть! Осень вокруг, и чистое ясное небо, и к вечеру клонится день.

Взгляните, какое изобилие вокруг нас! И находясь тут, как славно смотреть в морские дали.

Некогда, глядя в даль моря, говорили "Бог"; ныне же учу я вас говорить "Сверхчеловек".

Бог – это некое предположение; но я не хочу, чтобы домыслы ваши простирались далее вашей созидающей воли.

Вы можете *создать* Бога? – Так не говорите тогда ни о каких богах! Но Сверхчеловека создать возможно.

Быть может, это будете не вы сами, братья мои! Но переделать себя и стать отцами и предками Сверхчеловека – да будет это лучшим созданием вашим!

Бог – это предположение; но я хочу, чтобы предположения ваши были заключены в границах допустимого.

Вы можете *помыслить* Бога? – Но пусть воля к истине означает для вас, что всему надлежит преобразоваться в человечески мыслимое, человечески видимое и человечески ощущаемое! Собственные чувства ваши должны быть продуманы до конца!

И то, что называете вы миром, должно быть сперва еще создано вами: ваш разум и воображение, ваша воля и ваша любовь – вот что должно стать миром! И поистине, для блаженства вашего, о познающие!

И как вы переносили бы жизнь без этой надежды, вы, познающие? Непозволительно вам сродниться с непостижимым и неразумным.

Но открою вам все сердце свое, друзья мои: *если бы* боги существовали, как бы вынес я, что я не бог? *Итак*, никаких богов нет!

Вот этот вывод сделал я; куда же он ведет меня?

Бог – это вымысел: но кто испил бы всю муку этого вымысла и не умер? Неужели нужно отнять у творящего веру его, запретить орлу парить в горных высях?

Бог – это мысль, которая все прямое делает кривым и все неподвижное – вращающимся. Как? Значит, и само время отбросить, и все преходящее считать за ложь?

Мыслить подобное – это вихрь и кружение для костей человеческих и тошнота для желудка: поистине, болезнью кружения называю я такие мысли.

Скверным и враждебным человеку называю я учение это о едином, цельном, неподвижном, сытом и непреходящем!

Все непреходящее есть только символ! [[**1**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-1)] Поэты же слишком много лгут.

Но о времени и становлении должны говорить высочайшие символы: им надлежит восхвалять все преходящее и быть оправданием ему!

Созидание – вот величайшее избавление от страданий и облегчение жизни. Но чтобы явился созидающий, необходимы страдания, и многое в жизни должно преобразиться.

Да, много горечи – горечи умирания – вместит ваша жизнь, созидающие! Так становитесь вы защитниками преходящего и несете оправдание ему.

Чтобы сам созидающий стал новорожденным младенцем, должно ему стать роженицей и претерпеть муки ее.

Истинно говорю вам, через сотни душ проходил путь мой, через сотни колыбелей и родильных потуг. Сколько раз уже расставался я и ведаю последние, разрывающие сердце часы.

Но так желает созидающая воля моя, моя судьба. Или правильнее будет сказать: именно такой судьбы жаждет воля моя!

Все чувствующее страдает во мне, заключенное в темницу: но воля моя неизменно приходит ко мне как освободительница и вестник радости.

Воля освобождает: вот истинное учение о воле и свободе – так учит вас Заратустра.

Не желать, не оценивать, не созидать – пусть эта усталость будет всегда подальше от меня!

Даже познавая, чувствую я только радость воли моей, радость порождения и становления; и если познание мое невинно, то оттого, что живет в нем воля к порождению.

Прочь от Бога и от всех богов отвращает меня эта воля; к чему было бы творить, если бы они существовали!

Но снова и снова влечет меня к людям, к творчеству пламенная воля моя; так молот устремляется на камень.

О люди, в камне дремлет образ, образ образов моих! О, почему в столь грубом и безобразном камне суждено было ему покоиться!

Ныне же молот мой неистово разрушает темницу его. Пусть от камня летят осколки: что мне до этого?

Завершить хочу я начатое: ибо тень посетила меня – самая тихая, самая легкая тень однажды приблизилась ко мне!

Тенью явилась ко мне красота Сверхчеловека. О братья мои! Что мне теперь боги!

Так говорил Заратустра.

О СОСТРАДАТЕЛЬНЫХ

Друзья мои, насмешливые речи достигли слуха вашего: "Взгляните на Заратустру! Не ходит ли он среди нас, словно среди зверей?".

Но лучше было бы сказать так: "Познающий ходит среди людей, будто они – животные".

Человека же познающий называет: животное с красными щеками.

Почему получил он такое имя? Не потому ли, что слишком часто приходится ему стыдиться?

О друзья мои! Так говорит познающий: "Стыд, стыд и стыд – вот история человека!".

И потому благородный предписывает себе не стыдить других: стыдливость повелевает он себе перед всеми страдающими.

Поистине, не люблю я милосердных, блаженных в сострадании своем: совсем лишены они стыда.

Если должен я сострадать, все же не хочу я называться сострадательным; а если я сострадаю, то только на расстоянии.

Я предпочитаю скрыть лицо свое и убежать прежде, чем узнают меня: поступайте так и вы, друзья мои!

Пусть судьба моя всегда ведет меня дорогою тех, кто, как вы, никогда не страдает, и с кем *смогу я* разделить надежду, пиршество и мед.

Поистине, так или иначе помогал я страждущим: но всегда казалось мне, что лучше бы делал я, если бы учился больше радоваться.

С тех пор, как существуют люди, слишком мало радовался человек: только в этом, братья мои, наш первородный грех!

И если научимся мы больше радоваться, то так мы лучше всего разучимся обижать других и измышлять всевозможные скорби.

Поэтому умываю я руки, помогавшие страждущему, поэтому очищаю я также и душу свою.

Ибо, видя страдающего, я стыжусь его из-за его же стыда; и когда я помогаю ему, я жестоко унижал гордость его.

Большие одолжения вызывают не чувство благодарности, а желание мстить; и если мелкое благодеяние не забывается, словно червь, гложет оно.

"Будьте же равнодушны, принимая что-либо! Оказывайте честь уже тем, что принимаете", – так советую я тем, кому нечем отдарить.

Но я – дарящий: охотно дарю я, как друг дарит друзьям своим. А чужие и неимущие пусть сами срывают плоды с дерева моего: ибо это не так устыдит их.

Однако нищих следовало бы вовсе уничтожить! Поистине, досадно давать им и досадно не давать.

А заодно с ними грешников и тех, кого мучает совесть! Верьте мне, братья мои, укоры собственной совести учат уязвлять других.

Но хуже всего – мелкие помыслы. Поистине, лучше уж совершить злое, чем помыслить мелкое!

Правда, вы говорите: "Удовольствие от мелочной злобы нередко предохраняет нас от серьезных злодеяний". Однако в этом случае не следует мелочиться.

Злодеяние – как нарыв: оно зудит, и чешется, и нарывает – оно заявляет о себе откровенно.

"Смотри, я – болезнь", – говорит злодеяние; и в этом его честность.

А ничтожная мысль подобна паразиту: она неугомонна – ползает, прилипает, прячется, пока все тело не станет вялым и дряблым от этих крошечных тварей.

Но тому, кто одержим бесом, я шепчу на ухо: "Будет лучше, если демон твой станет сильнее, – помоги же ему! Есть и у тебя путь к величию!".

О братья мои! Слишком много известно нам друг о друге! И многие становятся для нас прозрачными, хотя и тогда мы еще долго не можем пройти сквозь них.

Трудно жить с людьми, ибо трудно хранить молчание.

И более всего несправедливы мы не к тем, кто противен нам, а к тем, до кого нет нам никакого дела.

Но если есть у тебя страждущий друг, стань для страданий его местом отдохновения, но вместе с тем и жестким ложем, походной кроватью: так лучше всего ты сможешь помочь ему.

И если друг причинит тебе зло, скажи так: "Я прощаю тебе то, что сделал ты мне; но как простить зло, которое этим поступком ты причинил себе?"

Так говорит великая любовь: она преодолевает и прощение, и жалость.

Надо сдерживать сердце свое; ибо стоит только распустить его, как теряешь голову!

О, кто совершил больше безрассудств, чем милосердные? И что причинило больше страданий, чем безумие сострадательных?

Горе любящим, еще не достигшим той высоты, которая выше сострадания их!

Так сказал мне однажды дьявол: "Даже у Бога есть свой ад – это любовь его к людям".

А недавно я слышал от него: "Бог умер, из-за сострадания своего к людям умер он".

Итак, опасайтесь сострадания, помните: *оттуда* надвигается на людей тяжелая туча! Поистине, известны мне признаки бури!

Запомните же и такое слово: великая любовь выше сострадания, ибо то, что любит она, она еще жаждет – создать!

"Себя самого приношу я в жертву любви моей, *и ближнего своего, подобно себе"*, - такова речь созидающих.

Но все созидающие безжалостны.

Так говорил Заратустра.

О СВЯЩЕННИКАХ

Однажды Заратустра подал знак ученикам своим и произнес такие слова:

"Вот – священники: но хотя они и враги мне, спокойно пройдите мимо, и пусть спят мечи ваши в ножнах!

Есть герои и среди них; многие из них немало страдали: потому они хотят заставить страдать и других.

Они – дурные враги: нет ничего более мстительного, чем их смирение. И легко осквернится тот, кто тронет их.

Но близок я к ним по крови; и хочу, чтобы в их крови также почиталась и моя"

И вот, когда прошли они мимо, печаль овладела Заратустрой; однако недолго он с ней боролся, и начал говорить так:

"Жаль мне этих священников, хотя они мне и не по вкусу; но с тех пор, как хожу я среди людей, это перестало меня волновать.

Но страдаю я и страдал вместе с ними: пленники они, отмеченные клеймом. Тот, кого называют они Спасителем, цепями опутал их.

Цепями ложных ценностей и заблуждений! О, если б спас их кто-нибудь от этого Спасителя!

Они думали, что прибило их к острову, когда кругом бушевало море; но смотрите – то было спящее чудовище!

Ложные ценности и лживые слова заблуждений: для смертных это самые страшные чудовища – долго ждет в них дремлющий рок.

Но наконец просыпается он и начинает пожирать и заглатывать тех, что построили на нем шатры свои.

О, посмотрите же на эти шатры, что воздвигли священники! Церквями называют они свои берлоги, полные слащавых ароматов!

О, этот фальшивый свет, этот спертый воздух! Тут не позволено душе взлететь на высоту свою!

Но вера их так повелевает им: "На колени, и вверх по ступеням, грешники!".

Поистине, приятнее видеть бесстыдного, чем вытаращенный взгляд их стыда и благоговения!

Кто же они, создатели этих берлог и лестниц покаяния? Не те ли, кто хотел спрятаться и стыдился чистого неба?

И только тогда, когда чистое небо снова проглянет сквозь разбитые крыши, а разрушенные стены зарастут травой и алыми маками, только тогда обратится сердце мое к местам обитания этого бога.

Богом они называли то, что противостояло им и мучило их: и поистине, немало героического было в этом поклонении! И пригвождая людей к кресту, не знали они, как по-другому еще любить им Господа своего!

Мертвецами думали прожить они, в черное облачали они безжизненные тела свои; и даже в речах их я чувствую зловеще-пряный запах склепа.

И тот, кто поселился рядом с ними, живет близ темных стоячих прудов, где жаба изливает в песне слащавую скорбь свою.

Лучше должны петь они, чтобы поверил я в их спасителей: что-то непохожи на спасенных ученики их!

Нагими хотел бы увидеть я их, ибо одна только красота смеет проповедовать покаяние. Но кого убедит это таящееся под рясой уныние?

Поистине, не из стихии свободы и не с седьмого неба явились к нам эти спасители! Поистине, никогда не ступала нога их по коврам познания!

Из брешей и пустот состоит дух их спасителей; но в каждую пустую раму вставили они *химеру* свою – Богом зовется у них эта затычка.

В сострадании захлебнулся их дух, и всякий раз, когда они переполняются им, на поверхность всплывает величайшая глупость.

С ретивыми криками гонят они стадо свое по узкому мостику: как будто нет больше других путей в будущее! Поистине, недалеко от овец ушли сами эти пастыри!

Широка душа у этих пастырей, дух же – весьма невелик. Но даже самая широкая душа, братья мои, – какие это жалкие угодья!

Кровавые знаки оставляли они на пути, которым проходили, и их безумие поучало, что истина доказывается кровью.

Но кровь – наихудшее свидетельство истины; ибо отравляет она самое чистое учение, превращая его в заблуждение и ненависть сердца.

И если кто пойдет на костер за учение свое, – то что он этим докажет? Куда убедительнее, если из твоего собственного пламени родится учение твое!

Холодная голова и одурманенное сердце – когда они соединяются, возникает смерч, который называют Спасителем.

Поистине, были некогда куда более великие и благородные, нежели те, кого толпа именует спасителями, что, подобно урагану, неистово влекут за собой!

И вам, братья мои, должно обрести спасение от других, более могущественных, если жаждете вы найти путь к свободе!

Никогда еще не было Сверхчеловека. Нагими видел я обоих – и самого великого человека, и самого ничтожного.

Слишком много еще общего у них. Поистине, даже в том из них, кто велик, много еще слишком человеческого!"

Так говорил Заратустра.

О ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ

Громом и небесными фейерверками нужно взывать к вялым и сонным чувствам.

Но голос красоты звучит тихо: он проникает только в самые чуткие уши.

Тихо вздрагивал и смеялся сегодня щит мой: то был священный смех и трепет красоты.

Над вами, добродетельные, смеялась сегодня красота моя. И доносился до меня голос ее: "Они хотят еще, чтобы заплатили им!".

Вы, добродетельные, хотите, чтобы еще и заплатили вам! Хотите получить плату за добродетель, небо за землю и вечность за ваше "сегодня"?

И теперь негодуете вы на меня, ибо учу я, что нет воздаятеля? Истинно так, ведь я не учу даже, что добродетель – сама по себе награда.

Вот что печалит меня: основой вещей сделали ложь – награду и наказание; а теперь ту же ложь положили и в основание душ ваших, вы, добродетельные!

Но, подобно клыкам вепря, слова мои взбороздят основы душ ваших; я буду плугом для вас.

Все сокровенное глубин ваших должно стать явным; и когда взрытые и изломанные будете вы лежать на солнце, отделится ложь ваша от правды.

Ибо вот в чем правда ваша: слишком *чисты* вы для грязи таких слов, как "мщение", "наказание", "награда", "возмездие".

Вы любите добродетель, как мать – дитя; но слыхано ли это, чтобы мать хотела платы за любовь свою?

Добродетель – это то, что вы больше всего любите в самих себе. Есть в вас жажда кольца: чтобы догнать самое себя, – для этого вертится и кружится всякое кольцо.

И угасающей звезде подобны деяния добродетели вашей; свет ее еще в пути и блуждает в пространстве – когда же завершит он путь свой?

Так и свет добродетели вашей все еще в пути, даже когда деяние уже свершилось. Пусть мертво оно и предано забвению: свет его все еще блуждает в пространстве.

Да будет добродетель ваша Самостью вашей, а не чем-то посторонним, личиной, покровом: вот истина глубин души вашей, вы, добродетельные!

Правда, есть такие, для кого добродетель – это корчи под ударами бича: и вы довольно наслушались воплей их!

Для некоторых добродетель – это лень пороков их: и всякий раз, когда их ненависть и зависть сладко потягиваются, тогда просыпается их "справедливость" и трет заспанные глаза свои.

А иных тянет вниз: это дьявол искушает их. Но чем больше они опускаются, тем ярче разгораются у них глаза и тем сильнее вожделеют они к богу своему.

О, и такие вопли достигали ушей ваших, добродетельные: "То, что *не я*, то и есть мой Бог и добродетель".

Встречаются еще и другие, которые передвигаются с трудом, и при этом скрипят, как телеги, нагруженные тяжелыми камнями: эти много толкуют о достоинстве и добродетели: тормоза свои называют они добродетелью!

Бывают еще и такие, что подобны часам с ежедневным заводом; они исправно выполняют свое "тик-так" и хотят, чтобы это "тик-так" почитали за добродетель.

Поистине, они особенно забавляют меня: где только ни встречу я такие часы, я буду заводить их насмешкой своей – пусть они тикают мне!

А другие гордятся горстью справедливости и во имя ее клевещут на все: так весь мир тонет в несправедливости их.

О, как дурно звучит в их устах слово "добродетель"! И когда говорят они: "Я справедлив", то всегда слышится в этом: "Я отмщен!" [[**2**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-2)]

Своей добродетелью они готовы выцарапать глаза врагам своим; и лишь для того они возносятся, чтобы унизить других.

Немало и таких, что сидят в своем болоте и вещают: "Добродетель – это смирно сидеть в болоте.

Мы никого не кусаем и обходим стороной всякого, кто кусается, и во всем держимся мнений, которым нас научили".

Опять же, встречаются любители поз, которые считают, что добродетель – это своего рода поза.

Колена их всегда преклонены и руки молитвенно сложены, чтобы славословить добродетель, но сердцу их она неведома.

Нередко можно встретить и таких, которые считают за добродетель говорить: "Добродетель необходима"; а в глубине души верят только в необходимость полиции.

Некоторые же не умеют разглядеть в людях высокое и считают за добродетель видеть вблизи их низменное: так дурной глаз свой считают они добродетелью.

Одни хотят приобретать знания и возвыситься, и это называют добродетелью; другие хотят от всего отказаться и быть низвергнутыми, и тоже называют это добродетелью.

И вот – почти все думают, что имеют свою долю в добродетели; и каждый хочет быть по меньшей мере знатоком "добра" и "зла".

Но не затем пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам: "Что знаете *вы* о добродетели? *Что можете* вы знать о ней?".

А для того, чтобы отвратить вас, друзья мои, от старых слов, которым научились вы у глупцов и лжецов:

от слов: "награда", "воздаяние", "наказание", "месть во имя справедливости".

Чтобы утомились вы говорить так: "Такой-то поступок хорош, ибо нет в нем себялюбия".

О друзья мои! Пусть *Самость* ваша проявляется во всяком поступке, как мать в ребенке своем: такими да будут речи ваши о добродетели!

Поистине, я отнял у вас сотню слов и любимые игрушки добродетели вашей; и теперь, словно дети, сердитесь вы на меня.

Они играли у моря – и вот набежала волна и смыла игрушки: теперь плачут они.

Но эта же самая волна принесет им новые игрушки и новые пестрые раковины рассыплет перед ними.

Тогда утешатся они; и подобно им, обретете и вы, друзья мои, утешение и новые пестрые раковины!

Так говорил Заратустра.

О ТОЛПЕ

Жизнь – источник радости; но всюду, где пьет толпа, родники отравлены.

Я люблю все чистое; я не переношу зрелища оскаленных морд и жажды нечистых.

Они бросили взор свой в родник: и вот – светится мне оттуда мерзкая улыбка их.

Священную воду отравили они похотью; а когда свои грязные сны назвали радостью, отравили еще и слова.

Негодует пламя, когда кладут они в огонь жертвенника свои сырые сердца; сам дух кипит и дымится, когда они приближаются к огню.

Приторным и гнилым делается плод в их руке; в сухой валежник обращает их взор плодоносящее дерево.

И многие отвернувшиеся от жизни отвратились только от толпы: ибо не хотели разделять с ней ни воды, ни огня, ни плодов.

И многие уходившие в пустыню к хищным зверям и изнемогавшие там от жажды, лишь не хотели сидеть у водоема вместе с грязными погонщиками верблюдов.

И многие, приходившие опустошением и градом на плодородные поля, всего лишь хотели поставить пяту свою на глотку толпы, чтобы заткнуть ее.

Знать, что самой жизни нужны вражда, и смерть, и кресты для распятий, – это еще не тот кусок, которым давился я больше всего.

Но когда вопрошал я, вопрос застревал в горле у меня: как? неужели жизни *нужна* и эта сволочь?

Нужны отравленные источники, зловонные костры, грязные сны и черви в хлебе жизни?

И не ненависть, а отвращение жадно пожирало жизнь мою! О, как часто тяготился я даже духом своим, когда обнаружил, что и у этого сброда есть дух!

И от господствующих отвернулся я, когда увидел, *что* они называют господством: мелочно торговаться за власть с толпой!

Жил я среди народов, заткнув уши, чужой им по языку: чтобы не приближался ко мне звук речей их, их язык барышников и торгашей властью.

Зажав нос, уныло проходил я через все вчерашнее и сегодняшнее: поистине, мерзко пахнет и то, и другое у сброда писак!

Долго жил я, подобно калеке, – глухим, слепым и немым: лишь бы подальше от властвующей, пишущей и веселящейся сволочи!

С трудом и осторожностью восходил дух мой по ступеням; крохи радости были усладой ему; и с посохом слепца влачилась жизнь моя.

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто обновил взор мой? Как вознесся я на те высоты, где уже не встретишь никакого сброда у родника?

Не само ли отвращение мое дало мне крылья и силы, помогающие прозреть истоки свои? Поистине, надо было подняться в самую высь, чтобы вновь обрести источник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь, наверху, бьет этот родник! Все же есть жизнь, от которой не пьют уста нечистых!

Слишком бурно ты бьешь, источник радости! Часто опустошаешь ты кубок, стремясь наполнить его!

И приближаясь к тебе, я еще должен научиться скромности; слишком страстно стремится навстречу тебе сердце мое.

Сердце мое, в котором пылает лето – краткое, знойное, грустное, сверхблаженное: как тоскует лето-сердце мое по твоей прохладе!

Миновала робкая печаль весны моей! Миновала ярость снежных хлопьев в июне! И весь я – лето и летний полдень!

Лето в самом расцвете его, со студеными источниками и благостной тишиной: о, приходите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это – *наша* высь и *наша* родина: слишком высоко жилище наше и недосягаемо для всех нечистых и жажды их.

Бросьте же, друзья, чистый взор свой в источник радости моей! Не помутится он от вашего взгляда! Он ответит вам улыбкой *своей* чистоты!

На древе будущего строим мы гнездо свое; орлы в своих клювах будут приносить нам, одиноким, пищу!

Поистине, не ту, которую вкушают нечистые! Они бы вообразили, что пожирают огонь, и обожгли бы морды свои!

Поистине, мы не уготовили здесь жилища для них! Ледяной пещерой показалось бы счастье наше для их тела и духа!

И как могучие ветры станем мы жить над ними, соседи орлам и снегу, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И подобно ветру буду и я некогда бушевать среди них и духом своим захватывать дыхание у духа их: так хочет мое будущее.

Поистине, Заратустра – могучий ветер для всех низин; и вот что советует он врагам своим и всем, кто плюется: "Берегитесь плевать *против* ветра!".

Так говорил Заратустра.

О ТАРАНТУЛАХ

Взгляни, вот яма тарантула! Не хочешь ли взглянуть на него? Вот сеть его: тронь, чтобы она задрожала.

А вот и сам он выползает: привет тебе, тарантул! На спине у тебя – черный треугольник, примета твоя: знаю я также то, что в душе у тебя.

Мщение в душе твоей – куда ужалишь ты, там вырастает черный струп; яд твой заставляет душу кружиться!

С такой притчей обращаюсь я к вам, вы, проповедники *равенства*, заставляющие души кружиться! Для меня вы – тарантулы и скрытые мстители!

Но хочу я ваше тайное сделать явным: потому и смеюсь я вам в лицо смехом возвышенных.

И потому разрываю я сеть вашу, чтобы ярость исторгла вас из ямы лжи и жажда мести обнаружилась за словами о справедливости.

*Да будет человек избавлен от мести*: вот мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо после долгого ненастья.

Но иного, конечно, хотят тарантулы. "Справедливость в том, чтобы весь мир наполнился бурями мщения нашего", – так говорят они между собой.

"Предадим мщению и поруганию всех, кто не равен нам", – так клянутся сердца тарантулов.

Воля к равенству – вот что должно ныне стать именем добродетели; против всего, что обладает властью, поднимаем мы клич!"

Вы, проповедники равенства! Бессильное безумие тирана вопит в вас о "равенстве": ваше сокровенное вожделение тирании драпируется в слова добродетели!

Безысходное тщеславие, тайная зависть, а быть может, еще и тщеславие, и зависть отцов ваших – все это прорывается в вас пламенем и безумием мести.

То, о чем умалчивал отец, начинает говорить в сыне; часто находил я в сыне тайну отца – неприкрашенной и нагой.

На вдохновенных похожи они: но их вдохновляет не голос сердца, а месть. И когда становятся они проницательными и сдержанными, то это не ум, а зависть делает их такими.

Зависть ведет их и на тропу мыслителей: и вот каков признак подобной зависти – они заходят всегда так далеко, что в конце концов приходится им в усталости засыпать на снегу.

В каждой жалобе их слышится месть, в каждой похвале таится оскорбление; и быть судьями кажется им блаженством.

Но я призываю вас, друзья мои: не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать!

Это люди дурной породы: в лицах их видны палач и ищейка!

Не доверяйте и тем, кто много говорит о своей справедливости. Поистине, душам их недостает только меда.

И когда они называют себя "добрыми и праведными", не забывайте, что для того, чтобы сделаться фарисеями, им не хватает лишь одного – власти!

Друзья мои, я не хочу, чтобы путали меня с кем-то другим. Ибо есть такие, что проповедуют учение мое о жизни: и вместе с тем они – проповедники равенства и тарантулы.

Если и говорят в пользу жизни эти ядовитые пауки, засевшие в норах своих и отвернувшиеся от всего живого, то лишь для того, чтобы вредить этим.

Так хотят они навредить власть имущим: ибо у тех преобладает еще проповедь смерти.

Будь иначе, и тарантулы учили бы иначе: ведь именно они были некогда яростными клеветниками на жизнь и сжигателями еретиков.

Я не хочу, чтобы меня путали с этими проповедниками равенства. Ибо так гласит справедливость: "Люди не равны".

И они не должны быть равны! Чем была бы любовь моя к Сверхчеловеку, если бы говорил я иначе?

Тысячами мостов и тропинок пусть стремятся люди к будущему, и все сильнее должны произрастать меж ними вражда и неравенство: так внушает мне великая любовь моя.

Призрачные образы и символы пусть изобретут они во вражде своей, и величайшее сражение состоится тогда между ними.

Добро и зло, богатство и бедность, высокое и низкое, и все имена ценностей: все это станет оружием и будет воинственно утверждать, что жизнь должна превозмогать себя снова и снова!

Ввысь, выстраивая колонны и ступени, желает вознести себя жизнь; она жаждет смотреть в беспредельные дали, на священную красоту, – *вот зачем* ей нужна высота!

Но если жизни так нужна высота, то ей нужны и ступени, а также противоречие ступеней и восходящих по ним! Восходить хочет жизнь и, восходя, превозмогать себя.

Взгляните же, друзья мои! Здесь, рядом с ямой тарантула, – развалины древнего храма; взгляните на них просветленным оком!

Поистине, тот, кто утвердил мысль свою и в камне вознес ее ввысь, знал все тайны жизни, как величайший из мудрецов!

Этим ясным символом поучает он нас, что и в красоте есть борьба и неравенство, война за могущество и всемогущество.

Взгляните, как преломляются арки и своды, переходя друг в друга в божественном противостоянии, как вместе со светом и тенью устремляются они друг на друга, божественно стремительные.

Пусть же и мы, верные и прекрасные, будем врагами! Божественно устремимся мы друг *против* друга!

Увы! Вот и меня самого ужалил тарантул, старый мой враг! Право же, прекрасно и с божественной самоуверенностью ужалил он меня в палец!

"Должны быть и воздаяние, и справедливость, – так думает он, – ведь не задаром же петь ему гимны в честь вражды!"

Да, он отомстил за себя! И увы! Теперь душа моя закружится в вихре мести!

Но чтобы не кружиться мне, друзья, привяжите меня покрепче к этой колонне! Уж лучше я буду столпником, чем вихрем мщения!

Поистине, не вихрь и не смерч Заратустра; а если он и танцор, то никак не танцор тарантеллы! [[**3**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-3)]

Так говорил Заратустра.

О ПРОСЛАВЛЕННЫХ МУДРЕЦАХ

Все вы служили народу и народному суеверию, вы, прославленные мудрецы! – а не истине! Потому и воздавали вам почести.

Потому терпели и неверие ваше, что оно было уловкой и хитроумным путем к народу. Так господин дает волю рабам своим, да еще забавляется дерзостью их.

Но кто ненавистен народу, как волк собакам, так это – свободный дух, враг цепей, который никому не поклоняется и живет в лесах.

Вытравить такого из логовища – это всегда называлось у народа чувством справедливости; и теперь еще науськивают на него самых свирепых собак.

"Ибо истина там, где народ! Горе ищущим!" – так повелось у вас издавна.

Вы хотели оправдать народ свой в поклонении его: это называли вы "волей к истине", вы, прославленные мудрецы!

И всегда говорило сердце ваше: "Из народа вышел я, и оттуда снизошел на меня глас Божий".

Умные и, в то же время, упрямые, как ослы, всегда были вы заступниками народа.

И многие из властителей, желавшие ладить с толпой, впереди коней своих впрягали осленка – какого-нибудь прославленного мудреца.

А теперь я хочу, чтобы вы совсем, наконец, сбросили с себя львиную шкуру!

Пеструю шкуру хищного зверя и косматую гриву исследующего, ищущего и покоряющего!

Чтобы поверил я в "искренность" вашу, должны вы сначала сломить в себе волю к поклонению.

Искренним называю я того, кто удаляется в пустыню безбожия и разбивает там сердце свое, готовое поклоняться.

Среди желтых песков, палимый солнцем, украдкой посматривает он, сгорая от жажды, на обильные источниками оазисы, где все живое отдыхает в тени.

Но и жажда не в силах заставить его уподобиться этим умиротворенным и самодовольным: ибо – где оазисы, там и идолы.

Голодным, одиноким, насильственным и безбожным – таким воля льва повелевает быть ему.

Быть бесстрашным и внушающим страх, великим и одиноким, свободным от счастья рабов и поклонения богам – такова воля искреннего.

В пустыне, и господами пустыни искони жили честные, свободные умы; а в городах живут прославленные мудрецы – откормленные вьючные животные.

Всегда, словно ослы, тянут они – повозку *народа!*

Не то, чтобы я сердился на них: но для меня они всегда останутся слугами, украшенными сбруей, хотя бы и сверкала она золотом.

И часто были они хорошими слугами, достойными похвалы. Ибо так гласит добродетель: "Если должен ты быть слугой, ищи того, кому наиболее полезна служба твоя.

Дух и добродетель господина твоего пусть возрастают благодаря тому, что ты сделался слугой ему: так и сам ты возрастешь с духом и добродетелью его".

Истинно так, знаменитые мудрецы, слуги народа! Вы возрастали вместе с духом и добродетелью народа – и народ вырос через вас! К чести вашей говорю я это!

Но народом остаетесь вы для меня и в добродетелях своих, народом с близорукими глазами, который не знает, что такое дух!

Дух есть жизнь, которая сама же надрезывает жизнь: собственным страданием умножает она знание свое: знали вы уже это?

И счастье духа в том, чтобы стать помазанником и жертвой на заклание, освященной слезами: знали вы уже это?

Слепота ослепшего и его искание на ощупь свидетельствуют о силе солнца, на которое взглянул он: знали вы уже это?

Мало того что дух движет горами; надо, чтобы научился познающий *строить* из гор: знали вы уже это?

Вы знаете только искры духа, но не видите, что он – наковальня, не видите жестокости молота его!

Поистине, вам не ведома гордость духа! Но гораздо непереносимее была бы для вас кротость его, пожелай она заговорить!

И вы еще ни разу не осмелились ввергнуть дух свой в снежную пучину: ибо вы недостаточно горячи! Потому и незнакомы вам наслаждения холодом его.

Но во всем вы обходитесь с духом слишком запросто, и мудрость часто превращали вы в богадельню и лечебницу для плохих поэтов.

Вы не орлы, и потому не испытали вы счастья в ужасе духа. Но кто не птица, тому не дано устраивать привал над пропастью.

Вы – теплы: но холодны ключи глубокого знания. Холодны, словно лед, глубочайшие источники духа – отрада для рук, горячих деяниями.

Вот стоите вы предо мной, почтенные и важные, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы! Ни сильный ветер, ни могучая воля не подвигнут вас.

Видели вы когда-нибудь, как по морю проносится парус, округлый, надутый ветром и трепещущий от бешенства его?

Подобно парусу, трепеща от бури духа, мчится мудрость моя по морю – моя необузданная мудрость!

Но вы, знаменитые мудрецы, слуги народа, – разве *можете* вы мчаться со мной!

Так говорил Заратустра.

НОЧНАЯ ПЕСНЬ

Вот и ночь: громче голос бьющих ключей. И душа моя – бьющий ключ.

Вот и ночь: просыпаются песни влюбленных. И душа моя – песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне: оно хочет говорить. Жажда любви оживает во мне и говорит языком ее.

Я – свет: о, если бы стал я ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом.

Стать бы мне темным, как ночь! Как приник бы я к сосцам света!

Как благословил бы я вас, искрящиеся звезды, светлячками мерцающие в небе! Как был бы счастлив дарами света вашего!

Но в сиянии собственных лучей живу я и поглощаю пламя, от меня исходящее.

Мне неведома радость берущего; и не раз думал я: стократ блаженнее крадущий, нежели дающий. [[**4**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-4)]

В том бедность моя, что вовек не устанет дарить рука моя; в том ревность моя, что вижу я взоры жаждущих и тьму, просветленную желанием.

О злосчастье дарящих! О затмение солнца моего! О томление страсти! О неутолимый голод пресыщения!

Они берут у меня: но затрагиваю ли я душу их? Пропасть – между "дарить" и "брать"; а самая малая пропасть преодолевается в последнюю очередь. [[**5**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-5)]

Голод родится из красоты моей: навлечь беды на вас, освещенных мной, обобрать приявших дары мои – во зло стремится алчность моя.

Отдернуть руку свою, когда чужая протянута к ней; медлить, словно водопад, продлевающий падение свое, – во зло стремится алчность моя.

Такую месть измышляет избыток мой; такое коварство источают ключи одиночества моего.

Радость дарящего охладевает в дарении, добродетель моя устала от обилия своего!

Вечно дарящий утратит и стыд. У раздающего – руки и сердце в мозолях.

Не увлажняются глаза мои от стыда за просящих; огрубели руки мои и не дрожат оттого, что наполнены.

Куда исчезли слезы очей моих? Где мягкость сердца моего? О одиночество всех дарящих! О молчание посылающих свет!

Многие солнца кружатся в пустоте пространства: всему темному говорят они светом своим. Для меня же они немы.

О вражда света ко всему светящему: безжалостно следует он путями своими.

В безднах сердца несправедливое ко всему светоносному, холодное ко всем другим солнцам – так совершает каждое солнце круги свои.

Точно бури, проносятся солнца путями своими, в этом их жизнь. Неумолимой воле своей следуют они, в этом их холод.

Вы одни, о темные ночи, извлекаете тепло из всего, что светит! Вы одни услаждаетесь молоком полногрудого света!

Льдом я окован, он жжет мне ладони! О эта жажда во мне, что томится по вашей жажде!

Вот и ночь: быть бы мне светом! И жаждой Ночного! И одиночеством!

Вот и ночь: словно родник, бьет из меня желание говорить.

Вот и ночь: громче голос бьющих ключей. И душа моя – бьющий ключ.

Вот и ночь: лишь теперь просыпаются песни влюбленных. И душа моя – песнь влюбленного.

Так пел Заратустра.

ПЛЯСОВАЯ ПЕСНЬ

Однажды Заратустра проходил с учениками своими через лес; и в поисках источника вышел он на зеленую лужайку, окаймленную деревьями и кустарником: там танцевали девушки. Узнав Заратустру, они оставили танец свой, но он подошел к ним с приветливым видом и сказал:

"Танцуйте же еще, милые девушки! Не противник забав со злым взглядом пришел к вам, не враг девушек.

Я – заступник Бога перед дьяволом, который есть Дух Тяжести. Как могу я, быстроногие, не любить божественные танцы? Или красивые девичьи ножки?

Правда, я – лес и ночь темнеющих деревьев: но кто не страшится мрака, тот найдет и кущи роз под моими кипарисами.

И встретит маленького бога, что всех милее девушкам: тихо покоится он у источника, смежив веки свои.

Вот как, среди бела дня уснул он, ленивец! Верно, набегался всласть за бабочками?

Не сердитесь на меня, прекрасные плясуньи, если я слегка накажу маленького бога! Конечно, будет он кричать и плакать, – но он такой забавный, – даже когда плачет!

И со слезами станет он упрашивать вас, чтобы вы станцевали; а я спою под ваш танец:

плясовую песнь в насмешку над Духом Тяжести – высочайшим и всесильным демоном, про которого говорят, что он "князь мира".

Вот та песня, которую пел Заратустра, пока Купидон и девушки танцевали:

"О Жизнь! Заглянул я недавно в глаза твои, и мне показалось, что погружаюсь я в непостижимую глубь.

Но золотой удочкой вытащила ты меня и насмехалась надо мной, когда я называл тебя бездонной.

"Так говорят между собой все рыбы, – отвечала ты, – которые не могут достичь дна; все, что слишком глубоко для *них*, зовут они бездонным и недостижимым.

Но я лишь изменчива и своенравна, и во всем я женщина, и отнюдь не добродетельна.

И хотя вы, мужчины, называете меня и "глубокой", и "вечной", и "таинственной";

но всегда вы одариваете нас своими собственными добродетелями – эх вы, добродетельные!"

Так смеялась она, недоверчивая; но не верю я ей и смеху ее, когда она злословит о себе самой.

А когда с глазу на глаз говорил я с дикой мудростью своей, она гневно сказала мне: "Ты желаешь, стремишься и любишь – и потому только *хвалишь* ты Жизнь!".

Чуть было тогда не ответил я зло и не сказал ей, разгневанной, правды; а нельзя ответить злее, чем сказав правду мудрости своей.

Так обстоит дело между нами троими. От всего сердца люблю я одну только Жизнь и, поистине, больше всего тогда, когда ненавижу ее!

Но то, что расположен я к мудрости, и часто даже слишком расположен, – все это оттого, что очень уж напоминает она мне Жизнь!

Глаза Жизни у нее, ее усмешка и даже ее золотая удочка; что я могу сделать, если так похожи они?

И когда Жизнь спросила однажды: "Кто она, мудрость твоя?" – я с жаром ответил: "О! Мудрость!

Жаждут ее и не могут насытиться, проникают взорами сквозь покровы, пытаются поймать в тенета.

Красива ли она? Почем я знаю! Но и для самых бывалых карпов она служит приманкой.

Изменчива и упряма она; не раз видел я, как кусала она себе губы и гребнем нарочно спутывала волосы.

Быть может, зла она и лжива, и во всем – женщина; но и когда злословит она о себе, даже тогда кажется самой обольстительной".

Когда сказал я это Жизни, та зло рассмеялась и закрыла глаза. "О ком говоришь ты? Не обо мне ли?

Даже если ты прав, – разве говорят такое прямо в лицо! Но поведай мне теперь о мудрости своей!"

Ах, ты снова открыла глаза, о возлюбленная жизнь! И вновь кажется мне, что погружаюсь я в неизмеримую глубь".

Так пел Заратустра. Но когда танец закончился и девушки разошлись, опечалился он.

"Солнце давно уже село, – сказал он, наконец, – на луг пала роса, от лесов веет прохладой. Что-то неведомое окружило меня и задумчиво смотрит. Как! Ты еще жив, Заратустра?

Почему? Зачем? Для чего? Где и как? Не безумие ли – еще жить?

О друзья мои, это вечер вопрошает во мне. Простите мне печаль мою!

Настал вечер: простите мне, что настал он!"

Так говорил Заратустра.

НАДГРОБНАЯ ПЕСНЬ

"Там остров могил молчаливый; там могилы юности моей. Туда отнесу я вечнозеленый венок жизни".

Так помышляя в сердце своем, плыл я по морю.

О вы, образы и видения юности моей! О вы, взоры любви, вы, божественные мгновения! Как скоро умерли вы! Я поминаю вас сегодня, как поминают умерших.

От могил ваших, возлюбленные покойники мои, доносится до меня сладкое благоухание, слезами облегчающее сердце мое. Поистине, аромат этот волнует душу и несет облегчение одинокому пловцу.

Я все еще богаче всех и до сих пор возбуждаю сильную зависть – я, одинокий! Ибо *вы* были со мною, а я и поныне с вами: скажите, кому падали с дерева такие румяные яблоки, как мне?

Я все еще наследник ваш, я – земля, цветущая в память о вас яркими дикорастущими добродетелями, о возлюбленные!

Мы были созданы друг для друга, милые далекие чудеса; и не как боязливые птицы, приближались вы ко мне и к желаниям моим, нет, но как доверчивые к верному!

Да, подобно мне, были вы созданы для верности и нежных вечностей; должен ли я называть вас теперь именами неверности вашей, вы, божественные взоры и мгновения? Пока еще не знаю я других имен.

Поистине, слишком скоро умерли вы, беглецы. Но не вы убежали от меня, и не я от вас: неповинны мы друг перед другом в неверности нашей.

Чтобы убить *меня*, душили вас, певчие птицы надежд моих! Да, в вас, возлюбленные, всегда пускала злоба стрелы свои, – чтобы поразить меня в самое сердце!

И они попали в цель! Ибо всегда были вы ближе всего сердцу моему; вы были всем, чем владел я и что владело мною, – потому и должны были вы умереть столь молодыми!

В самое уязвимое из достояний моих пустили стрелу: в вас, чья кожа, словно нежный пух, или, скорее, – улыбка, умирающая от одного только взгляда!

Но так скажу я врагам своим: "что человекоубийство по сравнению с тем, что сделали мне вы!

Большее зло совершили вы, чем убийство; невозвратимое отняли у меня – так говорю я вам, враги мои!

Образы юности и любимые мной чудеса отняли у меня, отняли блаженных духом, товарищей игр моих! Памяти их возлагаю я этот венок и произношу вам проклятие!

Это проклятие – вам, враги мои! Ибо короткой вы сделали вечность мою, – так в холоде ночи мгновенно угасает звук! Мгновением была моя вечность, мимолетным взглядом божественного ока!"

Когда-то, в блаженный час, провозгласила чистота моя: "Да будет для меня божественным все живое".

Тогда подступили ко мне вы со своими грязными химерами; куда умчался тот блаженный час?

"Все дни да будут священны для меня", – так говорила некогда мудрая юность моя; поистине, то была речь веселой мудрости!

Но тогда вы похитили у меня мои ночи и продали их за муки бессонницы: куда исчезла та веселая мудрость?

Некогда в образах птиц искал я счастливых примет: тогда вы пустили сову – зловещее чудовище – на путь мой. О, где вы теперь, мои нежные искания?

Некогда дал я обет отрешиться от всякого отвращения: тогда обратили вы близких и ближних моих в гнойные язвы. Ах, что сталось тогда с моим благородным обетом?

Как слепец, ходил я некогда блаженными путями: тогда набросали вы грязи на дорогу слепца. И теперь отвратительны стали ему былые тропинки.

И когда я совершил наитруднейшее для себя и праздновал победу преодолений своих, вы заставили кричать любящих меня, что я причинил им величайшую боль.

Поистине, всегда вы поступали так: вы отравили сладчайший мед мой и сгубили труд моих лучших пчел.

Самых наглых нищих посылали вы навстречу милосердию моему; толпы неизлечимо бесстыдных теснились всегда вокруг сострадания моего. Так ранили вы добродетели мои в самой вере их.

И когда приносил я в жертву все самое святое, что у меня было, тотчас и "благочестие" ваше присоединяло свои жирные дары: так что в чаду от жира их задыхалось священнейшее мое.

И однажды захотел я танцевать так, как еще никогда не танцевал, – выше небес хотел воспарить я в танце своем. Тогда подговорили вы любимого певца моего.

И запел он унылую, мрачную песнь; о, словно зловещий рог затрубил мне в уши.

Смертоносный певец – орудие зла, ни в чем не повинное! Уже встал я, готовый к лучшему своему танцу; но мелодией своей убил он мой восторг.

Только в танце могу я выразить символы и подобия высочайших вещей: и вот высочайший символ так и не отразился в движениях тела моего!

Осталась невысказанной и не нашла исхода высшая надежда моя! И умерли образы и утешения юности моей!

Как перенес я все это? Как избыл и превозмог эти раны? Как восстала душа моя из этих могил?

Да, есть во мне нечто бессмертное, что нельзя запереть в склеп, что способно взорвать даже скалы: это – *воля моя*. Безмолвно, не изменяясь, сквозь годы проходит она.

Как и прежде – своим ходом, но моими ногами желает идти воля моя; сурово и непобедимо чувство ее.

Только в эту пяту неуязвим я. Ты жива и верна себе, ты, терпеливейшая! И всегда прорываешься через склепы!

То, что не нашло разрешения в юности, все еще живо в тебе; как юность, как жизнь, полная надежд, сидишь ты здесь, на могильных руинах.

Приветствую тебя, воля моя, разрушительница склепов! Только там, где есть могилы, совершаются воскресения!

Так пел Заратустра.

О САМОПРЕОДОЛЕНИИ

"Воля к истине" – не так ли называете вы, мудрейшие, то, что движет вами и возбуждает ваш пыл?

Воля к тому, чтобы сделать все сущее мыслимым: так называю я волю вашу!

Все сущее вы хотите сперва *сделать* мыслимым: ибо с полным основанием сомневаетесь в том, что оно мыслимо.

Но оно должно покориться и подчиниться вам! Так хочет воля ваша. Все сущее должно стать податливым и подвластным духу, как его зеркало и отражение.

Вся воля ваша, мудрейшие, в этом стремлении ее к власти, даже когда говорите вы о добре и зле, об оценке всех ценностей.

Создать мир, перед которым могли бы вы преклонить колени свои: в этом ваша последняя надежда и опьянение.

Между тем как народ, то есть все остальные, не мудрые, подобен реке, по которой плывет челнок, а в нем – торжественные, пышно разодетые ценности.

Вашу волю и ценности ваши пустили вы по реке становления; в том, во что верит народ как в доброе и злое, угадываю я прежнюю волю к власти.

Это вы, мудрейшие, посадили таких гостей в свой челнок, наделив их блеском и пышными именами, вы и ваша господствующая воля!

Теперь дальше несет река челнок: она *должна* нести его. Не беда, если пенится взрезанная волна и гневно спорит с килем!

Не река грозит вам опасностью, не она положит конец добру и злу вашему, о мудрейшие: но опасна сама воля к власти – неистощимая, оплодотворяющая воля самой жизни.

Но чтобы поняли вы слово мое о добре и зле, я хочу вам поведать о жизни и о свойствах всего живого.

Я следовал за всем живущим, я прошел великими и малыми путями его, чтобы познать свойства его.

Стогранным зеркалом ловил я взор живого, когда были сомкнуты уста его; чтобы взор его говорил мне. И он говорил.

Но где бы ни находил я живое, всюду слышал я речь о повиновении. Все живое есть нечто повинующееся.

И вот второе, что познал я: приказывают тому, кто не умеет подчиняться самому себе. Таково свойство всего живого.

Но вот третье, что слышал я: повелевать труднее, чем повиноваться. И не только потому, что повелевающий несет бремя всех повинующихся и что бремя это легко может раздавить его:

– попыткой и дерзновением казалось мне всякое приказание. И приказывая, живое всегда подвергает себя риску.

Даже приказывая самому себе, должно еще искупить приказание свое и стать судьей, мстителем и жертвой своего собственного закона.

"Как же происходит это? – вопрошал я себя. – Что побуждает живое повиноваться, и приказывать, и, приказывая, повиноваться себе?"

Так слушайте же слово мое, мудрейшие! Удостоверьтесь, действительно ли проник я в основу основ жизни и до самых недр сердца ее?

Всюду, где было живое, обнаруживал я волю к власти; и даже в повиновении слуги находил я стремление быть господином.

Воля слабого побуждает его подчиниться сильному, ибо желает господствовать над тем, кто еще слабее: лишь этой радости жаждет он и не захочет лишиться ее.

И как меньшее предается большему, чтобы радоваться и властвовать над еще более малым, – так жертвует собой и величайшее, ради власти рискуя жизнью своей.

В том и заключается самопожертвование великого, что оно – дерзновение, и опасность, и игра, где ставка – жизнь.

И там, где есть жертва, и служение, и взоры любви, – там есть воля к господству. Потаенными путями пробирается слабый в крепость сильного – до самого сердца его – и похищает власть.

И вот какую тайну поведала мне жизнь: "Смотри, – сказала она. – я есть то, что *постоянно преодолевает самое себя*.

Хотя вы и называете это жаждой воспроизведения или стремлением к цели – к высшему, дальнему, многообразному, но все это – едино и есть одна тайна.

Я скорее погибну, чем отрекусь от этого: истинно, там, где гибель, закат и падение листьев, там жизнь жертвует собой ради власти!

Я должна быть борьбой и становлением, целью и противоречием целей: о, кто угадывает волю мою, тот поймет, какими *кривыми* путями должна следовать она!

Что бы ни созидала я и как бы ни любила творение свое, – и ему, и любви своей должна я стать противницей; так хочет воля моя.

И сам ты, познающий, ты всего лишь тропа и след воли моей: поистине, моя воля к власти идет ногами твоей воли к истине!

Тот, кто возвестил о "воле к существованию", прошел мимо истины; этой воли не существует!

Ибо то, чего нет, не может хотеть; а то, что есть, не захочет быть, ибо уже есть!

Только там, где есть жизнь, есть и воля: но не воля к жизни – воля к власти! Так учу я тебя.

Многое ценит живущий выше, чем жизнь; но и в самой оценке этой говорит воля к власти!"

Так учила меня некогда жизнь: так же, мудрейшие, разрешаю и я загадку сердца вашего.

Истинно говорю вам: нет такого добра и зла, что были бы непреходящи. Неустанно должны они преодолевать сами себя.

С помощью ценностей ваших и того, что говорите вы о добре и зле, вершите вы насилие, вы, оценивающие: и в этом ваша тайная любовь, блеск, трепет и порыв души.

Но более могучая сила и новое преодоление вырастают из ценностей ваших; об эту силу и преодоление разобьется яйцо и скорлупа его.

И тот, кто должен быть творцом добра и зла, тот, поистине, должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так высшее зло принадлежит к высшему благу – быть созидающим.

Будем же говорить только о нем, о мудрейшие, хоть и зло оно по сути своей. Однако молчание – еще хуже: всякая истина, о которой умалчивают, становится ядовитой.

Да разобьется о наши истины все. что *может* разбиться о них! Много зданий еще предстоит построить!

Так говорил Заратустра.

О ВОЗВЫШЕННЫХ

Спокойна глубина моего моря: никто и не догадывается о том, какие забавные чудища скрывает оно!

Невозмутима глубина моя: но переливается она блеском загадок и улыбок, скользящих по поверхности ее.

Одного из возвышенных видел я сегодня – торжественного, кающегося духом: о, как смеялась душа моя над его безобразием!

Выпятив грудь, как будто задерживая дыхание, стоял он, этот возвышенный, и молчал.

Он был увешан безобразными истинами, трофеями охоты его, и щеголял разодранными одеждами; и много шипов было на нем, но не было ни одной розы.

Еще не научился он смеху и красоте. Мрачным вернулся этот охотник из леса познания.

Пришел он после битвы с дикими зверями; но сквозь серьезность его проглядывает еще дикий зверь – непобежденный!

Словно тигр, изготовившийся к прыжку, – так держится он; но я не люблю этих напряженных душ, и не по вкусу мне все эти настороженные.

А вы, друзья мои, говорите, что о вкусах не спорят? Но вся жизнь и есть спор о вкусах!

Вкус – это одновременно и вес, и чаша весов, и тот, кто взвешивает; и горе живущим, которые хотят прожить без спора обо всем, что касается взвешивания!

О, если бы этот возвышенный утомился возвышенностью своей: только тогда проявилась бы красота его, и лишь тогда я отведал бы его и нашел вкусным.

И лишь отвратившись от себя самого, перепрыгнет он через собственную тень – поистине! – прямо в солнце свое!

Слишком долго сидел он в тени, побледнели щеки у кающегося духом: едва не умер он от голода в ожидании своем.

Еще таится в глазах его презрение, и отвращение – на устах его. И хотя достиг он успокоения, нет солнца в покое его.

Он должен бы трудиться, как вол; и землей должно бы пахнуть счастье его, а не презрением к земле.

Белым волом хотел бы я видеть его, волом, который, фыркая и мыча, идет перед плугом; и само мычание его должно восхвалять все земное!

Лицо его еще мрачно: тень от руки играет на лице его. Затенено еще чувство во взоре его.

Деяние его лежит тенью на нем: сама рука омрачает действующего ею. [[**6**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-6)] Не преодолел он еще деяния своего.

Как нравится мне эта бычья шея! Однако теперь хотел бы я увидеть, что взгляд его – взгляд ангела.

И свою волю героя он тоже должен забыть: да будет он вознесенным, а не просто возвышенным: пусть сам эфир носит его, лишенного воли!

Он побеждал чудовищ и разгадывал загадки: избавителем, разрешителем и победителем всего чудовищного и загадочного в себе самом пусть станет он теперь и преобразит своих чудищ в небесных детей.

Еще познание его не научилось улыбаться и не ведать зависти; еще не стихла в красоте его бурная страсть.

Поистине, в красоте, а не в сытости должны потонуть и умолкнуть порывы его! Привлекательно великодушие тех, кто возвышенно настроен.

Положив руку на голову – так должно отдыхать герою, пусть так преодолевает он даже отдых свой.

Но именно для героя *красота* – самое трудное. Она недостижима для самой сильной воли.

Чуть больше, чуть меньше: но как раз в этом "чуть-чуть" и заключается многое, именно это "чуть-чуть" и является сутью.

Расслабить мускулы и волю – это для вас самое трудное, вы, возвышенные!

Когда сила, оказывая милость, нисходит в видимое, такое снисхождение зову я красотой.

И ни от кого не требую я красоты так, как от тебя, сильный: пусть доброта будет твоим последним самопреодолением.

Я считаю тебя способным на всякое зло и потому требую от тебя добра.

Правда, я часто смеялся над слабыми, которые мнят себя добрыми, поскольку бессильны их руки!

В добродетели своей бери пример с колонны: чем выше она, тем нежнее и прекраснее, тогда как внутри – тверже и выносливее.

Да, возвышенный, ты еще станешь прекрасным и будешь держать зеркало перед красотой своей.

Тогда содрогнется душа твоя от божественных желаний, и поклонение будет даже в тщеславии твоем!

В этом – тайна души: только когда герой покинул ее, в сновидении к ней приближается Сверхгерой.

Так говорил Заратустра.

О СТРАНЕ КУЛЬТУРЫ

Слишком далеко залетел я в будущее: ужас объял меня.

И когда я оглянулся вокруг, я увидел, что только время было моим единственным современником.

Тогда полетел я обратно, домой, – все быстрей и быстрей: так пришел я к вам, люди нынешнего, в страну культуры.

Впервые решился я как следует рассмотреть вас, и не было злого умысла в желании моем; поистине, пришел я к вам с томящимся сердцем.

Но что случилось со мной? Как ни робел я, не мог я не рассмеяться! Никогда еще глаза мои не видели ничего более пестрого!

Я продолжал смеяться, тогда как поджилки мои тряслись, а сердце трепетало. "Вот она, родина всех горшков для красок!" – сказал я себе.

С лицами и телами, раскрашенными на пятьдесят ладов: так восседали вы, современники, к изумлению моему!

И пятьдесят зеркал, которые льстили вам, окружало вас, повторяя игру ваших красок!

Поистине, люди нынешнего, вам не придумать себе лучшей маски, чем ваше собственное лицо! Кто сможет узнать вас?

Исписанные знаками прошлого, а поверх них – еще и новыми знаками: да, вы хорошо скрыли себя от всех толкователей!

Пусть бы даже и нашелся кто-нибудь, кто исследует внутренности: однако трудно поверить, что они есть у вас! Похоже, что вас состряпали только из красок и склеенных ярлыков.

Все века и народы пестрят из-под ваших покровов; в жестах и манерах ваших – пестрота нравов и верований.

И если снять с вас покровы, одеяния и краски и лишить вас ужимок ваших, то останется ровно столько, чтобы пугать птиц.

Поистине, я и сам – испуганная птица, увидевшая вас однажды нагими и без грима; и я улетел от вас, как улетел бы от скелета, предложившего мне любовь.

Уж лучше сделаться поденщиком в преисподней и служить теням минувшего! Даже обитатели подземного мира тучнее и полнее вас!

Да, в том-то и горечь утробы моей, что не выношу я вас ни нагими, ни одетыми!

Все, что есть страшного в будущем и что пугало птиц, потерявших дорогу, – поистине, это ближе сердцу моему, чем ваша "действительность".

Ибо так говорите вы: "Мы – сама действительность, без веры и суеверия"; так в похвальбе раздуваете вы грудь свою, не смущаясь ее отсутствием!

Да и как вам веровать, вы, размалеванные! Вы разукрашены картинами, списанными со всего, во что когда-либо веровали!

Вы – ходячее опровержение веры, обрывки и кончики мыслей. *Ненастоящие* – так называю я вас, апологеты действительности!

Все эпохи поносят одна другую в уме вашем: но сонные грезы и болтовня прошлого все же ближе к действительности, чем ваше бодрствование!

Вы – бесплодны: и *потому* нет в вас веры. Но созидающий всегда видел вещие сны и звездные знамения – и он верил в веру!

Вы – полуоткрытые ворота, у которых ждут могильщики. И вот она, *ваша* действительность: "Все обречено гибели".

Вот стоите вы передо мной, тощие и бесплодные! Как торчат ребра ваши! Иные из вас и сами замечают это.

И говорят: "Кажется, пока я спал, Бог что-то похитил у меня? Этого вполне хватило бы, чтобы смастерить бабенку! [[**7**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-7)]

Удивительна худоба ребер моих!" – так говорят многие мои современники.

Да, люди нынешнего, смех вызываете вы у меня! И особенно когда удивляетесь сами себе!

Счастье, что могу я смеяться над удивлением вашим и не приходится мне глотать всякую мерзость из ваших мисок!

Но вы не в тягость мне, ибо предстоит мне нести нечто *тяжелое*: не беда, если жуки и мухи сядут на ношу мою!

Поистине, не станет она тяжелее от этого! И не из-за вас, современники, ляжет на меня величайшая усталость.

Ах, куда еще подняться мне с тоской моей! Со всех гор высматриваю я отцовские и материнские земли.

Но родины нигде не нашел я: в любом месте я не на месте и ни у одних ворот не задерживаюсь.

Чужды мне современники, предмет насмешки моей! А ведь недавно влекло меня к ним сердце мое. Изгнан я из отцовских и материнских земель.

Только одну страну люблю я – *страну детей моих*, еще не открытую, лежащую в дальних морях: пусть неустанно ищут ее корабли мои.

В детях своих возмещу я то, что я – сын отца своего: всем будущим искуплю – *это* настоящее!

Так говорил Заратустра.

О НЕЗАПЯТНАННОМ ПОЗНАНИИ

Вчера, когда восходил месяц, показалось мне, будто хочет он родить солнце: так широко раскинувшись, лежал он за горизонтом – словно роженица.

Но обманул меня этот лгун беременностью своей; и скорее уж я поверю, что месяц – мужчина, а не женщина.

Правда, мало похож на мужчину этот робкий ночной мечтатель. Поистине, с дурной совестью бродит он по крышам.

Ибо он похотлив и завистлив, этот монах; падок он до земли и любовных утех.

Нет, не люблю я этого кота на крыше! Противны мне те, кто подкрадывается к полуоткрытым окнам!

Кротко, безмолвно и бесшумно ступает он по звездным коврам: но не люблю я тихую мужскую поступь – мужскую поступь без звона шпор!

Шаги честного честно предупреждают о себе; но кошка припадает к земле и крадется. Взгляни, по-кошачьи крадучись, движется и месяц.

С таким сравнением обращаюсь я к вам, чувствительные лицемеры, ищущие "чистого познания"! Сластолюбцами называю я вас!

И вы любите землю и земное: я хорошо разгадал вас! Но стыд и дурная совесть в любви вашей – вы подобны месяцу!

Презрение к земному внушено духу, но не нутру вашему: а именно *оно* сильнее всего в вас!

И вот – стыдится ваш дух, что угождает нутру вашему, и уходит от стыда путями лжи и обмана.

"Высшим было бы для меня, – так говорит ваш изолгавшийся дух, – созерцать жизнь без вожделения, а не как собака – с высунутым языком".

"Быть счастливым в созерцании, с умершей волей, без приступов алчности и себялюбия, быть холодным и изможденным, но с пьяными глазами месяца".

"Лучшей долей было бы для меня любить землю так, как любит ее месяц, и одним лишь взглядом прикасаться к красоте ее", – так соблазняет себя соблазненный.

*"Незапятнанным* познанием вещей я называю такое, когда мне ничего не надо от них, – только лежать перед ними, как зеркало с сотней глаз".

О вы, чувствительные лицемеры и сластолюбцы! Вам недостает невинности в желании: потому и клевещете вы на него!

Поистине, не как созидающие, производящие и радующиеся становлению, любите вы землю!

В чем невинность? Она там, где есть воля к порождению. И у того самая чистая воля, кто желает созидать сверх себя.

В чем красота? В том, что я *должен желать* всей волей своей; что жажду я любить и погибнуть ради того, чтобы образ не остался лишь образом.

Любить и погибнуть: это сочетание – вечно. Воля к любви означает готовность к смерти. Так говорю я вам, малодушные!

Но ваш взгляд, косой взгляд скопца, хочет называться созерцанием! А то, что можно ощупать трусливым оком, именуется у вас прекрасным! О вы, осквернители благородных имен!

Но в том проклятие ваше, вы, незапятнанные, ищущие чистого познания, что вы никогда не родите! Хотя и лежите вы, словно роженицы, широко раскинувшись за горизонтом!

Правда, полны уста ваши благородных слов. И что же, мы должны верить, что и сердца ваши переполнены, вы, лжецы?

Но *мои* слова – грубые, неказистые и презренные: и я охотно подбираю то, что падает под стол на пиршествах ваших.

И все же этими словами я могу говорить вам правду, лицемеры! Да, пусть едкие ароматы раковин и рыбьих костей и колючие листья пощекочут вам ноздри.

Дурной запах всегда вокруг вас и на пиршествах ваших: ваши похотливые мысли, ложь и притворство так и носятся в воздухе!

Имейте же смелость поверить себе и нутру своему! Кто не верит себе, тот всегда лжет.

Личиной божества прикрылись вы, "чистые": в личине этой укрылся ужасный кольчатый червь ваш.

Поистине, обманываете вы, "созерцатели"! Самого Заратустру одурачили вы некогда божественной личиной своей: не распознал он змеиных колец, под ней таящихся.

Некогда возомнил я, что некая божественная душа участвует в играх ваших, вы, поклонники чистого познания! Считал я тогда, что нет лучшего искусства, нежели ваше!

Даль скрывала от меня змеиные нечистоты и мерзостное зловоние, и не знал я, что хитрость ящерицы похотливо извивается там.

И подошел я *ближе к* вам: и день наступил для меня, а теперь наступает он и для вас – кончились любовные похождения месяца!

Взгляните! Стоит он. застигнутый на месте, бледный, перед утренней зарей!

Ибо уже грядет пылающее солнце, к земле приближается любовь его! Любовь солнца – невинность и желания созидающего!

Взгляните, как нетерпеливо поднимается оно из-за моря! Разве не чувствуете вы жажды и горячего дыхания любви его?

Морем жаждет упиться оно и в свою высь поднять глубину его: и тысячью грудей поднимается к нему море.

Ибо море *хочет*, чтобы солнце целовало его и упивалось им; оно *хочет* стать воздухом, и высотой, и стезей света, и самим светом!

Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря.

И вот что называю я познанием: чтобы все глубокое поднялось на высоту мою!

Так говорил Заратустра.

ОБ УЧЕНЫХ

Однажды, пока я спал, овца подошла и съела венок из плюща с головы моей; съела и сказала: "Заратустра не ученый больше".

И проговорив это, она в пренебрежении ушла. Один ребенок рассказал мне об этом.

Люблю я лежать здесь, где играют дети, у разрушенной стены, среди чертополоха и красных маков.

Я все еще ученый для детей, и для чертополоха, и красных маков. Невинны они даже в злости своей.

Но для овец я уже перестал быть ученым: так угодно судьбе моей – да будет благословенна она!

Ибо правда такова: ушел я из жилища ученых, и еще хлопнул дверью.

Слишком долго сидела голодной душа моя за их столом: не научился я познавать, подобно им, – с той же ловкостью, с какой щелкают орехи.

Свободу люблю я и чистый воздух над свежей землей; лучше я буду спать на воловьих шкурах, чем на их званиях и почестях.

Слишком горяч я и потому сгораю от собственных мыслей: часто захватывает у меня дыхание. И тогда необходимо мне вырваться на простор, прочь из всех этих запыленных комнат.

Но они прохлаждаются в тени: во всем они хотят быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солнце раскаляет ступени.

Подобно уличным зевакам, что стоят и глазеют на прохожих, ждут и они, и глазеют на мысли, придуманные другими.

Если дотронуться до них, то поднимается пыль, как от мешков с мукой; кто бы мог подумать, что пыль эта – от зерна и золотых даров нивы?

Когда выдают они себя за мудрецов, меня знобит от их ничтожных истин и изречений; и часто мудрость их отдает таким смрадом, словно ее породило болото; и, поистине, я даже слышал уже, как лягушки квакали в ней!

Ловки они, и искусны их пальцы: что моя простота рядом с их изощренностью! Все могут они – шить, вязать, ткать: вот и вяжут они чулки для духа!

Они – прекрасные часовые механизмы: нужно только вовремя заводить их! Тогда они безошибочно показывают время, производя при этом деликатный шум.

Подобно мельницам и ступам, работают они – только успевай бросать в них зерно! Уж они-то сумеют перемолоть его и превратить в белую пыль.

Каждый зорко следит за движением пальцев соседа своего, и не слишком доверяют они друг другу. Изобретательные на маленькие хитрости, они поджидают тех, чье знание прихрамывает, и подстерегают, подобно паукам.

Я видел, с какой осторожностью приготовляют они яд: при этом всегда надевают стеклянные перчатки на пальцы свои.

И в поддельные кости умеют они играть: и играют с таким жаром, что их прошибает потом.

Чужды мы друг другу, и их добродетели мне даже противнее, чем лукавство и фальшивые игральные кости.

И когда я жил среди них, жил я над ними. И за это они не любили меня.

Они и слышать не желают о том, чтобы кто-нибудь ходил над их головами; и потому между мной и собой, над головами своими, они наложили дерева, земли и мусора.

Так заглушили они шум шагов моих: до сих пор хуже всего меня слышали самые ученые из них.

Все ошибки и слабости людские проложили они между собой и мной: черным полом [[**8**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-8)] называется это в их домах.

Но невзирая на это, я со своими мыслями продолжаю ходить поверх их голов; и пожелай я идти путем своих заблуждений, то и тогда оказался бы я выше.

Ибо люди не равны: так гласит справедливость. И то, чего я желаю, *они* не смеют желать!

Так говорил Заратустра.

О ПОЭТАХ

"С тех пор, как я лучше знаю тело, – сказал Заратустра одному из учеников своих, – я говорю о духе лишь в переносном смысле; и все "непреходящее" – тоже всего лишь символ". [[**9**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-9)]

"Я уже слышал это от тебя однажды, – отвечал ученик, – и тогда ты еще прибавил: "А поэты слишком много лгут". Почему сказал ты, что поэты слишком много лгут?"

"Почему? – повторил Заратустра. – Ты спрашиваешь почему? Я не принадлежу к тем, кого можно спросить обо всех их "почему".

Не вчера началась жизнь моя! Давно уже пережил я основания мнений своих.

Пришлось бы мне быть бочкой памяти, если бы таскал я с собой все свои основания!

Хранить свои мнения – уже и этого слишком много для меня; а сколько птиц уже улетело!

И среди них в голубятне моей есть какая-то залетная, не знакомая мне; она дрожит, когда я кладу на нее свою руку.

Так что же однажды сказал тебе Заратустра? Что поэты слишком много лгут? Но и сам Заратустра – поэт.

Теперь веришь ли ты, что сейчас он сказал правду? Почему веришь?"

Ученик отвечал: "Я верю в Заратустру". Но тот покачал головой и улыбнулся.

"Вера не делает меня праведным, – сказал он, – тем более вера в меня.

Но положим, кто-нибудь сказал всерьез, что поэты много лгут: он был бы прав – *мы* слишком много лжем.

Мы очень мало знаем и плохо учимся: потому и должны мы лгать.

И кто из нас, поэтов, не разбавлял вина своего? Сколько ядовитых смесей было приготовлено в погребах наших; много там происходило такого, чего нельзя описать.

И поскольку мы мало знаем, нам по душе нищие духом, особенно когда это – молоденькие женщины!

А также падки мы до всего, что вечерами рассказывают старые бабы. Это называем мы в себе вечной женственностью.

И как будто существует некий тайный, особый ход к знанию, который *непроходим* для тех, кто чему-нибудь учится, то и верим мы в народ и в "мудрость" его.

А вот то, чему верят все поэты: если, лежа в траве или на уединенном склоне горы, навострить уши, то постигнешь нечто такое, что находится между небом и землей.

И когда на поэтов находят приступы нежности, они убеждены, что сама природа влюблена в них.

И что она тихонько подкрадывается к ним и нашептывает им что-то таинственное, а также любовные, льстивые речи: этим они гордятся и чванятся перед всеми смертными!

О, как много вещей между небом и землей, о которых позволяют себе мечтать только поэты!

И тем более о том, что *сверх* небес: ибо все боги суть символы и хитросплетения поэтов!

Поистине, всегда влечет нас ввысь – в царство облаков: на них усаживаем мы наши пестрые чучела и называем их богами и Сверхчеловеком.

Благо, довольно легки они для этих седалищ – и эти боги, и Сверхчеловек!

О, как устал я от всего неосуществленного, что непременно желает стать событием! О, как я устал от поэтов!"

Пока говорил Заратустра, сердился на него ученик, но молчал. Замолчал и Заратустра; а взор его был обращен вовнутрь, и казалось, что глядел он куда-то вдаль. Наконец он вздохнул.

"Я – от нынешнего, и я – от минувшего, – сказал он, – но есть во мне нечто и от завтрашнего, и от послезавтрашнего, и от грядущего.

Я устал от поэтов, старых и новых: слишком поверхностны для меня все эти мелкие моря.

Недостаточно глубоко проникала их мысль: оттого и чувство их не достигало самых основ.

Немножко похоти, немножко скуки – таковы еще лучшие мысли их.

Для меня переливы мелодий их арф – призрачное мимолетное дуновение; что знали они до сих пор о страстном пылании звуков?

К тому же они недостаточно чистоплотны: они мутят воду, чтобы казалась она глубже.

Они любят выдавать себя за примирителей: но для меня они всегда останутся посредниками и подтасовщиками, половинчатыми и нечистоплотными!

Ах! часто забрасывал я сеть в море их в надежде на хороший улов; а вытаскивал всегда лишь голову какого-нибудь древнего божества.

Так, голодающему море дало камень. [[**10**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-10)] Возможно, что они и сами вышли из моря.

Конечно, и среди них попадаются жемчужины: но это придает им еще больше сходства с твердыми раковинами. И часто вместо души находил я в них одну соленую слизь.

У моря они научились и тщеславию своему: разве море – не павлин из павлинов?

И перед безобразнейшим из буйволов распускает оно хвост, никогда не утомляясь игрой своего кружевного веера из серебра и шелка.

Тупо смотрит на него буйвол, чья душа схожа с песком, еще более схожа с чащобой, а более всего напоминает болото.

Что ему красота, и море, и убранство павлина! Такую притчу говорю я о поэтах.

Поистине, дух их – тоже павлин из павлинов и море тщеславия!

Зрителей нужно духу поэта: пусть это будут хотя бы буйволы!

Устал я от этого духа: и предвижу время, когда и сам он устанет от себя.

Я уже видел поэтов, которые преобразились и обратили взор свой на себя.

Я видел кающихся духом: из поэтов выросли они".

Так говорил Заратустра.

О ВЕЛИКИХ СОБЫТИЯХ

Есть на море остров – неподалеку от блаженных островов Заратустры, – на нем постоянно дымится вулкан; народ, а особенно старые женщины, говорили про этот остров, что он – каменная глыба перед вратами преисподней; а внутри самого вулкана есть узкий проход вниз, ведущий к этим воротам.

И вот – в ту пору, когда Заратустра пребывал на блаженных островах, случилось так, что один корабль бросил якорь у острова, на котором высится дымящийся вулкан; и команда сошла с корабля на берег, чтобы поохотиться на кроликов. А когда ближе к полудню капитан и его люди снова собрались вместе, они вдруг увидели, что кто-то приближается к ним по воздуху, и какой-то голос явственно произнес: "Пора! Давно пора!" Когда же призрак этот приблизился к ним – а он быстро, подобно тени, летел по направлению к вулкану, – они, пораженные, узнали в нем Заратустру; ибо все, кроме капитана, видели его не раз и любили, как любит народ – соединяя любовь с робостью.

"Посмотрите-ка, – сказал старый рулевой, – Заратустра отправляется в ад!"

В то самое время, когда корабельщики пристали к острову, разнесся слух, что Заратустра исчез; и когда спрашивали друзей его, те отвечали, что он ночью пошел к кораблю, не сказав, куда хочет отправиться.

Так возникло некоторое смятение, а через три дня, когда узнали про случай с корабельщиками, оно усилилось; и весь народ стал рассказывать, что Заратустру унес дьявол. Правда, его ученики смеялись над этой болтовней; а один из них даже сказал: "Я скорее поверю тому, что Заратустра сам унес дьявола". Однако в глубине души все были озадачены и волновались: тем сильнее была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них.

И вот рассказ Заратустры о его разговоре с Огненным Псом:

"Земля, – сказал он, – имеет оболочку; и оболочка эта поражена болезнями. К примеру, одна из этих болезней называется "человек".

А другая болезнь называется "Огненный Пес": и *о нем* люди много лгали и позволяли лгать друг другу.

Чтобы выведать тайну эту, перешел я море и увидел истину нагой! Поистине, нагой с головы до пят.

Теперь знаю я, что такое Огненный Пес и все эти демоны извержения и ниспровержения, которых боятся не одни только старухи.

"Выходи, Огненный Пес, из бездны своей! – вскричал я, – и признавайся, так ли глубока бездна эта? Откуда берется все то, что ты изрыгаешь на нас?

Обильно пьешь ты из моря: это видно по соли твоего красноречия. Поистине, для пса из бездны слишком много берешь ты пищи с поверхности!

Чревовещатель земли – вот кто ты для меня, и не более: всякий раз, слыша демонов извержения и ниспровержения, находил я их похожими на тебя – подсоленными, лживыми и плоскими.

Вы умеете рычать и засыпать пеплом! Вы – бесподобные хвастуны и в совершенстве овладели искусством так нагревать ил и слизь, чтобы они закипали.

Где вы, там поблизости всегда должен быть ил и множество губкообразных, пещеристых и створчато-защемленных: все это рвется на свободу.

"Свобода", – с удовольствием рычите вы: но я разучился верить в великие события, коль скоро вокруг них так много воплей и дыма.

И поверь мне, ты, адов шум! Величайшие события – это не самые шумные, а самые тихие часы наши.

Не вокруг тех, кто измышляет новый шум, а вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир; *неслышно* вращается он.

И признай же, что стоит лишь только рассеяться дыму и прекратиться твоему грохоту, оказывается, что не произошло почти ничего. Велика важность, если какой-нибудь город сделался безжизненным, словно мумия, а какая-нибудь статуя лежит в грязи!

И вот что еще хочу сказать я всем ниспровергающим статуи: право же, это величайшая глупость – бросать соль в море, а статуи в грязь.

В грязи презрения вашего лежала статуя: но на том и зиждется закон ее, что из уничижения вновь восстанут жизнь и живая красота ее!

И вот – в божественном ореоле поднимается она теперь, еще более обольстительная в страдании своем; и поистине, она еще поблагодарит вас за то, что вы ниспровергли ее, разрушители!

Такой совет даю я королям, и церквям, и всему, что одряхлело от тяжести лет и ослабло в добродетели: дайте ниспровергнуть себя! И вы снова вернетесь к жизни, а добродетель вернется к вам!"

Так говорил я Огненному Псу. Тут он угрюмо прервал меня и спросил: "Церковь? Что это такое?"

"Церковь, – отвечал я, – это своего рода государство, но особенно лживое. Однако замолчи, лицемерный пес! Тебе ли не знать сородичей своих!

Подобно тебе, государство есть пес лицемерия; подобно тебе, оно любит говорить среди дыма и грохота, чтобы заставить верить, как делаешь это и ты, будто говорит оно из недр вещей.

Ибо оно непременно хочет быть самым важным зверем на земле; и верят ему, что оно способно на это".

После моих слов Огненный Пес стал, как безумный, корчиться от зависти. "Как? – вскричал он, – как, самым важным зверем на земле? И в это верят?" И столько дыма и ужасных воплей вырвалось из глотки его, что я думал, он задохнется от гнева и зависти.

Наконец успокоился он, и слабее стало пыхтение его; но как только он умолк, я сказал ему со смехом:

"Ты злишься, Огненный Пес: значит, я не заблуждался насчет тебя!

А чтобы мне остаться при правоте моей, послушай о другом Огненном Псе: он и вправду вещает из самого сердца земли.

Золото и золотой дождь исторгает дыхание его: так желает сердце его. Что ему пепел, дым и горячая слизь!

Подобно разноцветным облакам, вылетает смех из уст его; противны ему твое клокотание, и плевки, и терзания чрева твоего!

А золото и смех – берет он из сердца земли: ибо, узнай же и ты, наконец: *сердце земли – из золота"*.

Когда Огненный Пес услышал это, он был не в силах больше слушать меня. Пристыженный, поджал он хвост, невнятно пролаял какое-то "Вау! Вау!" и уполз в берлогу свою".

Так рассказывал Заратустра. Однако ученики едва слушали его: так велико было их желание рассказать ему о корабельщиках, кроликах и летающем человеке.

"Что могу я сказать об этом? – ответил Заратустра. – Разве я призрак?

Вероятно, то была тень моя. Вы, наверное, уже слышали что-нибудь о страннике и его тени? [[**11**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-11)]

Несомненно одно: мне надо крепче держать ее, иначе погубит она доброе имя мое".

И снова покачал головой Заратустра и удивлялся. "Что это значит – повторил он.

Почему призрак кричал: "Пора! Давно пора!"?

*Почему же* – давно пора?"

Так говорил Заратустра.

ПРОРИЦАТЕЛЬ

" – и я видел, великое уныние наступило среди людей. Лучшие из них устали от дел своих.

Объявилось учение, и рядом с ним шла вера в него: "Все пусто, все равно, все уже было!".

И эхо вторило со всех холмов: "Все пусто, все равно, все уже было!".

Правда, собрали мы жатву: но почему же сгнили и почернели плоды наши? Что упало в последнюю ночь со злого месяца?

Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось вино наше, дурной глаз опалил наши поля и сердца.

Все мы иссохли; и если бы огонь объял нас, мы бы рассыпались, словно пепел: но и сам огонь утомили мы.

Все источники иссякли у нас, и даже море отступилось. Земля готова разверзнуться, но бездна не хочет поглотить нас!

"Ах, есть ли еще море, где бы можно было утонуть?" – так раздается жалоба наша среди однообразия болот.

Поистине, мы слишком утомились, чтобы умереть; и вот мы бодрствуем и продолжаем жить – в склепах!" -

Такие речи слышал Заратустра от одного прорицателя; [[**12**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-12)] и предсказания его запали ему в сердце, и изменился он. Печальный и усталый, бродил он всюду; и стал похож на тех, о ком говорил прорицатель.

"Истинно так, – говорил он ученикам своим, – еще немного, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как спасти мне от них свет мой?

Чтобы не угас он среди этой скорби! Еще дальним мирам должен светить он и самым далеким ночам!"

Так, опечаленный в сердце своем, всюду бродил Заратустра; в продолжение трех дней не принимал он ни пищи, ни питья, не знал отдыха и потерял дар речи. Наконец случилось так, что впал он в глубокий сон. Ученики же его, бодрствуя долгими ночами, сидели вокруг него и с беспокойством ожидали, не проснется ли он, не заговорит ли снова, исцеленный от скорби своей.

И вот речи, которые говорил Заратустра после того, как проснулся; и словно издалека доходил до учеников голос его:

"Выслушайте, друзья мои, тот сон, что приснился мне, и помогите мне разгадать его!

Сон этот все еще загадка для меня; сокрыт еще смысл его, и не витает над ним на вольных крыльях.

Снилось мне, что отрешился я от всякой жизни. Там, на уединенной горе, в замке Смерти, стал я ночным сторожем – стражем могил.

Там охранял я гробы: полны были мрачные своды трофеями побед ее. Побежденная жизнь смотрела на меня из стеклянных гробов.

Я вдыхал запах пыльных вечностей; задыхаясь в пыли, удрученно поникла душа моя. Ибо там – кто может освежить душу свою?

Свет полуночи неизменно окружал меня, и рядом, скорчившись, сидело одиночество, и еще третья, худшая из подруг моих – надрывная мертвая тишина.

Ключи носил я с собой, ржавые из ржавых; и самые скрипучие ворота умел открывать я ими.

Подобно зловещему карканью, проносился скрежет по длинным коридорам, когда поднимались затворы ворот: зловеще кричала птица эта, неохотно давала она будить себя.

Но еще больший ужас сжимал сердце мое, когда все снова умолкало, кругом водворялась тишина, и я оставался один среди этого зловещего молчания.

Так шло, так ползло время, если вообще двигалось оно – почем я знаю! Но наконец случилось нечто такое, что разбудило меня.

Трижды ударили в ворота, как громом, трижды взвыли своды в ответ: и тогда подошел я к воротам.

"Альпа! – вскричал я, – кто несет прах свой на гору? Альпа! Альпа! Кто несет прах свой на гору?"

И я нажимал на ключ и налегал на ворота, стараясь открыть их. Но ни на палец не подавались они.

Вдруг бушующий ветер распустил крылья свои: с пронзительным свистом взрезая воздух, бросил он мне черный гроб.

И среди визга, и воя, и грохота гроб раскололся, плевком исторгнув из себя хохот – тысячу образов хохота.

И тысячью ликов – детей, ангелов, сов, безумцев и бабочек величиной с человека, *это с* издевкой и ревом хохотало надо мной.

Страшно испугался я, и пал на землю, и кричал от ужаса так, как не кричал никогда.

Но мой собственный крик разбудил меня – и я очнулся".

Заратустра рассказал сон свой и умолк: ибо не знал он еще объяснения его. Тогда ученик, которого он любил больше всех, быстро поднялся, схватил Заратустру за руку и сказал:

"Сама твоя жизнь объясняет нам этот сон, Заратустра!

Не ты ли сам тот ветер, с пронзительным свистом распахивающий ворота в замке Смерти?

Не ты ли сам тот гроб, полный разнообразных и пестрых обликов зла, а также ангельских ликов жизни?

Поистине, подобно многообразному – на тысячу ладов – детскому смеху, входит Заратустра во все склепы, смеясь над ночными стражами могил, что гремят своими ржавыми ключами.

Устрашать и опрокидывать их будешь ты смехом своим; и беспамятство их, и пробуждение будут свидетельствовать о власти твоей над ними.

И даже когда наступят долгие сумерки и смертельная усталость, ты не закатишься на небе нашем, о заступник жизни!

Новые звезды показал ты нам и по-новому дал нам увидеть великолепие ночи; самый смех ты раскинул над нами, словно многоцветный шатер.

Отныне и навсегда даже гробы мертвецов станут источником детского смеха; всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий над смертельной усталостью: в этом ты порука нам и предсказатель!

Поистине, *самих врагов своих* видел ты во сне: это был самый тяжелый сон твой!

Но как избавился ты от этих наваждений и обрел себя, так должны пробудиться и они от самих себя – и придти к тебе!"

Так говорил ученик; и все остальные теснились теперь вокруг Заратустры, хватали его за руки и убеждали его оставить ложе и скорбь свою и вернуться к ним. Он же сидел, приподнявшись на ложе, и странен был взор его. Подобно человеку, вернувшемуся домой после долгого отсутствия, пытливо вглядывался он в лица учеников и все еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, тогда сразу преобразился взгляд его; он понял все, что случилось, и, поглаживая бороду, сказал бодрым голосом:

"Ну что ж! Теперь уже все позади; однако позаботьтесь, ученики мои, о том, чтобы у нас был сегодня хороший обед, да поскорее! Так хочу я искупить свои дурные сны!

А прорицатель пусть ест и пьет рядом со мной: и поистине, я покажу ему море, в котором он сможет утонуть!"

Так говорил Заратустра. И потом он долго всматривался в лицо ученика своего, истолковавшего сон, и при этом качал головой.

ОБ ИЗБАВЛЕНИИ

Однажды, когда Заратустра переходил через большой мост, окружили его калеки и нищие, [[**13**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-13)] и один горбун так сказал ему:

"Послушай, Заратустра! Уже и народ учится у тебя и начинает верить в учение твое: но чтобы он окончательно поверил тебе, нужно вот еще что – ты должен убедить нас, калек! Здесь перед тобой прекрасный выбор и, поистине, благоприятная возможность: не упусти же ее! Ты можешь исцелять слепых и возвращаешь хромым способность бегать, и ты мог бы облегчить хоть ненамного бремя того, у кого слишком тяжелая ноша: это было бы прекрасным средством заставить калек уверовать в Заратустру!"

Но Заратустра возразил ему: "Если отнять у горбатого горб, ты тем самым лишишь его духа его – так гласит народная мудрость. И когда возвратят зрение слепому, слишком много дурного увидят глаза его на земле – проклянет он исцелителя своего. Тот же, кто возвращает хромому способность бегать, причиняет ему величайший вред: ибо едва ли он сможет бегать так быстро, чтобы пороки не опережали его, – так говорит народ о калеках. И почему бы Заратустре не поучиться у народа, раз народ учится у Заратустры?

С тех пор, как живу я среди людей, для меня это еще наименьшее зло, если вижу я, что одному недостает глаза, другому – уха, третьему – ноги; а есть и такие, что утратили язык, или нос, или голову.

Я вижу и видел худшее, а порой – столь отвратительное, что кое о чем не хотел бы говорить, а о многом не могу даже умолчать, а именно: есть люди, у которых недостает всего, но имеют они непомерный избыток в одном, это – люди, которые представляют собой только один большой глаз, или один большой рот, или брюхо, или еще что-нибудь одно, но громадное, – калеками наизнанку называю я таких.

И когда покинул я уединение свое и в первый раз проходил по этому мосту, то не поверил глазам своим, – долго всматривался я и, наконец, сказал: "Ведь это ухо! Ухо величиной с человека!". Еще пристальнее вгляделся я, и действительно, под ухом шевелилось что-то до крайности жалкое, маленькое и хилое. Чудовищное ухо сидело на слабом тоненьком стебле, а стеблем этим был человек! Через увеличительное стекло можно было даже разглядеть крошечное, завистливое личико, а также пухлую душонку, трепетавшую на стебельке. Народ же поведал мне, что это большое ухо не только человек, но и великий муж, гений. Но я не верю народу, когда говорит он о великих людях, и потому остаюсь при убеждении, что это – калека наизнанку, у которого всего слишком мало и лишь одного – чересчур много".

Ответив так горбуну и тем, за кого он ходатайствовал и был им истолкователем, Заратустра с глубоким негодованием обратился к ученикам своим и сказал:

"Поистине, друзья мои, хожу я среди людей, словно среди обломков и разрозненных частей человека!

Всего ужаснее для взора моего – видеть человека растерзанным и расчлененным, словно на бойне или на поле брани.

И когда убегает взор мой от настоящего к минувшему – всюду находит он одно и то же: обломки, и разрозненные части, и роковые случайности – но ни одного человека!

Настоящее и минувшее на земле – о друзья мои! Это самое невыносимое *для меня*; и не будь я провидцем того, что грядет, не знал бы я, как мне жить.

Пророк и созидатель, исполняющий волю свою, – само будущее и мост к нему; а кроме того, что-то вроде калеки на этом мосту: все это – Заратустра.

И вы тоже часто спрашивали себя: "Кто для нас Заратустра? Как нам называть его?". И подобно мне, отвечали вы себе вопросами.

Обещающий ли он? Или исполняющий обещанное? Завоеватель? Или наследник? Осень? Или плуг? Целитель? Или исцеленный?

Поэт ли он? Или выступает за правду без прикрас? Освободитель? Или укротитель? Добрый? Или злой?

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего, которое вижу я.

И в этом все помыслы и желания мои – собрать воедино и соединить все обломки, загадки и роковые случайности.

И как перенес бы я то, что я – человек, если бы человек не был поэтом, избавителем от случая и разрешителем всех загадок?

Спасти тех, что были до нас, и всякое "Было" преобразовать в "Такова была воля моя!" – только это назвал бы я избавлением!

Воля – вот имя освободителя и вестника радости: так учил я вас, друзья мои! А теперь научитесь еще следующему: сама воля есть еще пленница.

"Хотеть" – освобождает: но как называется то, что и освободителя заковывает в цепи?

"Было" – так зовется у воли ее скрежет зубовный и ее затаенная скорбь. Бессильная против того, что уже свершилось, со злобой взирает она на все минувшее.

Не может воля хотеть вспять; не может она одолеть время и алчное упорство его – и в этом ее потаенная печаль.

"Хотеть" – освобождает: что же придумывает воля, чтобы избавиться от печали и посмеяться над тюремщиком своим?

Безумцем становится всякий пленник! И безумие то, как избавляет себя плененная воля.

Почему время не бежит вспять? – вот что вызывает ее тайную ярость; "Было" – так зовется камень, который не может сдвинуть она.

И вот катит она камни злобы и негодования и мстит тем, кто не испытывает, подобно ей, ненависти и досады.

Так воля, освободительница, стала причинять боль всему, что способно испытывать страдания; мстит она за то, что не в силах повернуть время вспять.

Сущность этого *мщения* только в одном: в отвращении воли ко времени и к его "Было".

Поистине, величайшее безумие живет в воле нашей, и проклятьем стало для всего человечества то, что безумие это восприняло дух.

*Дух мщения*: до сих пор это считалось самым значительным достижением человеческой мысли: и там, где было страдание, всегда непременно присутствовало и возмездие – наказание.

"Наказание" – именно так именует себя месть; пряча ложь свою за этим словом, она лицемерно уверяет себя в чистоте своей совести.

И поскольку человек, проявляя волю свою, неизменно страдает от того, что не может он повернуть ее вспять, то и саму эту волю, и жизнь вообще сочли наказанием!

И вот – туча за тучей громоздились над духом, пока наконец безумие не изрекло: "Все преходяще, а посему не стоит жалеть о нем!"

"И в этом сама справедливость и закон времени, – чтобы время пожирало детей своих", – так проповедовало безумие.

"В мире все вещи нравственно упорядочены на основе закона и наказания. О, в чем обрести избавление от изменчивости вещей и наказания, имя которому "Бытие"? – так проповедовало безумие.

"Возможно ли спастись, если существует некий вечный закон? Увы, не передвинуть громады свершенного в прошлом: возмездие тоже должно быть вечным!" – так проповедовало безумие.

"Ни одно из свершенных деяний нельзя уничтожить: невозможно посредством наказания сделать деяние недействительным. Ибо вот в чем вечность этого наказания, наказания Бытием: Бытие навечно обречено тому, чтобы снова и снова становиться деянием и виной!

Пока наконец воля не обретет избавления от себя самой и не станет волей к отсутствию воли", – но вы и сами знаете, братья мои, эту басню безумия!

Прочь уводил я вас от этих басен, когда учил: "Воля – это созидательница".

Всякое "Было" – есть обломок, загадка, роковая случайность, – до тех пор, пока созидающая воля не провозгласит: "Но так хотела я!".

Пока не скажет она: "Но так хочу я! Так захочу я!".

Разве она уже говорила так? Когда же это? Освободилась ли воля от безумия своего?

Стала ли она уже для себя самой избавительницей и вестницей радости? Предала ли забвению дух мщения и скрежет зубовный?

И кто научил ее примирению со временем и тому, что выше всякого примирения?

Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля к власти: но как это совершается? Кто научил ее еще и хотеть вспять?"

Но в этом месте речи своей Заратустра вдруг остановился; казалось, будто переживал он сильнейший испуг. Испуганным взглядом обвел он учеников своих; подобно стреле, пронизывал взгляд его их мысли и тайные помыслы. Но минуту спустя он уже рассмеялся и добродушно сказал:

"Трудно жить с людьми, ибо трудно хранить молчание. В особенности же – болтливому".

Так говорил Заратустра. А горбун прислушивался к словам его, спрятав лицо свое; а услышав, что Заратустра смеется, с любопытством взглянул на него и медленно произнес:

"Но почему Заратустра иначе говорит с нами, чем с учениками своими?"

Заратустра ответил: "Что же тут удивительного! С горбатыми и говорить приходится по-горбатому".

"Ладно, – ответил горбун, – а с учениками, стало быть, и болтать надо по-школьному.

Только вот почему иначе говорит Заратустра с учениками своими, нежели с самим собой?"

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ

Страшна не высота, страшен склон! Склон, где взор срывается вниз, а рука взлетает вверх, чтобы ухватиться за что-нибудь. Тогда трепещет сердце от раздвоения воли.

О друзья мои, угадываете ли вы и в моем сердце двойственность воли моей?

Вот он, склон мой – опасная склонность моя: когда взор мой устремляется ввысь, то рука ищет опоры в пустом пространстве, пытаясь держаться за бездну!

За людей цепляется воля моя, цепями связываю я себя с людьми, тогда как влечет меня вверх, к Сверхчеловеку: ибо к нему стремится другая воля моя.

*Вот почему* слепо живу я среди людей, так, будто я вовсе не знаю их: чтобы рука моя не утратила совсем веры в опору, в нечто твердое.

Я не знаю вас, люди: как часто эта тьма вокруг меня служила мне утешением!

Я сижу у проезжих ворот, на глазах у всех мошенников, и спрашиваю: кто хочет меня обмануть?

Моя первая человеческая мудрость в том, что я даю себя обманывать, чтобы не остерегаться обманщиков.

Ах, если бы опасался я человека, как мог бы он тогда быть якорем для воздушного шара моего? Слишком легко сорвался бы я, увлекаемый вверх и вдаль!

Так уж распорядилось провидение судьбой моей, чтобы без осторожности жил я.

И если тот, кто живет среди людей, не хочет умереть от жажды, он должен научиться пить из всех стаканов; и кто хочет остаться чистым, оставаясь среди людей, должен уметь мыться и грязной водой.

Так говорил я часто сердцу своему, утешая его: "Ничего! Не тужи, старина! Несчастье ускользнуло от тебя; наслаждайся же этим, как счастьем своим!".

Моя вторая человеческая мудрость в том, что я больше щажу *тщеславных*, чем гордых.

Не есть ли оскорбленное тщеславие мать всех трагедий? Но где оскорблена гордость, там вырастает нечто лучшее, чем сама она.

Чтобы на жизнь интересно было смотреть, нужно, чтобы игра ее была хорошо сыграна, а для этого требуются хорошие актеры.

Хорошими актерами находил я всех тщеславных: они играют и хотят, чтобы смотрели на них с удовольствием – весь дух их сосредоточен в этом желании.

Они представляют себя, они выдумывают себя: находясь рядом с ними, я люблю наблюдать жизнь – это исцеляет от уныния.

Потому и щажу я тщеславных, что они для меня – врачи тоски моей и привязывают меня к человеку, как к зрелищу.

И потом: кто измерил в тщеславном всю глубину скромности его! Я добр и сострадателен к нему, ибо скромен он.

Он хочет, чтобы вы научили его вере в себя; он питается взглядами вашими, он алчно поедает похвалу из ваших рук.

И лжи вашей верит он, когда вы лжете о нем нечто приятное: ибо в сокровенных глубинах тайно вздыхает сердце его: "Что я такое!".

И если истинная добродетель есть та, что не знает о себе самой, то вот она: тщеславный не знает о скромности своей!

А вот моя третья человеческая мудрость: я не допускаю, чтобы из-за вашей трусости мне стал противен вид злых.

Я счастлив при виде чудес, порождаемых знойным солнцем, – тигров, пальм и гремучих змей.

Есть и среди людей прекрасные порождения знойного солнца, и у злых есть много такого, что достойно восхищения.

И подобно тому, как мудрейших ваших нашел я не такими уж мудрыми, так же и зло ваше оказалось ничтожным по сравнению с молвой о нем.

И часто спрашивал я, качая головой: "К чему еще греметь, вы, гремучие змеи?

Поистине, и у зла тоже есть будущее! И самый знойный Юг еще не открылся человеку.

Сколь многое называется теперь наихудшим злом, хотя шириной всего-то в двенадцать футов и длиной в три месяца! [[**14**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g2-14)] Но некогда придут в мир великие драконы.

Чтобы Сверхчеловек не был лишен дракона своего – Сверхдракона, надо, чтобы горячее солнце еще долго пылало над девственным лесом!

Ваши дикие кошки должны еще сделаться тиграми, и крокодилами – черепахи: доброму охотнику – добрая охота!

И поистине, добрые и праведные! Есть в вас немало смешного, и особенно – страх перед тем, что до сих пор называли дьяволом!

Так чужда душа ваша великому, что Сверхчеловек был бы *страшен* вам в благости своей!

И вы, мудрые и знающие, убежали бы от палящего света той мудрости, в которой Сверхчеловек страстно омывает наготу свою!

А вы, высшие люди, которых видели глаза мои! Сомневаюсь я в вас и тайно смеюсь над вами: я догадываюсь, – дьяволом назвали бы вы Сверхчеловека!

Ах, устал я от всех этих "высших" и "лучших": еще выше надо мне подняться с их "высоты", прочь от них, ввысь, к Сверхчеловеку!

Ужас объял меня, когда увидел я этих "лучших" нагими; и тогда крылья выросли у меня, чтобы воспарить в дали грядущего.

В далекое будущее, на крайний Юг, дальше, чем мечты всех художников: туда, где боги стыдятся всякой одежды!

*Вас* же, соседи и ближние мои, хочу я видеть переодетыми, принаряженными, почтенными и тщеславными, как и подобает "добрым и праведным".

И сам я хочу восседать среди вас переодетым, чтобы *не узнавать* ни вас, ни себя: и в этом последняя человеческая мудрость моя.

Так говорил Заратустра.

ТИШИНА

"Что случилось со мной, друзья мои? Вы видите, я – расстроен, гоним, повинуюсь, вопреки воле своей, и готов уйти – о, уйти *от вас!*

Да, опять должен вернуться Заратустра в уединение свое: но на этот раз неохотно возвращается медведь в берлогу!

Что случилось со мной? Кто принуждает меня к этому? – О, этого требует моя гневная повелительница, это она говорила со мной; называл ли я уже вам имя ее?

Вчера вечером говорила со мной Тишина моя: вот имя ужасной госпожи моей.

Было это так – ибо я должен рассказать вам это, чтобы не ожесточилось сердце ваше против меня, уходящего так внезапно!

Знаком ли вам испуг засыпающего?

До самых кончиков пальцев овладевает им испуг, ибо земля уходит у него из-под ног, и начинается сон.

Такую притчу поведаю я вам. Вчера, в самый безмолвный час, в час великой Тишины, земля ускользнула у меня из-под ног, и начался сон.

Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание – никогда еще не слышал я такой тишины вокруг себя; сердце мое сжалось.

Тогда беззвучно заговорила со мной Тишина: *"Ты знаешь это, Заратустра?"*.

И в ужасе я вскрикнул от этого немого шепота, и кровь отхлынула от лица моего: но я молчал.

И тогда во второй раз сказала она мне безгласно: "Ты знаешь это, Заратустра, но не говоришь!".

И я, наконец, ответил, словно упрямец: "Да, я знаю, но не хочу говорить!".

И снова безгласно заговорила она со мной: "Ты *не хочешь*, Заратустра? Не правда ли? Не прячься в упрямстве своем!".

И я, плача и дрожа, как ребенок, говорил: "Ах, я хотел, правда, но я не могу! Избавь меня от этого! Это свыше моих сил!".

И опять сказала она: "При чем тут ты, Заратустра! Скажи слово свое и погибни!".

Я отвечал ей: "Ах, разве *мое* это слово? Кто я такой? Я жду более достойного: я не стою даже того, чтобы погибнуть ради него".

Тогда она вновь сказала безгласно: "При чем тут ты? Покорности еще мало в тебе. У покорности самая жесткая шкура".

И я отвечал: "Чего только не выносила уже шкура покорности моей! У подножия высоты своей живу я: как высоки вершины мои? Никто еще не сказал мне этого. Но мои долины мне хорошо известны".

И опять безмолвно заговорила тишина: "О Заратустра, тот, кто должен двигать горами, тот приведет в движение и долины, и низменности".

Я ответил: "Еще ни одной горы не сдвинуло слово мое, и то, что говорил я, не доходило до людей. Да, я отправился к людям, но пока еще не дошел до них".

И сказала мне молча Тишина: "Что можешь знать ты *об этом!* Роса выпадает на траву в самое безмолвное время ночи".

И я отвечал: "Они насмехались надо мной, когда нашел я путь свой и пошел по нему; поистине, дрожали тогда ноги мои.

А они злорадствовали: "Ты забыл дорогу, а теперь еще и разучился ходить!".

И снова безгласно сказала Тишина: "Что тебе до насмешек! Ты тот, кто разучился повиноваться: теперь ты должен повелевать!

Разве не знаешь ты, кто людям нужнее всего? Тот, кто приказывает великое.

Трудно осуществить великое: но еще труднее приказать его.

Вот что тебе непростительно: ты имеешь власть и не хочешь господствовать".

И я отвечал: "Мне недостает голоса льва, чтобы повелевать".

И тогда снова, подобно беззвучному шепоту, промолвила она:

"Слова, что приносят бурю, – самые тихие. Мысли, приходящие кротко, как голубь, правят миром.

О Заратустра, ты должен быть тенью того, что грядет: так будешь ты повелевать и, повелевая, пойдешь впереди".

И я отвечал: "Мне стыдно".

И снова безгласно проговорила она: "Ты еще должен стать ребенком и не стыдиться.

Гордость юности еще есть в тебе, поздно стал ты юношей: но кто хочет стать ребенком, должен преодолеть и юность свою".

И я долго колебался и дрожал и, наконец, сказал то же, что и в самом начале: "Я не хочу".

Тогда раздался вокруг меня смех. Горе мне! Как смех этот разрывал мне внутренности и терзал сердце!

И в последний раз прозвучал безмолвный голос: "О Заратустра, созрели плоды твои, но сам ты еще не созрел для них!

И потому тебе снова необходимо уединение: ибо должен ты еще дозреть".

И снова послышался смех, теперь уже удалявшийся от меня: потом стало тихо вокруг меня, наступила как бы двойная тишина. А я лежал на земле, и пот градом лился с меня.

Теперь вы все слышали: почему должен я вернуться в уединение свое. Ничего не утаил я от вас, друзья мои.

И все это вы услышали от меня, самого скрытного из людей, – таким хочу остаться я и впредь!

О, друзья мои! И еще нечто мог бы сказать я вам; и еще что-то мог бы я дать! Почему же не даю? Разве я скуп?"

Но когда Заратустра произнес слова эти, им овладела глубокая скорбь, ибо близка была разлука с друзьями, и он зарыдал; и никто не мог утешить его. Ночью же ушел он и покинул друзей своих.

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА   
Часть Третья

– Вы смотрите вверх, когда взыскуете высоты. А я смотрю вниз, ибо я возвысился.   
Кто из вас сможет смеяться и в то же время оставаться на высоте?   
Кто поднялся на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией – и на сцене, и в жизни.

*Заратустра. "О чтении и писании"*

СТРАННИК

Была полночь, когда Заратустра пустился в путь через горный хребет, чтобы рано утром достичь другого берега острова, где хотел он сесть на корабль. Ибо там была удобная гавань, в которой бросали якорь даже чужестранные корабли; они брали на борт тех, кто хотел плыть за море с блаженных островов. Карабкаясь по горам, Заратустра вспоминал о многочисленных одиноких странствованиях, совершенных им в юности, и о том, как много горных вершин и хребтов преодолел он.

"Я странник, неустанно восходящий на горы, – сказал он в сердце своем, – я не люблю равнин и, кажется, не могу долго оставаться на одном месте.

И что бы ни сулила мне судьба, что бы ни пережил я, – жизнь моя будет вечным странствием и восхождением в горы: в конце концов, человек живет только тем, что внутри него.

Прошло то время, когда случайности еще встречались на пути моем; что же может встретиться мне теперь, что не было бы частью моей и достоянием моим!

Ко мне и в меня возвращается, наконец, Самость моя – те части ее, что так долго были на чужбине, рассеянные среди многих вещей и случайностей.

И еще одно знаю я точно: теперь стою я перед последней вершиной моей и перед тем, что давно уже было предназначено мне. О, на самый трудный путь предстоит мне вступить! О, начал я самое одинокое свое странствие!

Но тому, кто сродни мне, не избежать этого часа – часа, что говорит так: "Только теперь вступаешь ты на путь величия! Вершина и пропасть ныне слились в одно!

Ты следуешь своему пути величия: то, что до сих пор было для тебя последней опасностью, стало теперь последним убежищем твоим!

Ты следуешь своему пути величия: пусть знание того, что нет больше пути назад, станет лучшим мужеством твоим!

Ты следуешь своему пути величия: здесь никто не смеет красться по следам твоим! Сами стопы твои стирают путь твой, и написано над ним: Невозможность.

И если нет у тебя больше ни одной лестницы, научись взбираться на собственную голову: как иначе подняться тебе наверх?

На голову, а выше – по собственному сердцу! Отныне и самое нежное в тебе должно сделаться самым твердым.

Кто чересчур щадит себя, тот начинает заболевать от этого! Хвала всему, что закаляет! Я не воздаю хвалу той земле, где течет молоко и мед! [[**1**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-1)]

Чтобы *видеть* многое, надо уметь *отвращать взор свой* от себя: эта твердость необходима любому, восходящему в горы.

Тот же, кто ищет познания назойливым оком, ничего не видит в окружающем, кроме поверхности его!

Но ты, Заратустра, хочешь видеть основу всех вещей и подоснову их: и потому должен ты подняться превыше себя, – дальше и выше, пока сами звезды твои не окажутся *под* тобой!

Да! Смотреть вниз на себя самого и на звезды свои: только это зову я *вершиной*, только это еще и остается моей *последней* вершиной!".

Так говорил себе Заратустра, поднимаясь в горы и утешая сердце свое такими речами: ибо сокрушалось оно, как никогда прежде. И когда он взошел на вершину хребта, новое море открылось ему: он остановился и долго хранил молчание. Здесь, на высоте, ночь была холодной и ясной, а небо усеяно звездами.

"Я знаю жребий свой, – сказал он, наконец, с грустью. – Ну что ж! Я готов. Вот начало последнего уединения моего.

О этот черный траур моря подо мной! О это черное ночное недовольство! О судьба и море! К вам должен я ныне *спуститься!*

Я стою перед самой высокой горой моей и самое долгое странствие предстоит мне: потому и надо мне спуститься глубже, чем когда-либо:

– глубже, чем когда-либо, должен я погрузиться в страдание, в самый темный поток его! Так хочет судьба моя: ну что ж! Я готов.

Откуда произошли высочайшие горы? – когда-то спрашивал я. – И вот – постиг я, что они происходят из моря.

Свидетельство тому записано на утесах и скалах. Из самых глубин должно все высочайшее взойти на высоту свою."

Так говорил Заратустра, стоя на вершине горы, где царил холод; но когда подошел он к морю и встал одиноко среди утесов, тогда овладели им усталость и еще большая тоска, чем прежде.

"Все еще спит, – сказал он, – спит и море. Отчужденно и сонно взирает на меня око его.

Но я чувствую теплое дыхание его и знаю: оно грезит, беспокойно ворочаясь на жестком ложе из рифов.

Внемли! Как стонет оно от мучительных воспоминаний! Или же от зловещих предчувствий?

О, я разделяю печаль твою, темное чудовище,и, переживая за тебя, гневаюсь на себя.

О, почему не хватает силы руке моей! Поистине, избавил бы я тебя от тяжелых грез твоих!"

И проговорив это, Заратустра печально и горько рассмеялся над самим собой. "Как! Заратустра! – сказал он. – Ты и морю собираешься петь песнь утешения?

О ты, любвеобильный глупец, опьяненный блаженством доверия! Но ты всегда был таким: с неизменной доверчивостью подходил ты ко всему ужасному.

Всех чудовищ хотелось тебе приласкать. Теплое дыхание, немного мягкой шерсти на лапах – и ты уже готов с любовью поманить его к себе.

*Любовь* – вот опасность одинокого, любовь ко всему, *если только оно – живое!* Поистине, достойны смеха моя глупость и скромность в любви!"

Так говорил Заратустра и вновь рассмеялся; но тут вспомнил он о своих покинутых друзьях и, как если бы в мыслях своих провинился он перед ними, разгневался на себя за мысли свои. И сразу же разрыдался смеявшийся: от гнева и тоски горько рыдал Заратустра.

О ВИДÉНИИ И ЗАГАДКЕ

1.

Когда среди матросов распространился слух, что на корабле находится Заратустра, – ибо одновременно с ним прибыл на корабль еще кто-то с блаженных островов, – всеми овладели великое любопытство и ожидание. Но Заратустра молчал первые два дня, был холоден и глух от печали и не отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. К вечеру же второго дня пробудился слух его, хотя он все еще молчал по-прежнему; а на этом корабле, который прибыл издалека и собирался плыть еще дальше, можно было услышать о многих чудесах и опасностях. Заратустра же был другом всем, кто совершает далекие путешествия и не может жить без риска. И вот, пока прислушивался он к разговорам, разрешились узы языка его и сломался лед, что лежал на сердце, и он стал говорить так:

"Вам, дерзким искателям, искушающим ужасы моря под обманчивыми парусами,

– вам, чьи души, влекомые звуками флейт, стремятся изведать все коварные бездны,

– ибо вы не хотите трусливой рукой нащупывать нить; и там, где можете вы *угадать*, вы ненавидите *делать выводы*,

>– вам одним расскажу я загадку, которую *видел* я, – видение одинокого.

Мрачный и угрюмый, проходил я недавно в мертвенно-бледных сумерках. Уже не одно солнце закатилось для меня.

Тропинка, упрямо взбиравшаяся меж камней, недовольная, одинокая, – ни травы, ни кустарника вблизи ее, – горная тропинка хрустела под упорством ноги моей.

Безмолвно ступая среди насмешливого шуршания мелких камней, стирая в прах каждый, о который спотыкалась нога моя, я с усилием взбирался вверх.

Вверх – вопреки духу, увлекавшему меня вниз, в бездну, вопреки Духу Тяжести – демону и заклятому врагу моему.

Вверх – хотя на мне сидел он, полукрот, полукарлик; хромой, он и меня пытался сделать хромым; он вливал мне свинец через уши в мозг мой – и мысли делались, словно капли свинца.

"О Заратустра, – насмешливо нашептывал он. – О камень мудрости! Высоко ты подбросил себя, но каждый брошенный камень должен упасть!

О Заратустра, камень мудрости, выпущенный из пращи, ты – сокрушитель звезд! Как высоко ты бросил себя, но каждый брошенный камень должен упасть!

Приговоренный к самому себе и к самопобиению камнями: о Заратустра, высоко подбросил ты камень, но упадет он *на тебя!"*

И тут карлик надолго умолк; но молчание его давило на меня, и поистине, вдвоем бываешь иногда более одинок, чем наедине с собой!

Я все взбирался вверх, я грезил и думал; но все подавляло меня. Я походил на больного, утомленного тяжелыми муками, которого – чуть заснет он – будит еще более тяжкий кошмар.

Но есть во мне нечто, что называю я мужеством: оно всегда убивало во мне уныние. Это мужество заставило меня остановиться и сказать: "Карлик! Или ты! Или я!".

Мужество – наилучший убийца, мужество, которое *нападает*: ибо в каждом нападении звучит торжествующая музыка.

Человек же – самый мужественный зверь: благодаря этому он и победил всех прочих. Торжествующей бравадой преодолел он всякую скорбь; а человеческая скорбь – самая глубокая.

Мужество смертельно и для головокружения над бездной: человек же – всегда на краю бездны! Разве "видеть" не означает "видеть бездны"?

Мужество – наилучший убийца: оно убивает и сострадание. Сострадание же – глубочайшая бездна: ибо сколь глубоко проникает взгляд человека в жизнь, столь же глубоко проникает он и в сострадание.

Мужество – наилучший убийца, мужество, которое *нападает*: и :аму смерть убивает оно, ибо спрашивает: "Так это была жизнь? Ну что ж! Еще раз!".

Много торжествующих аккордов в этих словах. Имеющий уши да слышит!" [[**2**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-2)]

2.

"Стой, карлик! – сказал я. – Или я! Или ты! Но из нас двоих я сильнее: ты не знаешь еще бездонных мыслей моих! Их бремя тебе не по силам!"

И тут почувствовал я облегчение: назойливый карлик спрыгнул с плеч моих! Он вскочил на ближайший камень; мы остановились как раз у ворот, через которые проходила дорога.

"Взгляни на эти ворота, карлик! – продолжал я. – У них два лика. Два пути сходятся здесь: никто еще не проходил по ним до конца.

Эта длинная дорога назад – она длится вечность. А эта длинная дорога вперед – другая вечность.

Они противоречат друг другу, эти пути; в негодовании сталкиваются они, и здесь, у этих ворот, то место, где они сходятся. Название же этих ворот начертано вверху, над ними: "Мгновение".

Но если кто-нибудь пойдет по одному из путей дальше – все дальше и дальше, – думаешь ли ты, карлик, что они вечно будут противоречить друг другу?"

"Все прямое лжет, – презрительно ответил карлик. – Вся истина представляет собой кривую, самоё время есть круг".

"Ты, Дух Тяжести! – сказал я в гневе, – не слишком ли легко решаешь ты этот вопрос? Смотри, а то я оставлю тебя, хромоногого, сидеть, где сидишь, а ведь я нес тебя *вверх!*

Взгляни, – продолжал я, – взгляни на это Мгновение! От врат Мгновения уходит долгий, вечный путь *назад*: позади нас – вечность.

Не должно ли быть так: все, что *может* произойти, уже проходило некогда этим путем? Не должно ли быть так: все, что *может* случиться, уже случилось некогда, свершилось и миновало?

И если все уже было: что думаешь ты об этом Мгновении, карлик? Не должно ли быть так: эти ворота – тоже уже были?

И не связаны ли все вещи между собой так прочно, что Мгновение это влечет за собой все последующее? А значит, еще раз – само себя?

Ибо все, что может произойти и на этом долгом пути *вперед – должно* произойти еще раз!

И этот медлительный паук, ползущий в лунном свете, и сам этот лунный свет, и мы с тобой, шепчущиеся у этих ворот о вечных материях, – разве все это не было уже когда-то?

И не должны ли мы возвращаться и проходить по тому пути, что лежит перед нами, дальше, вперед по этому длинному страшному пути: не должны ли мы все вечно возвращаться?"

Так говорил я – все тише и тише: ибо испугался я собственной мысли и дальнего, тайного помысла. И вдруг услышал я рядом собачий *вой*.

Не слышал ли я когда-либо такой же вой? Мысль моя вернулась назад, в прошлое. Да! Когда был я ребенком, в самом раннем детстве моем,

– тогда слышал я, как воет собака. И видел ее, дрожащую и ощетинившуюся, с поднятой кверху мордой, в тот тихий час полуночи, когда и собаки верят в привидения;

– и мне стало жаль ее. Над домом только что поднялся мертвенно-безмолвный месяц и остановился кроваво-красным шаром над плоской крышей, словно вор над чужим имуществом;

– тогда на собаку напал страх: ибо собаки чуют воров и привидения. И когда я опять услышал этот вой, я снова почувствовал жалость.

Куда исчез карлик? И ворота на пути? И паук? И наши перешептывания? Грезил ли я? Проснулся ли? Я очутился вдруг один, среди мрачных утесов, в безграничной пустыне лунного света.

*Но там лежал человек!* Да! И собака, ощетинившись, прыгала и визжала; и вот она увидела, что я подхожу, и снова завыла и *закричала* – никогда раньше я не слышал, чтобы собака криком звала на помощь.

И поистине, никогда не видел я ничего подобного тому, что увидел. Я увидел молодого пастуха, извивавшегося в судорогах, задыхавшегося, с перекошенным лицом: изо рта его свисала тяжелая черная змея.

Невозможно представить себе столько отвращения и смертельного ужаса на человеческом лице! Должно быть, он спал, а змея заползла ему в горло и впилась в него.

Моя рука рванула змею, еще и еще: тщетно! Тогда из уст моих вырвался крик: "Кусай! Кусай!

Откуси ей голову! Кусай!" – так кричал из меня мой ужас, мое отвращение, моя ненависть и жалость моя – все дурное мое и все хорошее слились в крике этом.

Вы, дерзкие, что стоите вокруг меня! Вы, искатели, искушающие неизведанные моря под обманчивыми парусами! Вы, взыскующие загадочного и радующиеся ему!

Так разгадайте же загадку, которую видел я, объясните мне смысл видения, явившегося одинокому!

Ибо то было видение и предвидение: *что* видел я тогда в этом символе? И *кто* тот, который некогда должен придти?

Кто тот пастух, которому заползла в горло змея? Кто тот человек, которому все самое тяжелое, самое черное заползает в горло?

И пастух внял моему крику и впился в змею зубами. Прочь, подальше от себя выплюнул он голову змеи – и вскочил.

И вот – ни пастуха, ни человека: некто преображенный, осиянный светом стоял передо мной и *смеялся!* Никогда и никто еще на земле не смеялся так, как смеялся он!

О братья мои, я слышал смех – нечеловеческий смех, – и с тех пор терзает меня ненасытная жажда, гложет тоска, никогда не утихающая.

Жажда этого смеха снедает меня: о, как буду я жить дальше! И как мог бы я теперь умереть!"

Так говорил Заратустра.

О БЛАЖЕНСТВЕ ПРОТИВ ВОЛИ

С горечью в сердце и с такими загадками плыл Заратустра по морю. Когда же был он на расстоянии четырех дней пути от блаженных островов и от друзей своих, превозмог он печаль свою – победоносно, твердыми стопами утвердился он в судьбе своей. И с такими словами обратился к своей ликующей совести:

"Снова один я, и хочу быть один – один на один с ясным небом и свободным морем; и снова настал полдень вокруг меня.

Некогда в послеполуденный час обрел я впервые друзей своих, тогда же обрел я их во второй раз – в час, когда успокаивается всякий свет.

Ибо те частички счастья, которые еще на полпути между небом и землей, ищут себе пристанища в чьей-нибудь светлой душе: теперь же всякий свет стал спокойнее от *счастья*.

О послеполуденное время жизни моей! Когда-то и мое счастье снизошло в долину искать себе пристанища – и нашло эти открытые, гостеприимные души.

О послеполуденное время жизни моей! Все отдал я, чтобы иметь одно: эти живые посевы мысли моей и утреннюю зарю высшей надежды!

Некогда искал созидающий спутников и детей надежды своей: и вот – обнаружил он, что не обрести их иначе, как сперва создав их.

Так вершу я дело мое, когда иду к детям своим и возвращаюсь от них: ради детей своих должен Заратустра совершенствоваться.

Ибо от всего сердца любят только свое дитя и свое дело; и если велика любовь к самому себе, то это признак беременности: так замечал я.

Еще цветут дети мои первой весной своей; один подле другого стоят они, покачиваясь на ветру, деревья сада моего, лучшее из достояний моих.

И поистине! Там, где произрастают рядом такие деревья, *там* блаженные острова!

Но некогда вырою я их и рассажу в разных местах: чтобы научились они одиночеству, упорству и осторожности.

Узловатым и искривленным, но гибким и твердым пусть стоят они у моря, как живой маяк непобедимой жизни.

Там, где бури низвергаются в море и горы утоляют жажду свою, денно и нощно будут они стоять на страже, чтобы испытать и познать *себя*.

Испытанным и проверенным должно быть каждое из них, чтобы знать мне, моего ли они рода, закалена ли воля их, молчат ли они, даже когда говорят, и делают ли вид, что *берут*, отдавая:

– чтобы сделаться некогда спутниками моими, созидающими и празднующими вместе со мной; теми, кто напишет волю мою на моих скрижалях – "Все сущее да становится совершенным".

И ради них и подобных им должен я сам достигнуть совершенства: потому уклоняюсь я теперь от счастья моего и предаю себя всем несчастьям – чтобы испытать и познать себя в последний раз.

И поистине, пора мне было уходить; и тень странника, и продолжительный покой, и тишина – все говорило мне: "Давно пора!".

Ветер свистел мне в замочную скважину и говорил: "Ступай!". Дверь лукаво распахивалась и приглашала: "Иди!".

Но я лежал, прикованный любовью к детям своим: желания любви наложили на меня эти путы, из любви хотел я стать достоянием детей своих и потерять себя ради них.

"Возжелать" – для меня означает "потерять себя". *У меня есть вы, дети мои!* В этом обладании все должно быть уверенностью, так, чтобы не было места желанию.

Но солнце любви моей горячо опалило меня, в собственном соку варился Заратустра; и тогда пронеслись надо мной тень и сомнение.

Я уже жаждал зимы и мороза: "О, если бы мороз и зима заставили меня щелкать зубами и дрожать от стужи!" – вздыхал я. И вот – поднялись от меня ледяные туманы.

Мое прошлое разрушило могилы свои, проснулись заживо погребенные печали – они лишь дремали, сокрытые в саванах.

И все взывало ко мне в знаках и знамениях: "Пора!". Но я не слышал, пока, наконец, не содрогнулась бездна моя и мысль не ужалила меня.

О пришедшая из бездны моей мысль моя! Когда же достанет мне сил слышать, как ты восстаешь из могилы своей, и не дрожать при этом?

До самой гортани доходят удары сердца моего, когда чувствую, как ты восстаешь во мне! От самого молчания твоего у меня перехватывает дыхание, когда молчишь ты, бездонная!

Никогда не дерзал я вызвать тебя на свет: довольно уже того, что носил я тебя в себе! Еще недоставало мне силы для последнего мужества льва, для сверхдерзновения воли его.

Немало ужасного было для меня в тяжести твоей: но некогда я обрету еще силу и львиный рык, что вызовет тебя наружу!

И только лишь преодолев в себе это, преодолею я и большее: и *победа* будет печатью совершенства моего!

Пока же странствую я по неведомым морям; льстит мне вкрадчивый случай. Вперед и назад смотрю я – и не вижу конца.

Не наступил еще час последней борьбы моей; быть может, он уже недалек от меня? Жизнь и море вокруг прельщают меня коварной – поистине коварной – красотой своей!

О послеполуденное время жизни моей! О предвечернее счастье! О пристань в бурном море! О мир и покой среди неизвестного! Как мало доверяю я вам всем!

Поистине, не доверяю я вашей коварной красоте! Я похож на влюбленного, который недоверчив к чересчур нежной улыбке.

Как он, ревнивый, отталкивает от себя возлюбленную, нежный и в самой суровости своей, – так и я отталкиваю от себя этот блаженный час.

Прочь от меня, блаженный час! Против воли моей пришло с тобой блаженство! [[**3**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-3)] Готовый к глубочайшей скорби своей, стою я здесь: пришел ты не вовремя!

Прочь от меня, блаженный час! Лучше найди себе убежище там, у детей моих! Спеши! И еще до наступления вечера передай им благословение счастья моего!

Уже близок вечер: солнце садится. Удалилось счастье мое!"

Так говорил Заратустра. Всю ночь ждал он, когда несчастье посетит его: но ждал напрасно. Ночь была ясной и тихой, и само счастье все ближе и ближе подходило к нему. А на рассвете рассмеялся Заратустра в сердце своем и сказал насмешливо: "Счастье бегает за мной. Это потому, что я не бегаю за женщинами. А счастье – женщина".

ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

О небо надо мной, чистое, глубокое! Бездна света! Созерцая тебя, я трепещу от божественных желаний.

Броситься в высоту твою – в этом *моя* глубина! Укрыться в чистоте твоей – в *этом моя* невинность!

Бога скрывает красота его: так и ты скрываешь звезды свои. Ты безмолвствуешь: так возвещаешь ты мне мудрость свою.

Молчаливо раскинулось ты сегодня над бушующим морем; любовь твоя и стыдливость – откровение бушующей душе моей.

Ты пришло ко мне, прекрасное, скрытое в красоте своей, безмолвием говоришь ты мне, открывая мудрость свою.

О, как не угадать мне всей стыдливости души твоей! Перед восходом солнца пришло ты ко мне, одинокому.

Мы друзья с тобой издавна: и печаль, и ужас, и основа наша – все общее у нас, даже солнце. Мы не говорим друг с другом, ибо ведаем слишком многое: молча, улыбками передаем мы друг другу наше знание.

Не свет ли ты от пламени моего? Душа твоя – не сестра ли разуму моему?

Вместе учились мы всему; вместе учились подниматься над собой к самим себе и безоблачно улыбаться:

– улыбаться из беспредельной дали, светлыми очами, когда под нами, словно дождь, клубятся Насилие, Цель и Вина.

И когда блуждал я в одиночестве: чего алкала душа моя по ночам на тропинках заблуждения? И когда поднимался я в горы, кого, как не тебя, искал я там?

И все мои странствия и восхождения – они были лишь необходимостью и помощью неумелому: только лететь хочет воля моя, лететь в тебя, в твои просторы!

И что ненавидел я больше, чем медленно ползущие облака и все омрачающее тебя? И собственную ненависть свою ненавидел, потому что она омрачала тебя!

Ненавижу я медленно ползущие облака, этих крадущихся хищных кошек: они забирают у тебя и у меня то, что у нас общее – ничем не ограниченное, беспредельное утверждение и благословение.

Медленно ползущие облака – мы ненавидим этих посредников и вмешивающихся, этих половинчатых, которые не научились ни благословлять, ни проклинать от всего сердца.

Лучше уж не видеть неба и сидеть в бочке, лучше лишиться неба, изнывая в пропасти, чем тебя, свет небесный, видеть омраченным ползущими облаками!

И часто хотелось мне скрепить их зубчатой проволокой золотых молний, чтобы, подобно грому, ударять, как в литавры, по вздутому животу их:

я – разгневанный барабанщик, ведь они отнимают у меня мое утверждение и благословение, о небо, чистое небо надо мной! О бездна света! – ибо они похищают у меня утверждение и благословение.

Ибо я предпочитаю шум, и грохот, и проклятия непогоды этому осторожному, сомнительному, кошачьему спокойствию; и среди людей больше всего ненавижу я таких вот тихо крадущихся, половинчатых, неопределенных и медлительных, как эти ползущие облака.

"Кто не умеет благословлять, должен *учиться* проклинать!" – это светлое наставление упало мне с ясного неба, эта звезда сияет мне даже в темные ночи на небосклоне моем.

Но сам я – благословляющий и утверждающий, только бы ты было надо мной, чистое, светлое небо, бездна света! Тогда во все бездны понесу я святое утверждение мое.

Я стал благословляющим и утверждающим: для того я сделался борцом и так долго боролся, чтобы освободить когда-нибудь руки для благословения.

И вот благословение мое – быть над каждой вещью ее собственным небом, ее круглой крышей, ее лазурным колоколом и ее вечным покоем; блажен, кто так благословляет!

Ибо все вещи крещены в источнике вечности и по ту сторону добра и зла; а добро и зло суть только бегущие тени, влажная печаль, ползущие облака.

Поистине, это благословение, а не хула, когда учу я: "Над всеми вещами высится небо-случайность, небо-невинность, небо-непредсказуемость, небо-веселье".

"Случайность" [[**4**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-4)] – это самая древняя аристократия мира, я возвратил ее всем вещам, я освободил их от подчинения цели.

Эту свободу и безоблачность неба поставил я подобно лазурному колоколу над всеми вещами, когда учил, что ни над ними, ни через них не проявляет себя никакая "вечная воля".

Это дерзкое веселье и безумие поставил я на месте той воли, когда учил: "Одно невозможно во всех вещах – разумность!".

Хотя *немного* разума – семена мудрости – рассеяны от звезды до звезды, эта закваска примешана ко всем вещам: ради безумия примешана к вещам мудрость!

Немного мудрости – это уже возможно; но вот какую блаженную уверенность находил я во всех вещах: они предпочитают *танцевать* на ногах случая!

О чистое и высокое небо надо мной! В том для меня отныне чистота твоя, что нет более вечного паука-разума и паутины его:

что ты – место для танцев божественных случайностей, что ты – стол богов, на который божественные игроки бросают игральные кости.

Но ты краснеешь? Разве сказал я то, чего не следовало? Или, желая благословить, произнес хулу?

Или стыд – быть вдвоем – заставил тебя покраснеть? Ты велишь мне замолчать и удалиться, ибо вот – приближается *день?*

Мир – глубок, и он глубже, чем когда-либо думалось дню. Не все дерзает говорить перед лицом дня. Но день приближается, и мы должны расстаться!

О небо надо мной, стыдливое, пылающее! О счастье мое перед восходом солнца! День приближается, пора нам расстаться!

Так говорил Заратустра.

ОБ УМАЛЯЮЩЕЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

1.

Когда Заратустра снова оказался на суше, он не сразу пошел к себе на гору и в пещеру свою, но исходил множество дорог, всюду расспрашивая и осведомляясь о том и о другом, так что в шутку говорил о себе самом: "Вот река, которая многочисленными изгибами возвращается к истоку своему!". Ибо хотел он знать, что случилось с человеком за время его отсутствия: стал он больше либо меньше прежнего. И однажды увидел он ряд новых домов; с удивлением смотрел он на них и говорил:

"Что означает вид этих домов? Поистине, не была великой та душа, что воздвигла их в подобие себе!

Не глупый ли ребенок вынул их из ящика с игрушками? Пусть бы другой карапуз снова упрятал их в этот ящик!

Эти комнатки и каморки: неужели это *люди*, что снуют в них туда и обратно? Эти помещения словно предназначены для шелковичных куколок или для лакомок-кошек, которые не прочь дать полакомиться и собою".

И Заратустра остановился и задумался. Наконец он печально произнес: *"Все измельчало!*

Всюду я вижу ворота, ставшие ниже, чем прежде; подобный мне, пожалуй, еще пройдет в них, но должен будет нагнуться!

О, когда же вернусь я на родину, где не надо мне нагибаться, нагибаться перед маленькими!" – И Заратустра вздохнул и посмотрел вдаль.

А в тот же день он сказал речь свою об умаляющей добродетели.

2.

"Я хожу среди народа и держу глаза свои открытыми: люди не прощают мне того, что я не завидую добродетелям их.

Они огрызаются, ибо я говорю: маленьким людям нужны маленькие добродетели: так как мне трудно признать, что *нужны* сами эти маленькие люди!

Я похож на петуха в чужом птичнике, которого клюют даже куры; но не сержусь я на этих кур.

Я вежлив с ними, как со всякой ничтожной неприятностью; колоть все маленькое кажется мне мудростью, достойной разве что ежа.

Все они говорят обо мне, сидя вечерами у очага; все говорят обо мне, но никто обо мне не думает!

Вот новая тишина, которой я научился: тот шум, что производят они вокруг меня, раскидывает покрывало над мыслями моими.

Они бьют тревогу: "Чего хочет от нас эта темная туча? Как бы не принесла она заразы!".

А недавно какая-то женщина поспешно схватила ребенка своего, когда тот потянулся ко мне: "Уберите отсюда детей! – закричала она. – Такие глаза опаляют детские души!".

Когда я говорю, они начинают кашлять: они думают, что *так* можно противиться бурному ветру: они не догадываются о буре счастья моего!

"У нас нет еще времени для Заратустры", – так возражают они; но что мне за дело до времени, у которого "нет времени" для Заратустры?

И даже когда они восхваляют меня: разве можно опочить на их славословии? Для меня хвала их – это пояс из шипов: кожа зудит даже тогда, когда снимаешь его.

И вот чему еще научился я среди них: тот, кто хвалит, делает вид. что воздает должное, но на самом же деле сам он хочет получить еще больше!

Спросите у ноги моей, нравится ли ей их манера расхваливать и привлекать к себе? Поистине, в этом ритме "тик-так" не может она ни танцевать, ни оставаться в покое.

Они пытаются хвалить мне маленькую добродетель и привлечь меня к ней; они и ногу мою хотели бы уговорить на ритмичное "тик-так" своего маленького счастья.

Я хожу среди них и держу свои глаза открытыми: люди *измельчали* и мельчают все больше. *И причина этому – их учение о счастье и добродетели*.

Они умеренны и в добродетели, ибо хотят они комфорта. А с комфортом совместима лишь умеренная добродетель.

Правда, и они учатся шагать по-своему, и даже шагать вперед: это я называю ходить *прихрамывая*. И так мешают они тем, кто спешит.

И многие из них, идя вперед, смотрят при этом назад, вытянув шею: я охотно толкаю их.

Ноги и глаза не должны ни лгать, ни обличать во лжи друг друга. Но много лжи у маленьких людей.

Некоторые из них имеют свою волю, но большинство лишь служит воле других. Встречаются и среди них искренние, но большинство – всего лишь плохие актеры.

Есть между ними актеры бессознательные, есть и актеры вопреки воле своей: искренние всегда редки, особенно – искренние актеры.

Мужские качества здесь – редкость: вот почему женщины их становятся мужчинами. Ибо только тот, в ком достаточно мужского, *освободит* в женщине *женщину*.

И вот худшее лицемерие, которое встречал я у них: даже те, кто повелевает, подделываются под добродетели повинующихся.

"Я служу, ты служишь, мы служим", – так молится здесь лицемерие господствующих, – и увы! если первый господин – только первый слуга!

Даже в их лицемерие проникло любопытство взора моего: и разгадал я их счастье – счастье мух – и их жужжание на освещенных солнцем оконных стеклах.

Сколько доброты, столько и слабости вижу я. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости.

Округлы, честны и снисходительны они друг к другу, как песчинки – округлы, честны и снисходительны к песчинкам.

Скромно обнимать маленькое счастье – это называют они "смирением" ! И при этом скромно косятся на другое маленькое счастье.

В сущности, они хотят ничтожно мало, а больше всего одного – чтобы никто не обижал их. Поэтому они столь предупредительны и делают каждому добро.

Но это – *трусость*: хотя бы и называлась она добродетелью.

И если когда-нибудь они, эти маленькие люди, говорят грубым голосом, я слышу в их голосе лишь хрипоту, ибо любой сквозняк делает их хриплыми.

Они сообразительны, и у добродетелей их хитрые пальцы. Но им недостает кулаков – пальцы их не умеют сжиматься в кулак.

За добродетель почитают они то, что делает скромным и ручным: так превратили они волка в собаку, а людей – в лучшее домашнее животное человека.

"Посередине поставили мы стул свой, – так говорит мне ухмылка их, – одинаково далеко как от умирающих гладиаторов, так и от довольных свиней".

Но это – *посредственность*: хотя и называют ее умеренностью.

3.

Хожу я среди людей и роняю слова свои: они же не умеют ни подобрать, ни сохранить их.

Они удивляются, что пришел я не для того, чтобы обличать их разврат и пороки; и поистине, не для того пришел я, чтобы предостерегать от карманных воров!

Они удивляются, что не склонен я изощрять и оттачивать мудрость их: как будто мало у них тонких мудрецов, чьи голоса отзываются во мне, как скрип грифеля по аспидной доске.

И когда призываю я: "Проклинайте всех трусливых демонов в вас, которые так любят скулить, благочестиво складывать ладони и возносить молитвы", – они восклицают: "Заратустра – безбожник".

И особенно громко вопят их проповедники смирения – но как раз в эти уши мне нравится кричать: "Да! Я – Заратустра, безбожник!".

Эти учителя смирения! Всюду, где есть ничтожество, болезнь, струпы, ползают они, словно вши: и только отвращение мешает мне давить их.

Ну что ж! Вот моя проповедь для их ушей: "Я – Заратустра, безбожник, который вопрошает: "Кто безбожнее меня, чтобы возрадовался я наставлению его?"

Я – Заратустра, безбожник: где найти мне подобных себе? А мне подобны те, кто повинуется *своей* воле и отметает всякое смирение.

Я – Заратустра, безбожник: все Случайное варю я в котле своем. И только когда оно сварится, я приветствую его, как свою пищу.

И поистине, нередко случай повелительно приближался ко мне: но еще более повелительно обращалась к нему *воля* моя – и тотчас он падал на колени,

– умоляя, чтобы оказал я ему сердечный прием и дал прибежище, и льстиво уговаривал: "Посмотри, Заратустра, так только друг приближается к другу!"

Но к чему говорю я там, где никто не внемлет *моим* слухом! Тогда стану я взывать ко всем ветрам.

Вы все мельчаете, маленькие люди! Вы все мельчаете и крошитесь, вы, любители комфорта! Вы еще погибнете, – из-за множества ничтожных добродетелей, из-за мелких грешков, из-за неизменно ничтожного смирения вашего!

Слишком много пощады, чересчур много уступчивости – вот почва ваша. Но чтобы дерево выросло *большим*, ему надо пустить мощные корни в твердой скале!

Даже то, что вы упускаете, помогает создавать ткань будущего всего человечества, даже ваше Ничто – лишь паутина и паук, живущий кровью грядущего.

И когда вы берете, вы словно крадете, вы, маленькие праведники; но даже у плутов есть своя честь: "Кради только тогда, когда нельзя ограбить".

"Это дается" – вот еще одна заповедь смирения. Я же говорю вам, вы, самодовольные: *берется* и еще больше будет браться от вас!

О, если бы вы стряхнули с себя всякое *полужелание* ваше и стали решительны как в деле, так и в безделье!

О, если бы вы поняли слово мое: "Всегда делайте то, к чему стремится воля ваша, но сперва станьте теми, которые *могут хотеть!"*.

"Любите и ближних своих, как самих себя, [[**5**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-5)] – но прежде станьте теми, кто *любит самого себя*, – любит великой любовью, любит великим презрением!" – так говорит Заратустра, безбожник.

Но к чему говорю я там, где никто не внемлет *моим* слухом! Здесь еще рано мне говорить.

Я сам – свой предтеча среди этих людей, я – крик петуха на еще темных улицах.

Но *их* час приближается! И мой – тоже! С каждым часом делаются они мельче, бледнее, бесплоднее – чахлая зелень! скудная почва!

Поистине, скоро предстанете вы передо мной засохшей травой, степью бесплодной, уставшие от самих себя, томимые жаждой, – но скорее жаждой огня, чем воды!

О благословенный час молнии! О тайна предполуденного часа! Некогда обращу я вас в летающее пламя, и будете вещать вы огненными языками – языками пламени станете вы возвещать: "Он наступает, он близок, *Великий Полдень!"*

Так говорил Заратустра.

НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ

Зима, злая гостья, сидит в доме моем; посинели руки мои от ее дружеского рукопожатия.

Я уважаю ее, злую эту гостью, но охотно оставляю ее одну. Я люблю убегать от нее, и если бежать быстро, от нее можно избавиться.

На бодрых ногах, с пылкими мыслями бегу я туда, где стихает ветер, – в освещенный солнцем уголок моей горы Елеонской. [[**6**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-6)]

Там смеюсь я над суровой гостьей, но я ей благодарен за то, что ловит она у меня мух и заставляет стихать неумолчный мелкий шум.

Пения даже одного комара не желает она слушать, тем более двух; она делает улицу пустынной, так что и месяц боится заглянуть туда ночью.

Она – суровая гостья, но я чту ее и не молюсь, подобно неженкам, толстопузому богу огня.

Лучше немного пощелкать зубами, чем поклоняться идолам! – таков характер мой. И особенно не люблю я всех огненных идолов – распаленных, дымных и удушливых.

Кого я люблю, того горячее люблю зимой, чем летом; злее и веселее смеюсь я над врагами своими, когда зима в доме моем.

Поистине, от души смеюсь я даже тогда, когда заползаю в постель: тогда смеется и резвится мое укрывшееся счастье; смеется и обманчивый сон мой.

Никогда я ни перед кем не раболепствовал! Никогда в жизни не пресмыкался перед сильными; а если и лгал, то лгал только из любви. Вот почему я весел даже в зимней постели.

Скромная постель согревает меня лучше, чем пышное ложе, ибо ревнив я к бедности моей. И зимой она мне верна.

Злобной выходкой начинаю я каждый день и насмехаюсь над зимой холодной ванной: ворчит в ответ моя строгая гостья.

Я люблю пощекотать ее восковой свечкой: чтобы она, наконец, выпустила небо из пепельно-серых сумерек.

Особенно яростным бываю я утром, в ранний час, когда ведро звенит у колодца и так тепло разносится по серым улицам ржание коней.

С нетерпением жду я, пока, наконец, прояснится снежное, зимнее небо, мудрое, словно старец с седой головой, молчаливое зимнее небо, так часто умалчивающее даже о солнце своем!

Не у него ли научился я долгому, светлому молчанию? Или это оно научилось у меня? Или же каждый из нас открыл его сам?

Многогранно и сложно происхождение всех хороших вещей – все хорошие, бодрые вещи страстно прыгают в бытие: неужели же существовать им всего только раз?

Долгое молчание – тоже хорошая, бодрая вещь: молчать и, подобно зимнему небу, глазами, широко раскрытыми на ясном, светлом лице, долго смотреть;

подобно зимнему небу таить свое солнце и непреклонную солнечную волю свою: поистине, хорошо изучил я это искусство и эту зимнюю бодрость!

Мое искусство и светлая ненависть моя в том, что молчание мое научилось не выдавать себя молчанием.

Перетряхивая словами и игральными костями, не раз удавалось мне перехитрить тех, кто преисполнен торжественного ожидания, перехитрить так, чтобы ускользнула от внимания этих соглядатаев воля и цель мои.

Чтобы никто не видел основы и последней воли моей, – для этого изобрел я долгое светлое молчание.

Немало умных людей встречал я, которые скрывали лицо свое и мутили воду, чтобы никто ничего не видел в них и сквозь них.

Но как раз к ним и приходили умнейшие и недоверчивые, мастера щелкать всякие орехи: именно они и вылавливали у них самую потаенную рыбу!

Но светлые умы, смелые и прозрачные, – самые мудрые из молчаливых: так *глубока* основа их, что даже самая прозрачная вода не выдает дна их.

Ты, снежнобородое безмолвное зимнее небо, ты, седовласый старец, с удивлением взирающий на меня с высоты своей! Ты, небесный символ души моей и дерзости ее!

И разве не надо мне прятаться, подобно проглотившему золото, чтобы не распластали душу мою?

И разве обойтись мне без ходуль, если хочу я, чтобы все эти злорадные завистники, окружающие меня, не заметили моих длинных ног?

Эти закопченные, удушливые, изношенные, отцветшие, изнывающие души- разве *может* их зависть вынести счастье мое?

Потому и показываю я им только зиму и лед на вершинах моих и не открываю им, что окружена гора моя всеми поясами солнца!

Им слышен лишь посвист моих зимних бурь: и *не знают* они, что летаю я и над южными морями, как страстные, тяжелые, палящие южные ветры.

Правда, они проникаются жалостью к несчастьям моим и случайностям; но так гласит слово мое: "Допустите все случайности до меня, невинны они, словно малые дети!".

Разве *вынесли* бы они счастье мое, если б не скрыл я его под несчастьями и зимней стужей, под шапками из шкур белых медведей, под покровами снежных небес!

– если бы сам я не сжалился над состраданием их, – *состраданием* этих мрачных завистников!

– если бы я не вздыхал и не дрожал перед ними от холода, терпеливо *позволяя* кутать себя в сострадание!

В том дерзость и благоволение души моей, что не скрывает она зимы и морозных бурь своих; но не прячет душа и ран своих там, где она обморожена.

У одного одиночество – это бегство больного, а у другого – бегство *от* больных.

Пусть слышит этот завистливо косящийся сброд, окружающий меня, как я дрожу и вздыхаю от зимней стужи! Задыхаясь и с содроганием бежал я из их натопленных комнат.

Пусть вздыхают они и жалеют меня, что обморожено тело мое: "Как бы не окоченел он на льду познания!" – переживают они.

Я же бегаю по Елеонской горе своей на бодрых ногах: в солнечном уголке горы своей пою я и смеюсь над всяким состраданием.

Так пел Заратустра.

О ПРОХОЖДЕНИИ МИМО

Так, не торопясь, минуя многие города и многие народы, окольными путями возвращался Заратустра в свои горы, в пещеру свою. И вот – неожиданно очутился он у ворот *большого города*: но тут с распростертыми объятиями бросился к нему беснующийся шут и загородил дорогу. Это был тот самый юродивый, которого народ прозвал "Обезьяной Заратустры", ибо он заимствовал из его речей кое-какие приемы и фразы и, бывало, присваивал себе кое-что из сокровищницы мудрости его. И обратился шут к Заратустре с такими словами:

"О Заратустра, здесь – большой город: здесь нечего тебе искать, а потерять ты можешь все.

К чему вязнуть тебе в этой грязи? Пожалей свои ноги! Плюнь лучше на эти ворота и поверни назад!

Здесь ад для мыслей отшельника: великие мысли кипятятся тут заживо и, сварившись, становятся мелкими.

Истлевают здесь все великие чувства, зато вовсю дребезжат высохшие и ничтожные!

Разве не чуешь ты запаха бойни и харчевен духа? Разве не чувствуешь, как смрад от умерщвленного духа поднимается над этим городом?

Разве не видишь, что души болтаются здесь, как вялые, грязные тряпки? Они же делают из этих тряпок газеты!

А во что превратился здесь дух? – В умение говорить каламбурами! Отвратительные словесные помои изрыгает он: из этих-то помоев и делаются газеты.

Они гонят друг друга и не знают, куда. Они распаляют друг друга и не знают, зачем. Они громыхают своей жестью и бренчат своим золотом.

Холодны они и ищут тепла в вине; распалены они и ищут прохлады у остывших умов; все они больны и одержимы общественным мнением.

Здесь все похоти и пороки чувствуют себя, как дома: но есть тут и добродетельные – много услужливой и служивой добродетели;

ловкой добродетели с бойко пишущими пальцами и задним местом, затвердевшим от сидения и ожидания; и добродетель эта имеет награды – скромные нагрудные знаки, а также плоскозадых дочек, набитых соломой.

Здесь много благочестия, а также набожного лизоблюдства и низкопоклонства перед Богом воинств.

Ибо оттуда, "сверху", падают звезды и милостивые плевки, потому и тянется вверх каждая пустая – без звезды – грудь.

У месяца свой двор, и у двора – свои паразиты: и на все, что исходит от двора, молится нищий сброд и услужливая нищенская добродетель.

"Я служу, ты служишь, мы служим", – так молится служивая добродетель у подножия властителя: чтобы заслуженная звезда прицепилась, наконец, к впалой груди!

Но как месяц вращается вокруг всего земного, так и властитель вращается вокруг самого земного, что только есть: а это – золото торгашей.

Бог воинств – это не Бог золотых слитков: король предполагает, а торгаш – располагает!

Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного, доброго о Заратустра плюнь на этот город торгашей и поверни назад!

Здесь у каждого в венах пенится гнилая и бледная кровь: плюнь на большой город, на эту огромную свалку нечистот, где бурлит и пенится грязная накипь!

Плюнь на город подавленных душ и впалых грудей, завистливых глаз и липких пальцев,

– на город нахалов, развратников, писак, крикунов и распаленных честолюбцев,

– где все испорченное, зловонное, порочное, мрачное, рыхлое, прыщавое, коварное – собрано вместе:

– плюнь на большой город и поверни назад!"

Но тут Заратустра прервал беснующегося шута и заткнул ему рот.

"Перестань, наконец! – воскликнул он. – Мне давно уже противны и речи, и манеры твои!

Зачем жил ты так долго в болоте, что и сам сделался лягушкой и жабой?

Не течет ли теперь и в твоих жилах гнилая пенистая болотная кровь, коли научился ты так ловко квакать и злословить?

Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве мало в море зеленых островов?

Я презираю презрение твое; и если ты предостерегаешь меня, почему ты не предостерег себя самого?

Из одной лишь любви воспарят презрение мое и птица, несущая предостережение, – но не из болота!

Тебя называют обезьяной моей, ты, беснующийся шут: я же зову тебя своей хрюкающей свиньей; хрюканьем ты порочишь похвалу, которую возношу я безумию.

Но отчего начал ты хрюкать? Оттого, что тебе недостаточно *льстили,* – вот и уселся ты около этой свалки, чтобы иметь повод для хрюканья,

– и для обильного мщения! Ибо месть – вот вся твоя пена, тщеславный глупец! Я раскусил тебя!

Но глупые речи твои вредят мне, даже когда произносишь ты верные слова! И пусть даже тысячу раз справедливы слова Заратустры – в твоих устах они всегда будут вредоносны и несправедливы!"

Так говорил Заратустра; взглянув на большой город, он вздохнул и долго молчал. И наконец, сказал так:

"Не только этот глупец противен мне, но и город этот.

Ни с тем, ни с другим ничего не поделаешь: их нельзя ни улучшить, ни ухудшить.

Горе этому большому городу! Хотел бы я видеть тот огненный столб, в котором сгорит он!

Ибо столбы пламени должны предшествовать Великому Полудню. Но всему свое время и своя судьба.

Однако такое наставление дам я тебе на прощание, глупец: там, где нельзя больше любить, там нужно *пройти мимо!"*.

Так говорил Заратустра и прошел мимо глупца и мимо большого города.

ОБ ОТСТУПНИКАХ

1.

Увы, отцвело и поблекло все, что еще недавно зеленело и пестрело на этом лугу! А сколько меда надежды уносил я отсюда в ульи свои!

Все юные сердца уже состарились, и не столько состарились, сколько устали, опошлились, успокоились – они называют это так: "Мы снова сделались благочестивыми".

Еще недавно видел я, как на рассвете, смелой поступью шли они путем своим: но утомились ноги их познания, и вот клевещут они теперь на смелость зари своей!

Поистине, словно в танце, взлетали некогда ноги их, под одобрительный смех мудрости моей; теперь же они одумались. Только что видел я, как, согнувшись, ползут они к кресту.

Вокруг света и свободы порхали они когда-то, подобно комарам и юным поэтам. И вот, чуть старше, чуть холоднее став, они уже не слезают с печки, как глупцы и ханжи.

Быть может, потому поникло сердце их, что одиночество, словно кит, поглотило меня? Быть может, томительно долго, но тщетно прислушивалось ухо их к зову труб моих и вестников?

Увы! Немного всегда находится таких, чье сердце не расстается с мужеством и дерзостью, чей дух терпелив и вынослив. Остальные же *малодушны*.

Остальные – это всегда большинство, повседневность, многие множества, лишние: все они малодушны!

Кто подобен мне, тому в удел достанутся переживания, подобные моим, так что первыми его товарищами будут паяцы и покойники.

Вторые же – те, что назовут себя *верующими* в него: оживленная толпа, много любви, много безумия, много детского почитания.

Да не привяжется к ним сердцем тот, кто подобен мне; не поверит в эту весну и цветущие луга тот, кто знает род человеческий, – непостоянный и малодушный!

Если бы они *могли* иначе, они и *хотели* бы по-другому. То, что наполовину, всегда губит целое. Если листья желтеют – на что тут жаловаться!

Пусть они летят и падают, оставь их, Заратустра, и не жалей! Лучше срывай их бурным вихрем – срывай эти листья, Заратустра, чтобы прочь улетало от тебя все *увядшее!*

2.

"Мы опять стали благочестивыми", – признаются эти отступники, а многие из них еще слишком малодушны, чтобы признаться в этом.

Я смотрю им в глаза и говорю им прямо в лицо, прямо в румянец щек их: вы снова *молитесь!*

Но это позор – молиться! Позор не для всех, но для меня, для тебя и для всякого, в ком есть совесть. Позор для тебя – обращаться с мольбою!

Ты хорошо знаешь это: твой трусливый демон в тебе, что так любит молитвенно складывать руки или праздно держать их на коленях и вообще обожает покой, – этот трусливый демон говорит тебе: *"Существует Бог!"*.

Но тогда принадлежишь и ты к числу боящихся света, к тем, кому никогда не дает он покоя: с каждым днем придется тебе все глубже прятать голову свою в темноту и угар!

Поистине, удачное выбрал ты время: ибо вот – снова взлетают ночные птицы. Настал час всех боящихся света – вечер, час праздности, когда всякий "праздник" угас.

Я слышу и чувствую: пришел час их торжественных шествий и охоты – охоты расслабленной, вялой, вынюхивающей, где под тихую поступь бормочут молитвы,

– час охоты на чувствительных ханжей: снова расставлены все мышеловки для сердец! И где ни подниму я завесу, отовсюду вылетает потревоженная ночная бабочка.

Наверняка она была там не одна! Я чувствую, что всюду затаились маленькие общины, и где только есть каморка, там найдешь и богомольцев, и почуешь запах, исходящий от них.

Целыми вечерами сидят они и бормочут: "Станем же снова детьми и будем говорить: "Боже милостивый!". Благочестивые кондитеры испортили им языки и желудки.

Или же смотрят они весь день напролет на хитрого паука-крестовика, подстерегающего добычу и проповедующего другим паукам слова мудрости: "Под крестами хорошо расставлять сети!".

Или сидят целыми днями на болотах с удочками и считают себя потому *глубокими*, но тех, кто удит там, где нет рыбы, я не назвал бы даже поверхностным!

Или с благочестивым весельем учатся они играть на арфе у песнопевца, который своей игрой нащупывает пути к сердцам молоденьких женщин, ибо устал он от старых баб и их похвал.

Или поучаются трястись от ужаса в темной комнате у какого-нибудь полоумного ученого, который все ожидает появления духов, и окончательно теряют при этом разум!

Или прислушиваются к флейте старого бродячего шарлатана, который у печально воющего ветра перенял унылость звуков; вот и вторит он ветру и проповедует унылыми звуками скорбь.

А иные из них сделались ночными сторожами; они научились трубить в рожок, делать обход по ночам и будить давно уже почившее прошлое.

Пять речений из старой были слышал я вчера ночью у садовой стены: от старых, удрученных, высохших ночных сторожей исходили они:

– "Для отца Он недостаточно заботится о своих детях: у людей отцы куда лучше!"

– "Он слишком стар! И совсем уже не заботится о детях своих", – отвечал другой ночной сторож.

– "Разве у Него *есть* дети? Никто не сможет это доказать, если уж Он и сам этого не доказывает! Хотелось бы мне, чтобы Он хоть раз привел убедительное доказательство."

– "Доказательство? Да когда это было! Плоховато у Него с доказательствами – ему гораздо важнее, чтобы Ему *верили!"*

– "Да, да! Вера делает Его праведным – вера в Него. Так заведено было у отцов наших! Так продолжается и у нас!"

Так говорили между собой двое ночных сторожей, боящихся света, и потом затрубили уныло в рожки свои: было это вчера ночью у садовой стены.

А во мне сердце переворачивалось от смеха, и хотело вырваться, и не знало куда, и опустилось в утробу мою.

Истинно, умру я не иначе, как задохнувшись от смеха, наблюдая, как ослы напиваются допьяна, а ночные сторожа сомневаются в Боге.

Разве не прошло *давным-давно* время для подобных сомнений? Кто еще смеет будить эту почившую, боящуюся света старину!

Давно уже покончено со старыми богами: и поистине, – хороший, веселый конец выпал на долю их!

Не "сумерками" [[**7**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-7)] своими довели они себя до смерти – это ложь! Напротив: они так смеялись однажды, что умерли *от смеха!*

Это произошло, когда самое безбожное слово было произнесено неким богом: "Один Господь! Да не будет у тебя иных богов кроме меня!" [[**8**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-8)]

– старый, ревнивый, злобный бородач до такой степени забылся, что все боги рассмеялись и, раскачиваясь на своих тронах, восклицали: "Не в том ли и божественность, что существуют боги, но нет никакого Бога?"

Имеющий уши да слышит!

Так говорил Заратустра в городе, который любил он и который назывался "Пестрая Корова". Отсюда оставалось еще два дня пути до пещеры, до возвращения к зверям его; и душа его возрадовалась близкому возвращению.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

О уединение! Ты, уединение – *отчизна* моя! Слишком долго жил заброшенным я на чужбине, чтобы со слезами не возвратиться к тебе!

Погрози же мне пальцем, как грозит мать, улыбнись мне, как мать улыбается, и скажи: "А кто однажды словно вихрь умчался от меня?"

Кто, расставаясь, воскликнул: "Слишком долго пребывал я в одиночестве и разучился молчанию". Теперь ты, конечно, научился ему?

О Заратустра, все знаю я: и то, что среди множества людского был ты *более покинутым*, чем когда-либо со мной!

Одно дело – покинутость, другое – уединение: этому ты научился теперь! И тому, что среди людей всегда будешь ты чужим и диким для них:

– даже когда они будут любить тебя: ибо прежде всего хотят они, чтобы *щадили* их!

Здесь же ты у себя дома, на родине; здесь можешь ты все говорить и открыть душу свою, ничто здесь не стыдится скрытых и скупых чувств.

Здесь все вещи, ласкаясь, приближаются к речи твоей и льстят тебе: так хочется им покататься на спине твоей! На любой притче доскачешь ты ко всякой истине.

Здесь прямо и искренно можешь говорить ты со всеми вещами; и поистине, похвалой кажется слуху их, что кто-то говорит с ними прямо!

Но быть покинутым – нечто совсем иное. Помнишь ли ты, Заратустра? Когда в лесу птица кричала над головой твоей, а ты стоял в нерешительности рядом с мертвым и не знал, куда идти?

Когда говорил ты: "Пусть звери мои ведут меня! Я чувствую, что опаснее мне находиться среди людей, чем среди зверей". *Это* была покинутость!

А помнишь ли вот еще что, о Заратустра? Когда был ты на острове своем, ты – источник вина среди ведер пустых, раздавая и расточая себя жаждущим, даря и раздаривая, – пока, наконец, не остался ты в одиночестве, жаждущий среди пьяных, и не стал жаловаться по ночам: "Не большее ли блаженство в том, чтобы брать, нежели давать? И красть, нежели брать?". *Это* была покинутость!

И помнишь ли еще такое, Заратустра? Когда приблизилась к тебе Тишина твоя, отогнавшая тебя прочь от тебя самого, и злобно нашептывала: "Скажи слово свое и погибни!", – и сделала невыносимым для тебя ожидание и молчание твое, и вселила уныние в твое смиренное мужество. *Это* была покинутость!"

О уединение! Ты отчизна моя, уединение! С какой блаженной нежностью вещает мне голос твой!

Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу: мы проходим вместе в открытые двери.

Ибо все открыто у тебя и светло, и легче бегут здесь ноги времени, ибо в темноте время гнетет сильнее, чем при свете.

Здесь раскрываются передо мной слова о бытии, словно ларцы, раскрываются передо мной слова обо всем сущем: все сущее хочет стать словом, всякое становление хочет научиться у меня говорить.

Но там, внизу, всякая речь напрасна! Там "забыть и пройти мимо" – лучшая мудрость: *этому* научился я теперь!

Кто хочет у людей понять все, должен ко всему прикоснуться. Но слишком чисты для этого руки мои.

Уже не могу я дышать с ними одним воздухом; о, зачем жил я так долго среди шума и их зловонного дыхания!

О блаженная тишина вокруг меня! О чистые запахи! Как глубоко и чисто дышит тишина! Как прислушивается она, блаженная!

Но там, внизу, – там все говорит и все остается не услышанным. Хоть колокольным звоном возвещай мудрость свою: торгаши на базаре все равно заглушат ее звоном меди!

Все говорит у них, пониманию же все разучились. Все валится у них из рук, [[**9**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-9)] но ничто не попадает больше в глубокие источники.

Все говорит у них, и ничто не удается и не доводится до конца. Все кудахчет, но кто из них захочет остаться в гнезде и спокойно высиживать яйца?

Все говорит у них, все растерзано словами. То, что вчера еще было твердым и не по зубам самому времени, сегодня – изгрызанное и обглоданное – свисает из пасти людей нынешнего.

Все говорит у них, все разглашается. То, что некогда было сокровенным и тайной глубоких душ, сегодня принадлежит уличным трубачам и всяким легкокрылым насекомым.

Удивительная вещь – существо человеческое! Ты, шум темных улиц, ты опять позади меня! Величайшая опасность моя осталась позади!

Пощада и сострадание всегда были величайшей опасностью моей, но всякое человеческое существо жаждет пощады и сострадания.

С невысказанными истинами, с рукой глупца и сердцем, лишенным разума, богатый мелочной ложью сострадания – так жил я всегда среди людей.

Сидел я среди них переодетый, готовый не узнавать *себя* ради того только, чтобы переносить *их*, и убеждал себя: "Глупец, ты не знаешь людей!".

Перестаешь понимать людей, когда живешь среди них: слишком много в них напускного, внешнего, – к чему тут дальнозоркие, страстно-проницательные глаза!

И когда они не признавали меня, я, глупец, в безумии своем жалел их за это больше, чем себя: привыкнув быть жестким с самим собой, часто мстил я себе за эту жалость.

Искусанный ядовитыми мухами и источенный, подобно камню, бесчисленными каплями злобы, сидел я среди них и убеждал себя: "Не виновно все ничтожное в ничтожестве своем!"

Особенно ядовитыми из всех мух находил я тех, что зовут себя "добрыми": они жалят, не сознавая вины своей, они лгут, не сознавая ее, – как *могли бы* они быть ко мне справедливы!

Кто живет среди добрых, того сострадание учит лгать. Сострадание делает воздух затхлым для всех свободных душ. Глупость добрых – бездонна.

Скрывать себя самого и богатство свое – этому научился я там, внизу: ибо обнаружил я, что каждый из них – нищ духом. В том была ложь сострадания моего, что о каждом я знал, – знал, видел и даже носом чуял, что не только *достаточно*, но даже *слишком много* духа досталось ему!

Эти их надутые мудрецы, но не надутыми, а мудрыми называл я их: так научился я проглатывать слова. Эти их могильщики – я же называл их исследователями и испытателями: так научился я подменять слова.

Сами себе выкапывают болезни эти гробокопатели. Губительные испарения дремлют под старым мусором. Не надо тревожить болото. Лучше жить в горах.

Блаженной грудью вдыхаю я снова свободу гор! Наконец-то избавлен нос мой от запаха человеческого существования!

Свежий воздух, как пенистое вино, щекочет мне ноздри, и она *чихает*, душа моя, чихает и радостно восклицает: "На здоровье!".

Так говорил Заратустра.

О ТРОЯКОМ ЗЛЕ

1.

Во сне, в последнем утреннем сне своем стоял я на высокой скале, по ту сторону мира, держал весы и *взвешивал* мир.

О, слишком рано приблизилась ко мне утренняя заря – пылкая и ревнивая, – она разбудила меня! Всегда ревнива она к моим знойным утренним снам.

Измеримым для того, у кого есть время; весомым для того, кто знает, как взвешивать; досягаемым для сильных крыльев; угадываемым для божественных отгадчиков – таким предстал мне во сне этот мир.

Сон мой, отважный мореход, полукорабль, полушквал, безмолвный, как мотылек, нетерпеливый, как сокол: откуда взялись у него сегодня и время, и терпение, чтобы взвешивать мир!

Не иначе, как тайно внушила ему это мудрость моя, – бодрая, насмешливая, дневная мудрость моя, смеющаяся над всеми бесконечными мирами! Ибо говорит она: "Где есть сила, там господствует и *число*, ибо у него больше силы".

С какой уверенностью взирал сон мой на этот конечный мир – без любопытства, без сожаления, без страха, без мольбы;

– словно наливное яблоко просилось в руку мою, спелое и золотистое, с нежной прохладной бархатистой кожицей – таким мне представился мир:

– словно кивало мне дерево с раскидистыми ветвями, сильное волей, согнутое для опоры и отдохновения ногам усталых путников: таким мне предстал со скалы этот мир;

– словно нежные руки несли мне навстречу ларец, открытый для восторгов стыдливых почтительных глаз – таким этот мир мне явился сегодня;

– не столько загадкой, чтобы отпугнуть человеческую любовь; не столько разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость, – человечески добрым явился сегодня мне мир, о котором так много злословят!

Как благодарен я этому сну за то, что сегодня на рассвете взвесил я мир! Человечески добрым пришел ко мне сон, утешитель сердец!

И днем поступлю я, подобно ему, и научусь у него всему лучшему: теперь хочу я возложить на весы из всех зол три самые худшие и по-человечески верно взвесить их.

Кто учил благословлять, тот учил и проклинать: какие же в мире есть три наиболее проклятые вещи? Их я хочу положить на весы.

*Сладострастие, властолюбие, себялюбие* - это троякое зло до сих пор проклинали усерднее всего и более всего на него клеветали; и вот это зло хочу я сегодня по-человечески тщательно взвесить.

Ну что ж! Здесь скала моя, там – море: оно подкатывается к ногам моим, косматое, ластится, – верное, старое чудище, стоглавый пес, любимый мной.

Ну что ж! Здесь хочу держать я весы, над бушующим морем, и выбираю свидетеля, чтобы смотрел он, – выбираю тебя, любимое мое одинокое дерево, широко раскинувшее ветви свои, источающее благоухание!

По какому мосту идет нынешнее к грядущему? По чьему принуждению высокое клонится к низкому? И что велит высшему расти все выше и выше?

Теперь весы в равновесии и неподвижны: три тяжких вопроса бросил я на одну чашу весов, три тяжких ответа несет другая.

2.

Сладострастие: острый шип и позорный столб для всех, кто носит власяницу и презирает тело; обреченное проклятью как "мирское" у всех, мечтающих о мире ином,ибо презирает оно и одурачивает всех учителей лжи.

Сладострастие: медленный огонь для толпы, на котором сгорает она; для всех зловонных лохмотьев и червивых деревьев – раскаленная, пылающая печь.

Сладострастие: невинно и свободно оно для свободных сердец, сад счастья на земле, праздничное изобилие и дар будущего от избытка его.

Сладострастие: это сладкий яд лишь для увядших, для тех же, у кого воля льва, это великое сердечное подкрепление, вино из всех вин, благоговейно сбереженное.

Сладострастие: это величайшее блаженство, символ высшего счастья и высшей надежды. Ибо многому дано было обетование брака и даже большего, нежели брак:

– многому, что еще более чуждо друг другу, чем мужчина женщине: а кто постиг до конца, *насколько чужды* друг другу мужчина и женщина?

Сладострастие: однако надо мне оградить мысли и речи мои, чтобы не ворвались в сады мои свиньи и исступленные!

Властолюбие: огненный бич для самых суровых из всех жестокосердных; ужасная пытка, уготованная самому жестокому, мрачное пламя костров, на которых сжигают живьем.

Властолюбие: это злая узда, наложенная на самые тщеславные народы; оно издевается над всякой сомнительной добродетелью, оно скачет верхом на всяком коне и на всякой гордыне.

Властолюбие: землетрясение, разрушающее все дряхлое и полое; разъяренный, грохочущий, наказующий, разрушитель гробов окрашенных; сверкающий вопросительный знак рядом с преждевременными ответами.

Властолюбие: перед взором его человек пресмыкается и ползает, раболепствует и становится ниже змеи и свиньи, пока, наконец, не вырвется у него крик великого презрения.

Властолюбие: грозный учитель великого презрения, который городам и царствам бросает в лицо: "Убирайся!", пока, наконец, и сами они не возопят: "Долой нас!".

Властолюбие: оно поднимается к чистым и одиноким, чтобы привлечь их, поднимается вверх к самодовлеющим вершинам, пылая, как любовь, заманчиво рисуя в небесах пурпурные блики блаженств.

Властолюбие: но кто сказал, что *нездорова* такая страсть, когда высокое стремится к власти над низшим! Поистине, нет ничего болезненного в таком желании, в таком нисхождении!

Чтобы одинокая вершина не оставалась вечно одна и довлела себе; чтобы гора снизошла к долине, а ветры вершин – к низинам.

О, кто найдет истинное имя, чтобы назвать и возвести в добродетель это стремление! "Дарящая добродетель" – так назвал некогда Заратустра то безымянное.

И тогда случилось, – и поистине случилось впервые, – что слово его возвеличило *себялюбие* – бодрое, здоровое себялюбие, бьющее ключом из сильной души;

– из сильной души, соединенной с возвышенным телом, прекрасным, победоносным и крепким, рядом с которым каждая вещь становится зеркалом;

– из сильной души, соединенной с гибким телом, которое говорит само за себя, с телом-танцором, символом и выражением которого служит душа, радующаяся себе самой. Радость таких тел и душ называет себя добродетелью.

Речами своими о дурном и благом ограждает себя эта радость, словно священными рощами; именами счастья своего отгоняет она от себя все презренное.

Прочь от себя гонит она все малодушное; она говорит: "Дурное – *это трусливое!"*. Достойным презрения кажется ей всякий, кто постоянно заботится, вздыхает, жалуется и извлекает из всего малейшую выгоду.

Она презирает и всякую унылую мудрость: ибо поистине есть мудрость, расцветающая во мраке, мудрость, подобно ночной тени постоянно вздыхающая: "Все – суета!".

Она не любит боязливой недоверчивости и всех тех, кто требует клятв вместо взглядов и протянутых рук; и не любит недоверчивую мудрость, ибо это – мудрость трусливых.

Еще ниже ценит она угодливого и кроткого, того, кто тотчас, как собака, ложится на спину; есть мудрость, которая по-собачьи угодлива, смиренна, набожна и услужлива.

Ненавистен и противен ей тот, кто никогда не защищается, кто проглатывает ядовитые плевки и злобные взгляды, кто слишком терпелив, кто все выносит и всем доволен: ибо это – характер раба.

Раболепствие ли это перед богами и следами от ног их или перед людьми с их глупыми мнениями, – на *все* рабское плюет оно, это великое себялюбие!

Дурное: так называет она все, что трусливо и рабски принижено, – покорно моргающие глаза, подавленные сердца и ту лживую, согбенную породу людскую, которая готова лобызать широкими, боязливыми губами.

И лжемудрость: так называет она все, над чем мудрствуют рабы, старики и усталые, а особенно – скверное, нелепое суемудрие перемудривших жрецов!

Все эти лжемудрые – эти жрецы, все эти уставшие от мира и те, чьи души – бабского или рабского рода, – как ловко очернили они себялюбие!

Ведь именно эта лжемудрость почиталась за добродетель и называлась именем ее, с тем, чтобы жестоко гнать себялюбие! "Отказаться от себя" – вот чего с полным основанием хотели все уставшие от жизни трусы и пауки-крестовики!

Ныне же приближается к ним день, когда все изменится: меч судьи, Великий Полдень; и многое станет тогда явным!

И кто славит "Я" и освящает себялюбие, поистине, тот говорит вдохновенно, словно пророк: *"Вот наступает он, Великий Полдень, вот он уже близок!"*

Так говорил Заратустра.

О ДУХЕ ТЯЖЕСТИ

1.

Уста мои – уста народа: слишком грубо и откровенно говорю я для гладкошерстных кроликов. И еще более чуждо слово мое для всех писак с лисьими ухватками и для чернильных душ.

Рука моя – рука безумца: горе столам, и стенам, и всему, на чем только рука безумца выводит каракули свои!

Ноги мои – ноги скакуна: звонкой рысью скачу я, очертя голову, ношусь по полям, словно дьявол, радуюсь быстрому бегу.

Желудок мой – не желудок ли орла? Ибо всего больше любит он мясо ягнят. Это, несомненно, желудок хищной птицы.

Вскормленный скудной, невинной пищей, всегда готовый к полету и нетерпеливо рвущийся в небо, – таков я: разве я в чем-то не птица?

К тому же враждебен я Духу Тяжести – и это во мне тоже от птицы; поистине, смертельна, непримирима, исконна вражда моя! О, куда только ни залетала и где только ни блуждала вражда моя!

Я могу теперь спеть об этом, и *хочу* петь: хотя один я в пустом доме, и придется петь ее для собственных ушей.

Есть, конечно, другие певцы, у кого только в полном доме голос делается мягким, жест – выразительным, взор – красноречивым, сердце – бодрым: но я не похож на них.

2.

Тот, кто научит людей летать, сдвинет все пограничные камни; сами эти камни заставит он воспарить, и новым именем назовет землю – именем "легкая".

Страус бежит быстрее самой резвой лошади, но в тяжелую землю еще прячет он голову свою: так и человек, который не умеет еще летать.

Тяжелыми называет он землю и жизнь; ибо *так хочет* Дух Тяжести! Но тот, кто жаждет стать легким, стать птицей, тот должен любить самого себя: так учу я.

Конечно, любить не любовью больных и немощных, ибо у них даже себялюбие – зловонно!

Так учу я: надо учиться любить себя – любовью здоровой и святой, чтобы оставаться верным себе и не терять себя.

Такая потеря назвала себя "любовью к ближнему"; с помощью этого слова до сих пор лгали и лицемерили больше всего, и особенно те, кого с трудом выносил весь мир.

И поистине, это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра – *учиться* любить себя. Напротив, из всех искусств это самое тонкое, самое мудреное, самое высшее и требующее наибольшего терпения.

Ибо достояние свое всегда хорошо спрятано от самого себя, и из всех сокровищ последним выкапывается всегда собственный клад; таково действие Духа Тяжести.

Едва ли не с колыбели дают нам в наследие тяжелые слова и ценности: "добро" и "зло" – так называют наследие это. И во имя их прощают нам жизнь нашу.

И потому допускают детей до себя, чтобы вовремя не дать им полюбить самих себя: таково действие Духа Тяжести.

И мы – мы доверчиво тащим то, что взваливают на нас, тащим на огрубевших плечах по суровым горам! И когда мы обливаемся потом, нам говорят: "Да, жизнь трудно сносить!".

Но только человеку трудно нести и выносить себя! И все потому, что тащит он на плечах своих слишком много ненужного. Подобно верблюду, становится он на колени и дает как следует навьючить себя.

И особенно трудно тому, кто силен, вынослив, способен к почитанию, – слишком много чуждых, тяжелых слов и ценностей навьючивает он на себя: и вот – жизнь представляется ему пустыней!

Поистине! Даже многое из *собственного* достояния бывает нелегко нести! Многое внутри человека похоже на устрицу, отвратительную и скользкую, которую трудно схватить.

Потому внешняя оболочка и должна быть разукрашена, чтобы выглядеть благородно, будучи как бы ходатаем за все, что внутри. Но и этому искусству надо еще научиться: *надо иметь* скорлупу, и прекрасную видимость, и мудрую слепоту!

Но и тут во многом возможна ошибка, ибо иная человеческая оболочка бедна и уныла, и слишком уж напоминает скорлупу. Много скрытых достоинств и сил остаются неразгаданными; самые изящные лакомства не находят ценителей!

Женщины знают это, особенно те, которые высоко ценятся: чуть потолще, чуть потоньше – как часто судьба заключается в этом "чуть-чуть"!

Трудно открыть человека, а самого себя – труднее всего; часто дух лжет о душе. Таково действие Духа Тяжести.

Но открыл себя тот, кто говорит: вот *мое* добро и *мое* зло. Так он заставляет умолкнуть крота и карлика с их речами: "Добро для всех, зло для всех".

Поистине, не люблю я и тех, для кого хороши все вещи, а мир этот считается лучшей из них. Таких называю я вседовольными.

Вседовольство, умеющее находить вкус во всем, – это не лучший вкус! Я уважаю строптивые, привередливые языки и желудки, научившиеся словам "Я", "Да", "Нет".

Но все жевать и переваривать – это свойственно разве что свиньям! Постоянно повторять "И-А" [[**10**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-10)] – этому обучены одни лишь ослы и те, кто близки им по духу!

Густой желтой и яркой красной краски требует вкус мой, примешивающий во все краски кровь. Но тот, кто белит дом свой, обнаруживает бескровную душу свою.

Одни влюблены в мумии, другие – в призраки: и те, и другие одинаково враждебны плоти и крови. О, как противны они вкусу моему! Ибо люблю я кровь.

И не желаю я жить там, где каждый плюет, – не по вкусу мне это: ибо ни у кого нет во рту золота; уж лучше жить среди воров и клятвопреступников.

Но лизоблюды, облизывающие плевки, мне еще противнее; а самое отвратительное животное, которое обнаружил я среди людей, я назвал паразитом; оно не хотело любить, однако, хотело жить за счет любви.

Несчастными называю я всех, у кого один только выбор: сделаться либо лютым зверем, либо лютым укротителем. Среди них не поставил бы я шатра своего.

Несчастными называю я и тех, кто всегда должен быть *на страже*, – противны они вкусу моему: все эти мытари и торгаши, короли и прочие стражи стран и сундуков.

Поистине, я тоже научился быть на страже – и научился этому хорошо, – только на страже самого себя. И в особенности учился я стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать.

Ибо вот учение мое: кто хочет научиться летать, тот должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать: нельзя сразу научиться полету!

По веревочной лестнице научился влезать я в любые окна, проворно вскарабкивался я на высокие мачты; сидеть на высоких мачтах познания казалось мне блаженством, – подобно маленьким огонькам вспыхивать на высоких мачтах: пусть малый свет, но и он великое утешение для потерявших дорогу кораблей и потерпевших кораблекрушение!

Многими способами, разными путями пришел я к истине своей: не по одной лестнице поднимался я в высоту, откуда взор мой устремлялся вдаль.

Неохотно расспрашивал я, какой дорогой пройти, – это всегда претило вкусу моему! Я предпочитал вопрошать и испытывать эти дороги.

Испытывать и вопрошать – таковы были пути мои: и поистине, надо еще *научиться* отвечать на эти вопросы! Но таков вкус мой:

– не хороший, не дурной, а *мой* вкус, которого мне не надо ни стыдиться, ни скрывать.

"Это теперь *мой* путь, а где же ваш?" – так отвечаю я тем, кто расспрашивает меня: "Каким путем следовать?". Ибо *пути* как такового, не существует!

Так говорил Заратустра.

О СТАРЫХ И НОВЫХ СКРИЖАЛЯХ

1.

Я сижу здесь и жду: вокруг меня старые разбитые скрижали, а также новые, наполовину исписанные. Когда же настанет час мой?

– час моего нисхождения, час заката моего: ибо снова хочу я идти к людям.

Пока еще жду я: ибо тому, что *час мой* настал, должно предшествовать знамение – смеющийся лев со стаей голубей.

В ожидании я говорю сам с собой, как тот, у кого достаточно времени. Никто не рассказывает мне ничего нового: вот я и расскажу сам себе – о себе.

2.

Когда пришел я к людям, то обнаружил, что восседают они на старом предубеждении своем: все верили, что давно уже знают, что есть для человека добро, и что – зло.

Чем-то отжившим и утомительным казался им спор о добродетели, а тот, кто хотел хорошенько выспаться, разглагольствовал перед сном о "добре" и "зле".

Эту сонливость встряхнул я, когда начал учить: *никто еще не знает*, что есть добро и зло, никто, кроме созидающего!

Созидает же тот, кто придает земле смысл и дарует ей будущее, а человеку – цель; он же и *создает* добро и зло.

И велел я им опрокинуть их старые кафедры и все, на чем восседало их чванливое самодовольство; я велел им смеяться над всеми их учителями добродетели, поэтами, святыми и избавителями от мира.

Я велел им смеяться над их мрачными мудрецами и над всеми, кто когда-либо сидел на древе жизни, подобно черному пугалу.

Перед улицей их гробниц и могил устроился я рядом с коршунами и падалью [[**11**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-11)] – и смеялся над их прошлым и его сгнившим, развалившимся великолепием.

Поистине, подобно безумцам и проповедникам покаяния, излил я гнев свой на все, что было у них великого и малого: "Лучшее их ничтожно, плохое и дурное их ничтожно!" – так смеялся я.

Криком и смехом изливалась из меня мудрая страсть моя, дикая мудрость моя, в горах рожденная! Высочайшая страсть моя, шумящая крыльями!

И часто, когда я смеялся, она внезапно увлекала меня вдаль и ввысь: и летел я, трепеща, как стрела, в напоенном солнцем восторге:

– туда, в далекое будущее, которого не видела еще ничья мечта, на Юг столь знойный, что и не снился художникам; туда, где боги, танцуя, стыдятся всяких одежд:

– так говорю я сравнениями, запинаясь и хромая, как все поэты: поистине, стыжусь я того, что приходится мне быть еще и поэтом!

Туда, где всякое становление казалось мне божественным танцем и дерзким весельем, а мир – разрешенным от уз и свободным, стремящимся снова и снова к себе самому:

– словно боги, что вечно ищут себя в вечном бегстве от себя, блаженно противореча себе и снова, по-новому, внемля себе, сами с собой в противоречивом согласии:

– где само время казалось мне блаженной насмешкой над мгновениями, где необходимостью была сама свобода, блаженно игравшая жалом своим:

– где нашел я и старого дьявола своего, и извечного врага – Духа Тяжести со всем, что создал он – Насилием, Законом, Необходимостью, Следствием, Целью, Волей, Добром и Злом.

Не должно ли существовать нечто, *над чем* можно танцевать, уносясь в танце? Не должны ли ради легкого и наилегчайшего существовать кроты и тяжелые карлики?

3.

Там же подобрал я на пути слово "Сверхчеловек" и утверждение, что человек есть нечто, что должно преодолеть, – что он есть мост, а не цель; что прославляет он полдень и вечер свой, как путь к новым утренним зорям:

– слово Заратустры о Великом Полудне, что вознес я некогда над людьми, подобно второй вечерней заре.

Поистине я дал им увидеть новые звезды и новые ночи; и над тучами пестрым шатром днем и ночью раскидывал я смех свой.

Я учил их всем своим помыслам и стремлениям: собрать воедино и сплавить все, что есть в человеке отрывочного, загадочного и пугающе случайного, – как поэт, отгадчик и избавитель от случайного я учил их быть созидателями будущего и спасать, созидая, то, что *было*.

Спасти в человеке прошлое его и так преобразовать всякое "Было", чтобы воля сказала: "Но я так хотела! Я так буду хотеть!" – вот что назвал я избавлением, вот что учил я называть избавлением.

Ныне я жду *своего* избавления, чтобы идти к ним в последний раз.

В последний раз иду я к людям: среди них хочу я свершить закат свой и, умирая, дать им свой самый богатый дар!

Этому я научился у солнца, когда заходит оно, богатейшее из светил: золото сыплет оно в море из неистощимых сокровищниц своих, – тогда и беднейший рыбак гребет *золотым* веслом! Ибо видел я это однажды, и слезы от зрелища этого не утолили душу мою.

Подобно солнцу, идет Заратустра к закату: и вот, он сидит, ожидая, а вокруг него старые разбитые скрижали, а также новые, наполовину исписанные.

4.

Взгляните, вот новая скрижаль: но где же братья мои, чтобы со мною вместе отнести ее в долину, в сердца человеческие?

Так повелевает великая любовь моя к дальнему: *не щади ближнего своего!* Человек есть нечто, что должно преодолеть.

Есть много путей и способов преодоления: твое дело – добраться до них! Но только паяц думает: "Через человека можно *перепрыгнуть"*.

Преодолей себя самого даже в ближнем своем: и право, которое можешь взять силой, не позволяй дать себе!

То, что делаешь ты, никто и никогда не сделает тебе. Знайте, воздаяния не существует.

Кто не может повелевать, должен повиноваться. Есть многие, умеющие повелевать себе, однако многого еще недостает им, чтобы повиноваться себе самому!

5.

Таково свойство душ благородных: они ничего не хотят даром, тем более – жизнь.

Кто из черни – тот хочет жить даром; мы же, другие, кому жизнь – дана, мы постоянно размышляем: *что* лучшее дать нам *взамен!*

И поистине, благородна та речь, что гласит: "То, что *нам* обещает жизнь, *мы* хотим сохранить для жизни!"

Не должно желать наслаждения, когда не дано наслаждаться. И еще – не должно *желать* наслаждаться!

Наслаждение и невинность – самые стыдливые вещи: они не хотят, чтобы их искали. Их надо *иметь – искать* же следует скорее вину и страдание!

6.

О братья мои, первенца всегда приносят в жертву. И вот, ныне мы – первенцы.

Все мы проливаем кровь на скрытых алтарях, сгораем в жертвенном пламени в честь старых идолов.

Наше лучшее еще молодо: и вот – истекают слюной беззубые рты. Наше мясо нежно, наша шкура – еще только кожа ягненка: как же не возбуждать нам алчность у жрецов, прислужников старых идолов!

*В нас самих* еще жив он, этот жрец, поджаривающий себе на пир все наше самое нежное и лучшее. О братья мои, как же не быть первенцам жертвой!

Но всякий, кто сроден нам, жаждет этого; и я люблю тех, кто не желает беречь себя. [[**12**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-12)] Погибающих, идущих путем заката люблю я всей любовью своей: ибо переходят они на ту сторону.

7.

Немногие *могут* быть правдивыми! А кто может – еще не хочет! И совсем не способны на это "добрые".

О эти добрые! *Добрые никогда не говорят правды*; для духа быть добрым – болезнь.

Они уступают, эти добрые, они покоряются, их сердце вторит, их существо повинуется: но кто слушается, *тот не слышит самого себя!*

Все, что у добрых зовется злом, должно воссоединиться, дабы родилась единая истина: о братья мои, достаточно ли злы вы для этой истины?

Неустрашимая отвага, долгое недоверие, жестокое отрицание, пресыщение, надрезывание жизни – как редко все это соединяется воедино! Но из такого семени произрастает истина!

Всегда *рядом* со злой совестью росло всякое *знание!* Разбейте же, познающие, старые скрижали!

8.

Когда на воде укреплены сваи[[**13**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-13)], когда через поток перекинуты мостки и перила, поистине, никто не поверит тому, кто скажет: "Все течет". [[**14**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-14)]

Но даже круглый дурак возразит ему: "Как? – скажет он, – как это – все течет? Ведь и мост, и перила – *над* потоком!

*Над* потоком – все неподвижно и крепко, все ценности всех вещей, мосты, понятия, все "добро" и все "зло": все это – *прочно!"*

Когда же приходит зима, укротительница рек, то и умнейшие проникаются недоверием; и поистине, не только глупцы тогда вопрошают: "Не пребывает ли все – *в покое?"*

"В основе своей все неподвижно", – вот подлинно зимнее учение, подходящее для бесплодного времени, хорошее утешение для лежебок и подверженных зимней спячке.

"В основе своей все неподвижно", – но против этого проповедует ветер в оттепель!

Ветер оттепели – это бык, но не тот, что пашет, нет, – это бешеный бык, разрушитель, взламывающий лед гневными рогами! Лед же *сокрушает мосты и перила!*

И вот, братья мои, не все ли течет теперь, *подобно потоку?* Не все ли мосты и перила попадали в воду и сгинули? [[**15**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-15)] Кто еще *держится* там за "добро" и "зло"?

"Горе нам! Счастье нам! Подул теплый ветер!" – так проповедуйте, братья мои, на всех площадях!

9.

Есть одно старое заблуждение: имя ему – Добро и Зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо заблуждения этого.

Некогда *верили* прорицателям и звездочетам, и поэтому веровали: "Все – судьба: ты должен, ибо так надо!"

Потом перестали доверять прорицателям и звездочетам, и поэтому верили: "Все – свобода: ты можешь, ибо ты хочешь!"

О братья мои, до сих пор только смутно гадал человек о звездах и о грядущем, не зная их: и потому о добре и зле до сих пор лишь гадают, но не знают их!

10.

"Ты не должен грабить! Ты не должен убивать!" – некогда слова эти провозглашались священными; перед ними склоняли колени и головы и снимали обувь.

Но я спрашиваю вас: были ли во всем мире более страшные разбойники и убийцы, нежели эти святые слова?

Разве мало в самой жизни убийств и разбоя? И для того чтобы стали священными эти слова, не пришлось ли убить саму *истину?*

Или же это было проповедью смерти – провозглашать священным то, что противоречит и противоборствует всему живому?

О братья мои, разбейте, разбейте старые скрижали!

11.

Мне жаль всего минувшего, ибо вижу я, что оно предано, – предано духу, милости и безумию каждого нового поколения, которое приходит и все, что было, перетолковывает так, чтобы стало оно мостом ему!

Может явиться великий тиран, коварный враг, который подвергнет насилию и принуждению все прошлое по произволу своему, пока не станет оно для него мостом, и знамением, и криком петуха, и глашатаем.

Но вот другая опасность и предмет страдания моего: память черни не идет дальше деда, а с дедом и время прекращается.

Так предается забвению все прошлое: ибо может статься, что толпа некогда будет господствовать, и время потонет в мелкой воде.

Поэтому, братья мои, нужна *новая аристократия*, враждебная толпе и всякой тирании, аристократия, которая снова напишет слово "благородный" на новых скрижалях.

Много нужно благородных и многосторонним должно быть благородство их, чтобы могли они составить аристократию! Или, как сказал я однажды: "В том и божественность, что есть боги, но нет никакого Бога!".

12.

О братья мои, я показываю вам новую аристократию и посвящаю вас в нее: вы должны стать зачинателями и воспитателями, сеятелями будущего,

– поистине, не о той аристократии говорю я, принадлежность к которой можно купить, как покупают ее торгаши за золото свое: ибо все, что имеет цену, не имеет большой ценности.

Пусть будет отныне честью вашей не то, откуда происходите вы, но то, куда идете. Воля ваша и стопы ваши, стремящиеся дальше вас самих, – да будут отныне вашей новой честью!

Поистине, не то, что служили вы принцу, – какое мне дело до принцев! – или служили опорой шаткому, чтобы крепче стояло оно!

Не то, что при дворе род ваш ценою притворства вышел в придворные, и вы научились быть разноцветными, словно фламинго, и часами выстаивать в мелких прудах:

– ибо *умение* выстаивать – добродетель придворных; все они думают, что к блаженству после смерти принадлежит также *позволение* сесть!

И не то, что дух, который вы называете святым, вел предков ваших в землю обетованную, которая, как я считаю, недостойна обета: ибо там, где выросло худшее из деревьев, нечего обетовать!

– и поистине, куда бы ни вел "святой дух" рыцарей своих, во всех походах их бежали перед ними козлы и гуси, безумцы креста и прочие помешанные!

О братья мои, не назад, а *вперед* должен смотреть аристократизм ваш! Да будете вы изгнаны из земель отцов и прадедов ваших!

*Землю детей* ваших должны вы любить: любовь эта да будет новым аристократизмом вашим; любите ее, землю еще не открытую, лежащую в дальних морях! Пусть ищут ее корабли ваши!

В детях ваших *возмещаете* вы то, что были детьми отцов своих: так должны искупить вы все прошлое! Эту новую скрижаль воздвиг я над вами!

13.

"К чему жить? Все – суета! [[**16**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-16)] Жить – это значит молотить солому, сжигать себя и все равно не согреваться".

Эта древняя болтовня все еще почитается за "мудрость"; а оттого, что стара она и пахнет затхлым, чтут ее ныне еще больше. Так и тление облагораживает!

Простительно говорить так детям, которые *боятся* огня, потому что обожглись когда-то! Много ребячества в старых книгах мудрости.

И тот, кто всегда "молотит солому", как смеет он хулить саму молотьбу! Таким глупцам следует затыкать рот!

Подобные им садятся за стол и не приносят с собой ничего, даже здорового голода; и вот клевещут они: "Все – суета!".

Но хорошо и со вкусом есть и пить, братья мои, это, поистине, не суетное искусство! Разбейте, разбейте скрижали тех, кто никогда не радуется!

14.

"Для чистого – все чисто", – так говорит народ. Я же говорю вам: "у свиней – все свинство!"

Фанатики и ханжи с поникшими сердцами проповедуют: "Весь этот мир – грязное чудовище".

Ибо у всех у них – неопрятный ум; особенно же у тех, кто не имеет ни покоя, ни отдыха, потому что увидел *заднюю сторону* мира, – вот и стремятся они в иные миры!

*Таким* говорю я прямо в лицо, и пусть это звучит не изысканно: мир тем похож на человека, что у него есть зад, – и *в этом* они правы!

В мире много грязи и нечистот: это тоже правда! Но от этого мир – еще не грязное чудовище!

И в том заключена мудрость, что многое в мире дурно пахнет: ибо само отвращение дает крылья и силы, угадывающие чистые источники!

И в лучшем есть нечто отвратительное; даже лучшее есть то, что должно преодолеть!

О, братья мои, много мудрости в том, что в мире есть грязь!

15.

Слышал я, как обращались к совести своей благочестивые искатели мира иного, и поистине, без злобы и фальши говорили они. хотя нет на земле ничего более злобного и фальшивого.

"Пусть мир будет таким, каков он есть! И мизинца не поднимай на него!"

"Не противься тому, кто хочет душить и жечь, пытать и сдирать кожу: и мизинца не подними на него! Ибо так, страдая, учатся люди отречению от мира".

"А свой собственный разум должен задушить ты сам; ибо твой разум – от мира сего: так научишься ты отречению от него".

Разбейте, разбейте же, о братья, эти старые скрижали благочестивых! Сокрушите речения клевещущих на мир!

16.

"Кто много учится, тот разучивается всем сильным желаниям", – так шепчутся ныне на всех темных улицах.

"Мудрость вселяет усталость, ничто не вознаграждается; ты не должен ничего желать!" – эту новую скрижаль нашел я вывешенной даже на ярмарках.

Разбейте, разбейте, братья мои, эту *новую* скрижаль! Уставшие от мира, проповедники смерти и тюремщики вывесили ее: знайте, что проповедь их – это проповедь рабства!

Ибо плохо учились они, и учились не лучшему, и всему слишком рано, и всему слишком поспешно: ибо плохо *ели* они, и это испортило им желудок;

– испорченный желудок – вот что такое дух их: это он внушает им мысль о смерти! Поистине, братья мои, дух есть желудок!

Жизнь – это источник радости: но в ком говорит испорченный желудок, этот отец скорби, для того все источники отравлены.

Познавать – это радость для того, в ком воля льва! Но уставший подчиняется *чужой* воле, любая волна играет с ним.

Так всегда бывает со слабыми: они теряются на путях своих. И, наконец, их усталость вопрошает: "Зачем проходили мы теми путями? Всюду одно и то же!".

Приятно им слышать проповедь: "Ничто не вознаграждается! Вы не должны ничего хотеть!". Но это – проповедь рабства.

О братья мои, дуновением свежего ветра идет Заратустра ко всем уставшим на пути своем; еще многие носы заставит он чихать!

Даже сквозь стены проникает свободное дыхание мое, в тюрьмы и плененные умы проникает оно!

"Хотеть" – освобождает: ибо хотеть означает "созидать" – так учу я. *Только* для созидания должны вы учиться!

Но чтобы учиться, должны вы сперва *научиться* у меня, и научиться хорошо! Имеющий уши да слышит!

17.

Челн готов переплыть на ту сторону, туда, где, быть может, великое Ничто. Но кто захочет вступить в это "быть может"?

Никто из вас не желает вступить в Челн Смерти! Как же так, ведь вы же *устали от мира?*

Уставшие от мира! Нет, вы не отвергли еще даже землю! Я вижу, что вы все еще вожделеете к земле и влюблены в свое отречение от нее!

Недаром отвисла у вас губа – на ней сидит еще маленькое земное желание! А в глазах у вас разве не носится облачко земной радости, еще не забытой?

Много хороших выдумок есть на земле, одни – полезны, другие – приятны: ради них стоит любить землю.

А иные выдумки так хороши, что они, подобно женской груди, полезны и вместе с тем приятны.

А вы, уставшие от мира! Вы, нерадивые к земле! Высечь бы вас розгами! Розгами нужно вернуть бодрость вашим ногам!

Ибо, если вы не больные и не отжившие, от которых устала земля, то вы лукавые лентяи или затаившиеся похотливые кошки, любители лакомств. И если не хотите вы снова весело *бегать*, то придется убраться вам с лица земли!

Ни к чему исцелять неизлечимых: так учит Заратустра. Да погибнут они!

Но чтобы поставить точку, нужно больше *мужества*, чем для сочинения новых стихов: это знают все целители и поэты.

18.

О братья мои, есть скрижали, созданные усталостью, и есть скрижали, созданные леностью – леностью испорченной: говорят они одно, но хотят, чтобы слышали их по-разному.

Взгляните на этого изнывающего от усталости! Всего только пядь отделяет его от цели, но в упрямстве своем свалился он здесь, в пыли, этот храбрец!

От усталости зевает он на путь свой, на землю, на цель и на себя самого: ни шагу не хочет ступить он дальше, этот храбрец!

И вот – солнце палит его, и псы лижут пот его; но он лежит здесь в упрямстве своем и предпочитает страдать:

– страдать на расстоянии пяди от цели своей! Поистине, такого героя еще придется за волосы втаскивать на небеса!

Но лучше оставить его там, где лежит он, чтобы пришел к нему сон-утешитель с освежающим шелестом дождя.

Пусть лежит он, пока сам не проснется, пока сам не отречется от всякой усталости и от всего, что усталость вещала устами его!

Братья мои, отгоните только от него псов, этих ленивых проныр, и весь этот толпящийся сброд:

– весь этот сброд "культурных", которые насыщаются потом героев!

19.

Я замыкаю себя в круги и священные границы; чем выше горы, на которые восхожу я, тем меньше людей поднимается вместе со мной: из самых священных гор возвожу я горный хребет.

Куда бы ни поднимались вы вместе со мной, братья мои, смотрите, чтобы не поднимался вместе с вами какой-нибудь *паразит!*

Паразит – это вкрадчивый пресмыкающийся гад, ищущий раны и скрытые больные уголки сердца вашего, чтобы жиреть, питаясь ими.

И в том искусство его, что угадывает он усталость в восходящих душах: в вашей тоске и бессилии, в нежной стыдливости вашей строит он свое мерзкое логово.

Где сильный бывает слаб, где благородный – слишком мягок, там устраивает он мерзкое жилище свое: паразит живет там, где у великого изъязвлено сердце мелкими ранами.

Что есть высший род сущего и что есть ничтожнейший? Паразит – это ничтожнейший из всех, но тот, кто велик, питает больше всего паразитов.

Ибо если длинна та лестница, по которой душа может восходить ввысь и спускаться в глубочайшие бездны: как не сидеть на ней множеству паразитов?

– ибо если душа широка и может бегать, блуждать и сбиваться с пути в себе самой; если это душа того, кто необходим, душа, которая страстно бросается во все Случайное;

– душа сущая, которая погружается в становление; душа обладающая, которая *жаждет* воли и страстных желаний;

– душа, убегающая от себя самой и вновь себя настигающая, описывая широкие круги; душа мудрейшая, которую так сладко уговаривает безумие;

– душа сама себя любящая, в которой все вещи обретают стремление и противоборство, прилив и отлив свой: – о, как не иметь ей, *высшей душе*, худших из паразитов?

20.

О братья мои, разве жесток я? Но я говорю так: падающее – подтолкни!

Все нынешнее – падает и разрушается: кто станет поддерживать его! Я же, я хочу еще и подтолкнуть его!

Знакомо ли вам это наслаждение – скатывать камни в пропасть с отвесных скал? Смотрите, как скатываются люди нынешнего в глубины мои!

Я – увертюра к игре лучшего игрока, братья мои! Я – пример! Действуйте же по примеру моему!

И тех, кого не учите летать, учите *быстрее падать!*

21.

Я люблю храбрых: но недостаточно быть рубакой, нужно еще знать, *кого* рубить!

И часто больше храбрости бывает в том, чтобы удержаться и пройти мимо: и сохранить себя тем самым для более достойного врага!

Да будут лишь те врагами вашими, кто достоин ненависти, а не презрения: вы должны гордиться врагами своими – так некогда учил я вас.

Для более достойного врага должны вы сохранить себя, братья мои: поэтому многих должны вы миновать на пути своем, – особенно же многочисленный сброд, орущий вам в уши о народе и народах.

Сохраните же чистым око свое от их "за" и их "против"! Много там правого, много и неправого: и исполнится гневом тот, кто уделит им внимание свое.

Всматриваться в них, рубить их – это одно и то же; лучше уходите в леса и вложите мечи ваши в ножны!

Следуйте *своими* путями! А народу и народам предоставьте идти своими! Поистине, темны пути их, не озаренные ни одной надеждой!

Пусть торгаш царствует там, где все, что блестит еще, – это лишь золото его! Время королей миновало: то, что сегодня зовется народом, не заслуживает королей.

Смотрите же, как народ стал подражать торгашам, извлекая малейшую выгоду из всякого мусора!

Они подсматривают друг за другом, они подражают друг другу – и это у них называется "добрым соседством". О блаженные, далекие времена, когда народ говорил себе: "Я хочу быть *господином* над народами!".

Ибо, братья мои: лучшее должно господствовать, и лучшее *хочет* господствовать! А где учение гласит иначе, там лучших *не хватает*.

22.

О чем стали бы они кричать, если бы хлеб свой получали даром? Поддержание жизни в теле – вот единственное, что поддерживает их существование и дает содержание ему; и пусть нелегко дается им это!

Они – хищные звери: даже в их "труде" жива еще хищная жажда поживы, и когда произносят они: "Заработать", мне слышится "Перехитрить"! И пусть нелегко дается им это!

Более хищными должны стать они, более хитрыми, умными и *больше походить на человека*, ибо он – самый хищный из зверей.

У всех зверей человек похитил добродетели их: потому все и дается ему труднее, нежели зверям.

Пока лишь птицы выше его. Когда же научится он и летать, то беда! Куда только не залетит хищность его!

23.

Такими хочу я видеть мужчину и женщину: его – способным к войне, ее – к деторождению, но чтобы оба они могли танцевать – не только ногами, но и головой.

Да будет потерян для нас тот день, в который мы хоть раз не танцевали! Да назовется у нас ложью всякая истина, которой не сопутствуют смех и веселье!

24.

Вы заключаете брак: смотрите же, чтобы не стал он для вас *заключением!* Слишком торопитесь вы, заключая брак, и вот следствие – расторжение брачных уз!

Но это все же лучше, чем унижаться и лгать! Вот что сказала мне одна женщина: "Да, я нарушила узы супружества, но до этого они – разрушили меня!".

Всегда замечал я, что супруги, составляющие плохую пару, самые мстительные: они готовы мстить всему миру за то, что уже не могут расстаться.

Поэтому хочу я, чтобы искренние говорили друг другу: "Мы любим друг друга; посмотрим, будем ли мы любить и впредь! Или обещание наше ошибочно?

Дайте нам время и недолгий союз, чтобы увидеть, годимся ли мы для истинного союза! Великое дело – всегда быть вдвоем!".

Так советую я всем искренним; и чем была бы любовь моя к Сверхчеловеку и ко всему грядущему, если бы я советовал и говорил иначе!

Разрастаться не только вширь, но и расти вверх – да поможет вам в этом, братья мои, сад супружества!

25.

Знайте же: тот, кто почерпнул мудрость в старых источниках, будет искать новых истоков и родников будущего.

О братья мои, скоро возникнут *новые народы*, и зашумят в новых глубинах новые родники.

Ибо землетрясение, что засыпает немало ключей и заставляет многих томиться жаждой, – оно же обнаруживает скрытые, тайные силы.

Землетрясение открывает новые источники. При сотрясении народов начинают бить новые ключи.

И кто восклицает тогда: "Вот источник для многих жаждущих, сердце для многих томящихся, воля для многих орудий", вокруг того собирается *народ*, то есть – испытующие.

Кто может повелевать и кто должен повиноваться – вот что *испытывается* тогда! О, какими долгими поисками, гаданиями, советами, промахами, опытами и новыми попытками испытывается это!

Вот учение мое: человеческое общество – это попытка, это долгое искание; ищет же оно того, кто повелевает!

– это попытка, братья мои! А вовсе не "договор"! Разбейте, сокрушите это слово, слово вялых и половинчатых сердец!

26.

О братья мои! Кто грозит величайшей опасностью будущему человечества? Разве не добрые и праведные?

– не те ли, кто говорит и чувствует сердцем своим: "Мы знаем уже, в чем добро и праведность, уже достигли мы этого; горе тем, которые все еще ищут!"

И какой бы вред ни приносили злые, вред добрых – наивреднейший!

И как бы ни навредили клевещущие на мир, вред добрых – наивреднейший!

О братья мои, в сердца добрых и праведных заглянул некогда тот, [[**17**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-17)] кто сказал: "Это – фарисеи". Но его не поняли.

И не могли понять его именно добрые и праведные: ибо дух их пленен чистой совестью их. Глупость добрых необычайно умна.

Но вот истина: добрые *должны* быть фарисеями, у них нет выбора!

Добрые *должны* распинать того, кто создает свою собственную добродетель! Такова истина!

А вторым, кто открыл землю их – землю, сердце и достояние, был тот, кто спросил: "Кого больше всех ненавидят они?".

*Созидающий* ненавистен им больше всех: тот, кто разбивает скрижали их ценностей и сокрушает старые ценности; они называют его преступником.

Ибо добрые *не могут* созидать; они всегда – начало конца:

– они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, *себе* в жертву приносят они будущее – они распинают все человеческое будущее!

Эти добрые – они всегда были началом конца.

27.

О братья мои, понятно ли вам и это слово мое? И то, что говорил я некогда о "последнем человеке"?

В ком величайшая опасность для будущего человечества? Не в добрых ли и праведных?

*Сокрушите, сокрушите добрых и праведных!* О братья мои, понятно ли вам и это слово?

28.

Вы убегаете от меня? Вы напуганы? Вы трепещете от речей моих?

О братья мои, когда велел я вам сокрушить скрижали добрых и праведных, тогда впервые пустил я плыть человека по открытому морю.

И только теперь овладевают им великий страх и осмотрительность, великое недомогание и отвращение, великая морская болезнь.

Обманчивые берега и призрачную безопасность внушили вам добрые; во лжи этих добрых были вы рождены и спеленаты ею. Все, до самых оснований искажено и извращено добрыми.

Но тот, кто открыл землю, называемую "человек", тот открыл и другую – "человеческое будущее". Отныне должны вы стать мореплавателями, отважными и упорными!

Пора ходить вам прямо, братья мои, учитесь же этому! Многие нуждаются в вас, чтобы, глядя на вас, выпрямиться и ободриться.

Море бушует: все – в море. Ну что ж! Вперед, верные морские сердца!

Что нам страна отцов! Туда стремится корабль, где земля детей наших! Туда, вдаль, стремительнее бури устремляется великое желание наше!

29.

"Почему ты так тверд? – спросил однажды у алмаза кухонный уголь. – Разве мы не в близком родстве?"

"Почему вы такие мягкие?" – Так спрашиваю я вас, братья мои: разве вы мне не братья?

Почему вы так мягки, слабы и уступчивы? Почему так много отречения и отрицания в сердце вашем? И так мало рокового во взоре?

И если не хотите вы быть роком и неумолимостью, разве сможете вместе со мной побеждать?

И если твердость ваша не хочет сверкать, рубить и рассекать: разве сможете вы вместе со мной созидать?

Ибо созидающие – тверды. И для вас должно быть блаженством запечатлеть руку свою на тысячелетиях, словно на воске,

– блаженством – словно на меди, запечатлеть письмена на воле тысячелетий, на воле, что тверже и благороднее, нежели медь. Самое благородное – тверже всего.

О братья мои, эту новую скрижаль воздвигаю я над вами: *будьте тверды!*

30.

О воля моя! Ты, отвратительница всех несчастий, необходимость моя! Сохрани меня от ничтожных побед!

Ты, изволение души моей, которое зову я судьбой! Ты, пребывающая во мне и надо мною! Сбереги и сохрани меня для великой судьбы!

И последнее величие свое, о воля моя, сохрани для последней борьбы, чтобы быть тебе неумолимой в победе своей! О, кто не был побежден собственной победой своей!

О, чей взор не темнел в этих опьяняющих сумерках! О, у кого из победителей ноги не подкашивались и не разучивались стоять!

Пусть созревшим и совершенным встречу я некогда великий свой полдень: подобно расплавленной меди, словно туча, чреватая молниями, как грудь, наполненная молоком:

– созревшим для себя самого и сокровенной воли своей, будто лук, пламенеющий к стреле своей, как стрела, пламенеющая к звезде своей;

– к звезде, созревшей и совершенной в зените своем, – пылающей, пронзенной, блаженной под разящими стрелами солнца;

– словно солнце и неумолимая воля его, готовая погибнуть в победе своей!

О воля, отвратительница всех бед, необходимость моя! Сохрани меня для великой победы!

Так говорил Заратустра.

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ

1.

Однажды утром, вскоре после возвращения в пещеру, Заратустра, как безумный, вскочил с ложа своего, вскрикнул страшным голосом и встал над ложем с таким видом, словно кто-то лежал на нем и не хотел вставать; и так звучал голос Заратустры, что звери его, испугавшись, прибежали к нему, а из всех нор и расселин, соседствовавших с пещерой Заратустры, все животные бросились в разные стороны – улетая, убегая, уползая, – смотря по тому, были у них крылья или ноги. А Заратустра произнес такие слова:

"Поднимайся, бездонная мысль, выходи из глубины моей! Я – рассвет и утренний петух твой, вставай, заспавшийся червь, поднимайся! Давно уже пора тебе проснуться от звука голоса моего!

Разреши узы слуха своего: внимай! Ибо хочу я слушать тебя! Поднимайся! Тут достаточно грома, чтоб и гробы услышали!

И сотри сон, и слепоту, и тупость с глаз своих! И внемли мне, даже глазами своими: ибо мой голос исцеляет и слепорожденных.

Проснувшись же – бодрствуй вечно: не таков я, чтоб, разбудив прабабку ото сна, сказать ей: "Спи дальше!" [[**18**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-18)]

Вот ты шевелишься, потягиваешься, кряхтишь? Вставай! Не кряхтеть должна ты, а говорить! Заратустра-безбожник зовет тебя!

Я, Заратустра, заступник жизни и страдания, защитник круга – я зову тебя, моя бездонная мысль!

О радость! Ты приближаешься, я слышу тебя! Бездна моя *говорит*, последнюю глубину свою извлек я на свет!

Здравствуй! Сюда! Дай руку – фу! пусти! Фу! – мерзость, мерзость и отвращение – горе мне!"

2.

Но едва Заратустра произнес слова эти, как упал замертво и долго лежал недвижимо, словно мертвый. Придя же в себя, он был бледен, дрожал, не двигался с места и долго не желал ни есть, ни пить. И продолжалось это семь дней; но звери не покидали его ни днем, ни ночью, только орел улетал за пищей. Все, что он находил или захватывал силой, складывал он у Заратустры на ложе; так что лежал тот в окружении желтых и красных ягод, винограда, румяных яблок, кедровых орехов и благовонных трав. В ногах же были положены два ягненка – с трудом отбил их орел у пастухов.

Наконец, через семь дней приподнялся Заратустра на ложе своем, взял в руку румяное яблоко, понюхал и нашел запах его приятным. И тогда решили звери его, что настал час заговорить с ним.

"О Заратустра, – сказали они, – вот уже семь дней, как лежишь ты с отягченным взором: не хочешь ли ты, наконец, подняться?

Выйди из пещеры своей, мир ждет тебя, словно сад. Ветер играет густыми ароматами, стремящимися к тебе, и все ручьи готовы бежать за тобой.

Все вещи тоскуют по тебе, ведь ты семь дней пребывал в одиночестве: выйди же из пещеры! Все вещи хотят быть целителями твоими!

Или новое знание пришло к тебе, горькое и тяжелое? Подобно заквашенному тесту лежал ты, и вот – душа твоя поднялась и вышла за пределы свои".

"О звери мои, продолжайте болтать и дайте мне послушать вас! Освежают меня речи ваши; там, где так беззаботно болтают, мир кажется мне садом, раскинувшимся передо мной.

Как приятно, что есть в мире слова и звуки: слова и звуки – разве они не призрачные мосты и радуги для всего, что разъединено навеки?

У каждой души – свой особый мир, и мир другой души для нее – мир иной.

Как раз в вещах, наиболее схожих друг с другом, красивее всего лжет видимость сходства; ибо самую малую пропасть труднее всего преодолеть. [[**19**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-19)]

Разве может быть для меня что-нибудь – вне меня? Ничего нет вне нас! Но слыша звуки, мы забываем об этом; как прекрасно, что мы забываем!

Не для того ли даны вещам имена и звуки, чтобы человек наслаждался вещами? Говорить – это прекрасное безумие: говоря, человек танцует над всеми вещами.

Как приятна всякая речь и ложь звуков! Звуками танцует наша любовь по многоцветным радугам".

"О Заратустра, – сказали на это звери, – для того, кто думает так же, как мы, все вещи танцуют сами по себе: все приходит, подает друг другу руки, смеется, убегает и вновь возвращается.

Все уходит, все возвращается; вечно катится Колесо Бытия. Все умирает, все вновь расцветает; вечно бежит Год Бытия.

Все разрушается, все строится вновь; вечно возводится все тот же Дом Бытия. Все разлучается и встречается вновь; вечно верным себе остается Кольцо Бытия.

Каждый миг начинается бытие; вокруг каждого "здесь" вращается кольцеобразное "там". Середина – повсюду. Путь вечности – кривая".

"Ах вы, проказники! Ах вы, шарманщики! – отвечал Заратустра и вновь заулыбался, – вам хорошо известно, что должно было исполниться в эти семь дней:

– и как чудовище то вползло мне в горло и душило меня! Но я откусил ему голову и выплюнул прочь.

А вы, – вы уже сделали из этого песенку для шарманки? И вот лежу я здесь, еще не оправившись от схватки с тем чудовищем, и еще не выздоровел от избавления своего.

*И вы смотрите на все это?* О звери мои, неужели и вы жестоки? Неужели и вам, как и людям, нравилось смотреть на ужасные муки мои? Ибо человек – самый жестокий из зверей.

Трагедии, распятия, бой быков – все это для него было до сих пор величайшей радостью на земле; и когда изобрел он ад, то ад стал на земле небом его.

Когда большой человек кричит – мигом подбегает к нему маленький, с похотливо высунутым языком, и называет это – "состраданием".

С каким жаром маленькие люди – и особенно поэты – обвиняют жизнь на словах! Послушайте их, но не пропустите удовольствия, звучащего во всякой жалобе их!

В одно мгновение побеждает жизнь обвинителей ее. "Ты любишь меня? – вопрошает она бесстыдно, – подожди немного, пока что нет у меня времени для тебя".

По отношению к себе человек – жесточайший зверь; но у всякого, кто называет себя "грешником", "несущим крест свой" или "кающимся", – не пропустите сладострастия, звучащего во всех его жалобах и обвинениях!

Но говоря все это, не становлюсь ли я и сам обвинителем человека? О звери мои, вот единственное, чему научился я до сих пор: все злое в человеке необходимо ему во имя блага его и всего наилучшего,

– все дурное и злое есть наилучшая *сила* и твердый камень в руке высочайшего из созидающих; человеку должно становиться все лучше и злее.

Но *не на том познании* был я распят, что человек зол, напротив, я кричу, как до сих пор никто не кричал:

"О, как ничтожно все самое злое его! О, как мелко все его лучшее!".

Заползли мне в горло и душили меня величайшее пресыщение человеком и предсказания прорицателя: "Все равно ничто не вознаграждается, знание душит".

Долгие сумерки тянулись передо мной; смертельно усталая и насмерть пьяная печаль бормотала, зевая:

"Вечно возвращается он, тот маленький человек, от которого ты так устал", – так, зевая, говорила моя печаль, потягивалась и никак не могла уснуть.

В пещеру превратилась для меня земля, впала грудь ее, и все живое стало для меня человеческим тленом, костями и гнилью прошлого.

Сетования мои сидели на всех гробах человеческих и не могли подняться; вздохи мои и вопросы днем и ночью терзали меня жалобами, и душили, и зловеще каркали:

"О, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!"

Некогда видел я обоих нагими – самого великого человека и самого маленького: слишком похожи они друг на друга – даже в самом великом много еще слишком человеческого!

Даже самый великий – как он еще мал! Таково было пресыщение мое человеком! А вечное возвращение маленького человека отвращало меня от бытия!

О отвращение! Отвращение! Отвращение!" – Так говорил Заратустра, вздыхая и содрогаясь; ибо вспомнил он о болезни своей. Но звери не дали ему продолжить речи его.

"Не говори больше, о выздоравливающий! – отвечали они ему, – лучше выйди наружу, туда, где мир, словно сад, ожидает тебя.

Иди к розам, и пчелам, и стаям голубей! Но сначала иди к певчим птицам – и научись у них *пению!*

Ибо пение – выздоравливающему; здоровому же – речи. Ну, а если и здоровому захочется песен, то песни эти будут иными".

"Ах вы, проказники и шарманщики, замолчите! – отвечал Заратустра, смеясь над зверями своими. – Хорошо знаете вы, какое утешение обрел я для себя за эти семь дней!

Мне нужно снова петь – вот то утешение и исцеление, которые обрел я: не хотите ли вы и из этого сделать уличную песенку?"

"Не говори больше, – опять отвечали ему звери, – лучше сделай себе лиру, о выздоравливающий, новую лиру!

Согласись же, о Заратустра! Для новых песен нужна и новая лира.

Пением, шумным весельем и новыми песнями исцеляй душу свою, Заратустра: чтобы мог ты нести бремя великой судьбы своей – судьбы, которая никогда еще не выпадала человеку!

Ибо хорошо знают звери твои, о Заратустра, кто ты и кем должен стать: *ты – учитель Вечного Возвращения*, [[**20**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g3-20)] – вот отныне судьба твоя!

Ты должен первым возвестить это учение – и как же не быть великой судьбе твоей также величайшей опасностью и болезнью!

Вот мы знаем, чему учишь ты: что все вещи вечно возвращаются, а с ними и мы сами, что мы существовали уже несчетное число раз, а с нами – все вещи.

Ты учишь, что есть Великий Год становления, необычайный, величайший год-исполин; подобно песочным часам, должен он обращаться снова и снова, чтобы заново наполняться и снова течь:

– и все эти годы равны самим себе, как в самом великом, так и в самом малом; и сами мы в каждый Великий Год тождественны себе, как в самом великом, так и в самом малом.

И если бы захотел ты теперь умереть, о Заратустра, то знаем мы и то, что стал бы ты тогда говорить себе. Но звери твои просят, чтобы ты пока еще не умирал!

Без трепета, глубоко вздыхая от блаженства, стал бы говорить ты: ибо бремя величайшей тяжести было бы снято с тебя, о терпеливейший!

"Вот я умираю и исчезаю, – таковы были бы слова твои, – и во мгновение ока обращусь в ничто. Души так же смертны, как и тела.

Но связь причин, в которую вплетен я, вновь возвратится и вновь создаст меня! И сам я – одна из причин Вечного Возвращения.

Я возвращаюсь – вместе с этим солнцем, с этой землей, с этими орлом и змеей – не для какой-то новой, или лучшей, или похожей жизни:

– я вечно возвращаюсь к этой же самой жизни как в самом великом, так и в самом малом, чтобы снова учить о Вечном Возвращении всех вещей,

– чтобы вновь сказать слово мое о Великом Полудне земли и человека, чтобы снова возвестить людям о Сверхчеловеке.

Я сказал слово свое и гибну во имя его: так хочет вечный жребий мой – я погибаю как провозвестник!

Настал час, когда гибнущий и идущий к закату своему благословляет сам себя. Так *кончается* закат Заратустры".

Сказав слова эти, звери умолкли и ждали ответа Заратустры: но он не заметил, что прекратились их речи. Подобно спящему, тихо лежал он с закрытыми глазами, хотя и не спал, – ибо беседовал он с душой своей. И тогда змея и орел, видя, что осенило его молчание, почтили великую тишину, окружавшую его, и осторожно удалились.

О ВЕЛИКОМ ТОМЛЕНИИ

О душа моя, я научил тебя говорить "Сегодня", и "Некогда", и "Прежде", и научил водить хороводы по всем "Здесь", "Туда" и "Там".

О душа моя, из всех закоулков я вывел тебя и очистил от пыли, паутины и сумрака.

О душа моя, я смыл с тебя мелкий стыд и ложную добродетель и убедил стоять обнаженной перед очами солнца.

Бурей, имя которой – дух, бушевал я над волнующимся морем твоим; все тучи я разогнал над тобой и задушил душителя, который зовется "Грехом".

О душа моя, я дал тебе право говорить "Нет", как говорит это буря, и говорить "Да", как открытое чистое небо: ты спокойна теперь, словно свет, и проходишь через все бури отрицания.

О душа моя, я возвратил тебе свободу над всем созданным и несозданным: и кто знает, как знаешь ты, наслаждение будущим?

О душа моя, я научил тебя презрению, но не тому, что приходит, подобно червоточине, а великому, любящему презрению, которое тогда любит больше всего, когда больше всего презирает.

О душа моя, я научил тебя убеждать так, что убеждаешь ты и самые основания: подобно солнцу, убеждающему море подняться до высоты его.

О душа моя, я снял с тебя всякое послушание, коленопреклонение и подвластность, я дал тебе имя "Отвращение бед" и "Судьба".

О душа моя, я дал тебе новые имена и игрушки и назвал тебя: "Судьба", "Круг кругов", "Пуп времени" и "Лазурный колокол".

О душа моя, твоему царству земному дал я испить всякую мудрость, все новые вина, а также все незапамятно-старые вина мудрости.

О душа моя, свет многих солнц пролил я на тебя, темноту каждой ночи, и всякую тоску и молчание: и вот – возросла ты у меня, словно лоза виноградная.

О душа моя, тяжелая изобилием своим, словно лоза виноградная, стоишь ты передо мной, с надутыми сосцами и темными, густо нависшими золотистыми гроздьями:

– смущенная и подавленная счастьем, преисполненная ожидания в изобилии своем и стыдящаяся этого ожидания.

О душа моя, нигде нет и не было подобной тебе, более любящей, широкой и всеобъемлющей! Где будущее и прошлое сходились бы ближе, чем у тебя?

О душа моя, все я отдал тебе, и ради тебя опустели руки мои. И вот! Теперь говоришь ты мне с улыбкой, полная печали: "Кто же из нас должен благодарить:

– должен ли благодарить дарящий, что берущий взял у него? Дарить – не есть ли потребность? Брать – не есть ли сострадание?".

О душа моя, я понимаю улыбку печали твоей: теперь избыток твой сам простирает тоскующие руки!

Полнота твоя бросает взоры на шумящее море, ищет и ожидает; тоска от избытка смотрит сквозь небо очей твоих!

И поистине, о душа моя! Кто, видя улыбку твою, не исходил бы слезами? Сами ангелы проливали бы слезы перед благодатью улыбки твоей!

Твоя благость и сверхдоброта твоя не хотят жаловаться и плакать: но сама улыбка твоя исходит желанием слез, и дрожащие уста – жаждой рыданий.

"Всякий плач не есть ли жалоба? И всякая жалоба не есть ли обвинение?" – так говоришь ты себе, предпочитая улыбаться, нежели в слезах излить страдание свое:

– в потоках слез излить страдание, которое причиняет тебе избыток твой и томление лозы виноградной по виноградарю с ножом его!

Но если не хочешь рыдать, не хочешь выплакать пурпурную скорбь свою, тебе дано будет *петь, о* душа моя! Смотри, улыбаюсь я сам, предвещая тебе это:

– тебе дано будет петь страстную песнь, покуда моря не затихнут, прислушиваясь к томлению твоему,

– покуда на тихой тоскующей глади моря не покажется челн, золотое чудо, вокруг злата которого кружится все хорошее, дурное и невиданное;

– и множество зверей, больших и малых, и все чудесное, легконогое, бегущее по голубым тропинкам,

– туда, к золотому чуду, к вольной ладье и хозяину ее – к виноградарю, ожидающему с алмазным ножом своим,

– к твоему великому избавителю, о душа моя, – пока еще безымянному; лишь песни будущего найдут имя ему! И поистине, уже благоухает дыхание твое этими песнями;

– уже пылаешь и грезишь ты, уже пьешь утешение из всех глубоких, звонких источников, уже отдыхает тоска твоя в блаженстве будущих песен!

О душа моя, теперь я отдал тебе все, даже последнее свое, и ради тебя опустели руки мои: *я повелел тебе петь* – вот последний мой дар!

Я повелел тебе петь, так скажи мне, скажи: кто из нас должен благодарить? – Впрочем, нет, лучше пой для меня, пой, о душа моя! И позволь *мне* благодарить тебя!

Так говорил Заратустра.

ДРУГАЯ ПЛЯСОВАЯ ПЕСНЬ

1.

"В твои глаза взглянул я недавно, о Жизнь: сверкало золото в ночи глаз твоих – и стихло сердце мое перед страстным желанием:

– я видел, как золотой челнок сверкал в темных водах, то исчезая, то появляясь вновь, ныряя, всплывая, манил он к себе, золотой челн-качалка!

На ноги мои, рвущиеся в пляс, бросила ты взгляд – смеющийся, вопросительный, жаркий, пьянящий.

Маленькими ручками своими только дважды тронула ты кастаньеты – и вот уже ноги мои ожили, одурманенные пляской.

Пятки отрывались от земли, пальцы ног словно прислушивались, внемля тебе: ибо слух у танцора – в пальцах ног его!

Я устремился к тебе – и попятилась ты от меня; зашелестели, взлетели, взвились на меня извивы волос твоих!

От тебя и от этих змей отпрянул я: и остановилась ты, полуотвернувшись, и страстное желание сквозило во взгляде твоем.

Лукавыми взорами учишь ты меня кривым путям; на кривых путях научаются коварству ноги мои!

Вблизи я боюсь тебя, издали – обожаю; твое бегство завлекает, твой взыскующий взгляд – останавливает: я страдаю, но чего не выстрадал бы я ради тебя!

Ради тебя, чей холод воспламеняет, чья ненависть обольщает, чье бегство привязывает, чьи насмешки волнуют:

– кто не испытывал ненависти к тебе – сковывающей, опутывающей, соблазняющей, ищущей, обретающей! Кто не любил тебя – невинную, нетерпеливую, взбалмошную грешницу с глазами ребенка!

Куда влечешь ты меня теперь, ты – верх совершенства и неукротимости? И вновь убегаешь – сладостная и неблагодарная ветреница!

В танце стремлюсь я за тобой, по малейшему следу, тобой оставленному. Где ты? Подай же мне руку! Дай хоть один пальчик!

Тут пещеры и заросли: можно заблудиться! Стой! Подожди! Разве не видишь ты, как проносятся совы и летучие мыши?

Ты – сова! Ты – летучая мышь! Хочешь дразнить меня? Где мы? Не у собак ли научилась ты выть и отрывисто лаять?

Как мило скалишь ты на меня свои белые зубки, а злые глаза так и сверкают в тени кудрей!

Вот это танец так танец! Я – охотник, кем же хочешь ты быть: моей собакой или серной?

Вот ты и рядом! Еще быстрее, злая попрыгунья! А теперь вверх! И туда! Увы! Прыгая, упал я сам!

О надменная, смотри, – я лежу и молю о пощаде! Более приятными тропами хотел бы идти я с тобой:

– тропами любви через безмолвие пестрых зарослей! Или там, по берегу озера, в глубинах которого танцуют золотые рыбки!

Ты утомилась? Взгляни на вечернюю зарю; а вон – пасутся овцы; разве не чудесно уснуть под звуки пастушьей свирели?

Ты так устала? Я отнесу тебя туда, обними меня! А если ты чувствуешь жажду, я найду чем напоить тебя, только от этого питья откажутся уста твои!

О эта гибкая, проворная змея, проклятая колдунья! Ускользнула! Где ты? А на лице моем остались два красных пятна от прикосновения рук твоих!

Право, устал я вечно быть пастухом твоим! До сих пор я пел тебе, чародейка, а теперь – ты у меня закричишь!

В такт плетке моей будешь ты плясать и кричать! Ведь я не забыл плетку? Нет!"

2.

Так отвечала мне Жизнь, зажимая руками нежные ушки свои: "О Заратустра! Не щелкай так страшно плеткой своей! Ты же знаешь: шум убивает мысли, а ко мне как раз пришли такие нежные мысли!

Мы с тобой оба – вне добра и вне зла, и не творим ни того, ни другого. По ту сторону добра и зла обрели мы остров свой и зеленый луг – мы вдвоем, только я и ты! Поэтому должны мы жить в мире и согласии!

А если мы и не любим друг друга от всего сердца, нужно ли из-за этого сердиться?

Ты же знаешь, что хорошо отношусь я к тебе, а зачастую даже слишком хорошо: и все потому, что ревную тебя к мудрости твоей. Ах, эта мудрость, сумасшедшая старая дура!

Но если мудрость твоя возьмет и покинет тебя, тогда и любовь моя недолго останется с тобой".

Тут Жизнь задумчиво оглянулась вокруг и тихо произнесла: "О Заратустра, ты не слишком-то верен мне!

Ты давно уже любишь меня не так сильно, как говоришь; я знаю, ты собираешься скоро покинуть меня.

Ибо есть старый, тяжелый-тяжелый, гулкий колокол – до самой пещеры твоей доносятся ночью удары его:

– И когда слышишь ты, как он в полночь отбивает часы, ты думаешь между первым и последним – двенадцатым ударом -

– думаешь о том, о Заратустра, что скоро покинешь меня, – я знаю это!"

"Да, – колеблясь, отвечал я, – но ты знаешь также..." – И я сказал ей кое-что на ухо, шепотом, сквозь золотистые пряди ее спутанных, безумных волос.

"Ты *знаешь* это, о Заратустра? Этого не знает никто".

И смотрели мы друг на друга, и бросали взгляды на зеленый луг; на который опускалась вечерняя прохлада, и рыдали. И в тот раз Жизнь была мне милее, чем когда-либо вся мудрость моя.

Так говорил Заратустра.

3.

РАЗ!   
О человек! Внимай!   
ДВА!   
Что вещает глубокая полночь?   
ТРИ!   
"Я спала,   
ЧЕТЫРЕ!   
И от глубокого сна пробудилась:   
ПЯТЬ!   
Мир глубок! –   
ШЕСТЬ!   
И глубже, чем думает день.   
СЕМЬ!   
Глубока боль мира –   
ВОСЕМЬ!   
И все же радость глубже, нежели скорбь.   
ДЕВЯТЬ!   
Боль говорит: "Прейди!"   
ДЕСЯТЬ!   
Но всякая радость жаждет вечности,   
ОДИННАДЦАТЬ!   
Жаждет глубокой, глубокой вечности!"   
ДВЕНАДЦАТЬ!\*

\* Здесь и далее стихи в переводе В.Рынкевича.

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ   
(или: Песнь утверждения и завершения)

1.

Если пророк я, исполненный того пророческого духа, что парит над горным перевалом между двумя морями,

блуждая между прошедшим и будущим, словно тяжелая туча; враждебный душным низменностям и всему усталому, что не может ни жить, ни умереть;

в темной груди таящий молнии и избавляющие лучи света; чреватый молниями, которые восклицают "Да!"; в чьем смехе звучит "Да!"; готовый излить ослепительный свет пророчеств:

– но блажен тот, кто носит это во чреве своем! И поистине, долго будет он тяжелой тучей нависать над скалой, тот, кто некогда должен зажечь свет будущего!

О, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я, ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

2.

Если некогда гнев мой разрушал могилы, сдвигал пограничные камни и сбрасывал в пропасти разбитые старые скрижали;

если насмешка моя, словно буря, сметала прах истлевших слов, и был я метлой для всех пауков-крестовиков и очистительным ветром для старых удушливых склепов;

если сидел я, ликуя, возле мест погребения прежних богов, благословляя и любя мир близ памятников былым клеветникам на него:

– ибо люблю я даже церкви и могилы богов, когда сквозь разрушенные купола смотрит солнце ясным оком своим; и подобно травам и алым макам, люблю я развалины храмов:

– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность! *Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

3.

Если некогда приходило ко мне вдохновение, берущее начало от того животворящего дыхания, от той небесной необходимости, что даже случайности заставляют водить звездные хороводы;

если смеялся я некогда смехом созидающей молнии, за которой грозно, но с покорностью следует гром деяний;

если некогда восседал я с богами за игральным столом земли и играл с ними в кости, так что земля содрогалась и покрывалась трещинами, изрыгая в пространство потоки огня:

– ибо земля – это стол богов, вздрагивающий от бросков их игральных костей и новых творческих речей:

– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

4.

Если одним глотком выпивал я некогда пряный и пенный напиток из кубка, в котором была приготовлена смесь всех вещей;

если рука моя смешивала воедино дальнее с близким, в дух добавляя огня, к страданию – радость, к дурному – благое;

если я сам – крупинка той избавляющей соли, чьей силой в том кубке рождается добрая смесь:

– ибо есть соль, связующая добро со злом, и даже самое злое будет доброй приправой и пеной избытка, что бьет через край:

– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

5.

Если люблю я море и все, что родственно морю, особенно когда оно гневно противоречит мне;

если есть во мне та радость поиска, что мчит паруса навстречу неизведанному, если есть в радости моей радость морехода;

если некогда ликование мое восклицало: "Берег скрылся из вида – ныне спали с меня последние путы,

– беспредельность бушует вокруг, где-то там, вдалеке, призывно сияет пространство и время, вперед! Мужайся, старое сердце!":

– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

*6*.

Если добродетель моя – добродетель танцора, и я часто обеими ногами нырял в золотисто-изумрудный экстаз;

если злость моя – злость смеющаяся, обитающая среди роз и под изгородью из лилий;

– а в смехе все злое располагается друг подле друга, но освященное и оправданное блаженством своим;

– и если в том альфа и омега моя, чтобы все тяжелое стало легким, всякое тело – танцевало, а дух сделался птицей: и поистине, это и есть альфа и омега моя!

– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

*7*.

Если некогда я простирал над собой тихое небо и на собственных крыльях стремился в свои небеса;

– если, играя, я плавал в глубинах света, и птица-мудрость прилетала к свободе моей;

– и говорила мне так: "Взгляни, нет ни верха, ни низа! Всюду взмывай, вверх ли. вниз ли, – ты легкий! Пой! Перестань говорить!

– разве все слова не для тех, кто тяжел? Не лгут ли они тому, кто легок? Пой! Перестань говорить!":

– о, как не стремиться мне со всей страстью к Вечности и к брачному кольцу колец – к Кольцу Возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой желал бы детей, кроме той, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА   
часть четвертая и последняя

– О, кто совершил больше безрассудств, чем милосердные; И что причинило больше страданий, чем безумие сострадательных?   
Горе любящим, еще не достигшим той высоты, которая выше сострадания их!   
Так сказал мне однажды дьявол: "Даже у Бога есть свой ад – это любовь его к людям".   
А недавно я слышал от него: "Бог умер, из-за сострадания своего к людям умер он".

*Заратустра. "О сострадательных"*

ЖЕРТВА МЕДОВАЯ

И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, а он не замечал этого; но волосы его поседели. Однажды сидел он на камне рядом с пещерой своей и молча смотрел вдаль, на вздымавшиеся пучины морские; звери его задумчиво ходили вокруг и, наконец, остановились перед ним.

"О Заратустра, – сказали они, – не высматриваешь ли ты счастье свое?" – "Что мне счастье! – отвечал Заратустра. – Давно уже не стремлюсь я к счастью – я стремлюсь к делу своему". – "О Заратустра, – продолжали звери, – ты говоришь так, словно сверх меры преисполнен блага. Ты как будто плывешь в лазоревом озере счастья!" – "Ах вы, хитрецы, – отвечал Заратустра, улыбаясь, – какой удачный образ выбрали вы! Однако вы знаете, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну: оно гнетет и не отстает от меня, словно растопленная смола".

Тогда звери снова стали ходить вокруг в раздумье и затем опять остановились перед ним. "О Заратустра, – говорили они, – так вот почему становишься ты все желтей и темней, хотя волосы твои белеют и делаются похожими на лен? Взгляни, ты и вправду словно покрыт смолой!" – "Что вы такое говорите, звери мои, – смеясь, отвечал Заратустра, – поистине, оклеветал я счастье свое, сравнив его со смолой. Со всеми плодами, которые созревают, происходит то же, что и со мной. Это – мед в жилах моих; он делает кровь мою гуще, а душу – спокойнее". – "Должно быть, так и есть, – ответили звери, приближаясь к нему, – а не хочешь ли ты подняться сегодня на высокую гору? Воздух прозрачен, и с горы мир виден лучше, чем когда-либо". – "Да, звери мои, – отвечал он, – прекрасен совет ваш и по сердцу мне он: я поднимусь на высокую гору! Но позаботьтесь о том, чтобы был у меня мед – желтый, чистый, прозрачный, холодный, как лед, золотистый сотовый мед. Ибо знайте, – там, наверху, хочу принести я жертву медовую."

Но когда Заратустра достиг вершины горы, он отослал зверей, сопровождавших его, домой и, убедившись, что остался один, рассмеялся от всего сердца и сказал, оглянувшись вокруг:

"Я говорил о жертвах и о жертве медовой; но это было только уловкой и, поистине, полезным чудачеством! Здесь, наверху, могу говорить я свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их.

Жертвовать? Скорее расточаю я то, что дарят мне, я – расточитель с тысячью рук: как посмею я назвать это жертвой!

И когда желал я меда, я желал только притравы и сладкого, густого медового сока, которым лакомятся ворчуны-медведи и диковинные хищные птицы:

– лучшей притравы, столь необходимой охотникам и рыболовам. Ибо если похож этот мир на лес, населенный дикими зверями, и на охотничьи угодья, то, по-моему, еще больше похож он на бездонное и изобильное море,

– на море, полное пестрых рыб и крабов, море, которому возрадовались бы даже боги и захотели бы сами стать рыболовами и забрасывать сети свои: так богат этот мир большими и малыми чудесами!

Особенно человеческий мир, человеческое море: в него закидываю я золотую удочку свою и говорю: разверзнись, человеческая бездна!

Разверзнись и выброси мне рыб и сверкающих крабов! Лучшей притравой своей приманю я сегодня самых диковинных человеческих рыб!

– само счастье свое я закидываю вдаль, во все края, между восходом, зенитом и закатом, чтобы увидеть, много ли рыб среди людей станет биться и дергаться на приманке счастья моего,

– пока, попавшись на острые, скрытые крючки мои, не придется достигнуть им всем – этим разноцветным пескарям бездны – высоты моей, высоты самого яростного ловца человеков [[**1**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-1)] и рыб.

Ибо таков я изначально, влекущий и манящий, тянущий вверх и возвышающий, воспитатель и надсмотрщик, который не напрасно внушал некогда сам себе: "Будь тем, кто ты есть!".

Пусть же теперь поднимаются они *вверх*, ко мне: ибо жду я знамения, возвещающего, что настал час нисхождения моего; а сам я пока еще не спускаюсь в море людское, в которое некогда предстоит мне погрузиться.

Потому и жду я в этих горах, лукавый и насмешливый, без терпения и без нетерпения, а, скорее, как тот, кто разучился даже терпеть, поскольку "терпеть" ему больше уже не приходится. [[**2**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-2)]

Ибо не торопится судьба моя: не иначе, как забыла она обо мне! Или уселась в тени, за каким-нибудь камнем, и ловит мух?

И поистине, за то благодарен я вечной судьбе моей, что она не подгоняет, и не торопит меня, и не жалеет она времени для шуток и злости: вот и сегодня взошел я на эту высокую гору, чтобы заняться рыбной ловлей.

Когда-либо ловил ли кто-нибудь рыбу в высоких горах? Но как ни безумно то, чем занят я тут, наверху: это все-таки лучше, чем сидеть там, внизу, – торжественным, пожелтевшим и позеленевшим от ожидания,

– надутым от ожидания и пышущим гневом, как завывание священной бури, нетерпеливо несущейся с гор в долины с воплями: "Слушайте, не то я ударю вас божьим бичом!".

Нет во мне неприязни к этим гневливым: ибо годятся они для насмешек моих! Они и должны быть столь нетерпеливыми, эти огромные, гремящие барабаны: а вдруг, если сегодня не дадут им слова, не получить им его никогда?

Но я и судьба моя, мы не обращаемся ни к "Сегодня", ни к "Никогда": у нас есть терпение и время, и даже избыток того и другого, чтобы говорить. Ибо некогда должен придти он, и нас он тогда не минует.

Кто же это должен прийти и нас не минует? – Наш Великий Случай, наше великое, грядущее царство земное, тысячелетнее царство Заратустры.

Далеко ли еще до него, до этого царства? Какое мне дело! Однако не слабеет от этого верность моя – на этом стою я, и стою прочно, обеими ногами,

– на этом вечном основании, на твердых первозданных камнях, на высочайших твердынях древних гор, где ветры сходятся, как у предела бурь, вопрошая – где? куда? откуда?

Смейся, смейся, благая ярость моя! Сбрасывай вниз в долины свой сверкающий презрением смех! Самых прекрасных рыб среди людей примани мне сверканием своим!

И все, что принадлежит мне во всех морях, то, что во всем – мое-и-для-меня: вылови мне это и извлеки из глубин. Вот чего жду я, злейший из всех ловцов человеков и рыб.

Дальше, дальше, удочка моя! Глубже опускайся, приманка счастья моего! Излей по каплям сладчайшую росу свою, мед сердца моего! Вонзайся, крючок мой, в брюхо всякой черной скорби!

Дальше, дальше, взор мой! О, как много морей вокруг, сколько мерцает огней человеческого будущего! О, какая алая тишина надо мной! Какое безоблачное молчание!"

КРИК О ПОМОЩИ

На следующий день Заратустра опять сидел на камне перед пещерой, в то время как звери блуждали по свету в поисках пищи, а также нового меда: ибо Заратустра истратил и расточил весь старый мед свой до последней капли. И вот – когда сидел он так, с посохом в руке, и обводил им тень свою на земле, и размышлял, – но не о себе и не о тени своей размышлял он, – вздрогнул он вдруг от испуга, ибо рядом со своей тенью увидел чью-то другую. И когда он поспешно обернулся и встал на ноги, перед собой увидел он прорицателя, того самого, что однажды ел и пил за столом у него, того самого провозвестника великой усталости, поучавшего: "Все равно ничто не вознаграждается, мир лишен смысла, знание – душит". Но с тех пор изменилось лицо его, и когда Заратустра взглянул ему в глаза, вновь содрогнулось сердце его: так много зловещих знамений и пепельно-серых молний запечатлелось на этом лице.

И прорицатель, поняв, что творится в душе Заратустры, провел рукой по лицу своему, словно желая напрочь стереть с него эти зловещие знаки; так же поступил и Заратустра. И тогда, придя в себя, они протянули друг другу руки, в знак того, что готовы узнать один другого.

"Добро пожаловать, пророк великой усталости, – сказал Заратустра, – не напрасно был ты некогда гостем и сотрапезником моим. Будь же им и сегодня, ешь и пей за столом у меня, и не взыщи, если рядом с тобой будет сидеть веселый старик!" – "Веселый старик? – переспросил прорицатель, покачав головой, – кто бы ты ни был и кем бы ни захотел стать, о Заратустра, слишком долго жил ты здесь, наверху, – скоро уже не будет сушей то место, где стоит челн твой!" – "А разве я на суше?" – отвечал Заратустра, смеясь. – "Волны великого бедствия и скорби поднимаются все выше и выше вокруг горы твоей, – сказал прорицатель, – скоро подхватят они челн твой, и тебя унесут вместе с ним". – Заратустра молчал и удивлялся. – "Разве ты не слышишь? – продолжал прорицатель, – не слышишь клокочущий шум, поднимающийся из глубины?" – Заратустра все еще молчал и прислушивался: и вот – услышал он долгий протяжный крик, который пучины бросали друг другу, передавая все дальше и дальше, ибо ни одна не желала оставить его у себя: так зловеще звучал он.

"Ты, роковой провозвестник, – сказал, наконец, Заратустра, – это же крик о помощи, крик человека, и, похоже, доносится он из темных глубин неведомого моря. Хотя какое мне дело до человеческих бед! Но последний грех, что остался во мне, – знаешь ли ты имя его?"

*"Сострадание!* – отвечал прорицатель из глубин сокрушенного сердца, подняв вверх руки свои. – О Заратустра, я пришел, чтобы ввести тебя в последний твой грех!"

И едва произнес он эти слова, как снова раздался крик, еще протяжнее и тоскливее, чем раньше, но уже намного ближе. – "Ты слышишь? Слышишь, Заратустра? – воскликнул прорицатель, – это тебя, тебя призывает этот крик: "Иди, иди, иди, пора, давно пора!".

Но Заратустра молчал, смятенный и потрясенный; наконец он спросил, словно сомневаясь в себе самом: "Кто же это зовет меня?"

"Тебе ли не знать этого, – резко отвечал прорицатель, – зачем ты прячешься? Это *высший человек* взывает к тебе!"

"Высший человек? – воскликнул Заратустра, охваченный ужасом. – Чего же он хочет? Что нужно ему? Высший человек! Что ему нужно здесь?" – и тело его покрылось потом.

Прорицатель же не отвечал на испуганные восклицания Заратустры, а продолжал вслушиваться в зов глубин. Но оттуда долго не доносилось ни звука, тогда он обернулся и увидел, что Заратустра все еще стоит, не двигаясь с места, и дрожь бьет его.

"О Заратустра, – проговорил он, – ты не похож на человека, который от счастья кружится на месте: чтобы не упасть, придется тебе танцевать!

Но даже если ты и захочешь танцевать и выделывать на канате трюки, все равно никто не скажет: "Смотрите, вот танцует последний веселый человек!"

Тот, кто *его* ищет здесь, напрасно поднялся на эти высоты: пещеры найдет он и скрывающихся в них, а также убежища для тех, кто спасается бегством, но не обнаружит ни тайников, ни сокровищниц счастья, ни новых золотоносных жил его.

Счастье – не обрести его у отшельников, заживо похоронивших себя! Неужели придется искать мне последнее счастье на блаженных островах, среди далеких забытых морей?

Хотя все равно ничто не вознаграждается, всякие искания бесполезны, не существует более блаженных островов!"

Так вздыхал прорицатель; но с последним вздохом его к Заратустре вернулись спокойствие и уверенность, словно он из глубокого ущелья снова вышел на свет. "Нет! Нет! Трижды нет! – воскликнул он бодрым голосом, поглаживая бороду, – *это мне* хорошо известно! Существуют еще блаженные острова! Уж лучше молчи об этом, ты, мешок печалей и воздыханий!

Перестань болтать, ты, полуденная дождевая туча. Разве не видишь, что промок я уже от печалей твоих, словно собака, которую окатили водой?

Отряхнусь-ка я и сбегу от тебя, чтобы высохнуть, – так что не удивляйся! Или сочтешь ты это невежливым? Но тут мои владения.

А высшего человека я тотчас разыщу в тех лесах, откуда, быть может, доносился крик его. Быть может, его преследует какой-нибудь лютый зверь.

Он – в моих владениях: здесь с ним не случится несчастья! Действительно, немало тут у меня лютых зверей".

И с этими словами Заратустра направился к лесу. Тогда прорицатель сказал: "О Заратустра, ты – плут!

Я понял: ты хочешь избавиться от меня! Ты предпочитаешь уйти в лес, к диким зверям!

Но тебя это не спасет! Вечером снова буду я здесь; я усядусь в пещере твоей и буду сидеть, терпеливый, тяжелый, словно колода, и ждать тебя!"

"Да будет так! – крикнул Заратустра уже издали. – И пусть все мое в этой пещере принадлежит и тебе, дорогому гостю моему!

Если найдешь ты мед, – ну что ж! лижи его, ворчливый медведь, и услаждай душу свою! А вечером оба мы будем веселы,

– веселы и довольны, что день этот кончился! И будешь ты плясать под песни мои, словно ученый медведь.

Ты сомневаешься? Ты качаешь головой? Ну что ж, посмотрим, старый ворчун! Ведь и я – тоже прорицатель!"

Так говорил Заратустра.

БЕСЕДА С КОРОЛЯМИ

1.

Заратустра не был еще и часу в пути по горам и лесам своим, как вдруг увидел престранное шествие. Посреди дороги, по которой хотел он спуститься, шли два короля, в коронах и украшенные пурпурными поясами, пестрые, словно фламинго: перед собой они гнали нагруженного осла. "Что надо этим королям в моем царстве?" – изумленно сказал Заратустра в сердце своем и поспешил спрятаться за куст. Но когда короли поравнялись с ним, он произнес вполголоса, словно обращаясь к самому себе: "Странно! Странно! Как увязать одно с другим? Двух королей вижу я – но только одного осла!".

Тогда те двое остановились, с улыбкой глядя в ту сторону, откуда донесся голос, и повернулись друг к другу. "Так же думают многие и среди нас, – сказал король, что шел справа, – но они не высказывают этого вслух".

А король слева, пожав плечами ответил: "Это, вероятно, пастух, пасущий коз. Или отшельник, долго живший среди скал и деревьев. Да, отсутствие общества портит самые добрые нравы".

"Добрые нравы? – сердито и с горечью возразил другой король. – Так от чего же мы бежим? Не от "добрых" ли нравов? Не от нашего ли "высшего общества"?

Поистине лучше уж жить среди отшельников и пастухов, чем в кругу нашей раззолоченной, лживой, нарумяненной черни, которая называет себя "высшим обществом",

– которая называет себя "аристократией". Но все в них лживо, и даже сама их кровь – из-за застарелых дурных болезней и еще более дурных исцелителей.

Теперь я предпочитаю им всем крестьянина: он груб и хитер, упрям и вынослив: ныне это самый благородный тип.

Крестьяне – вот кто ныне лучшие из людей; они и должны господствовать! Однако теперь – царство толпы, и я уже не обольщаюсь. Толпа же – это мешанина и неразбериха.

У них все перемешано: святой с негодяем, дворянин с евреем, и все зверье из Ноева ковчега.

Добрые нравы! Все у нас лживо и прогнило насквозь. Никто уже не способен к почитанию: как раз *от этого* мы и бежим. Всюду эти назойливые заискивающие псы, покрывающие позолотой пальмовые листья.

Отвращение душит меня оттого, что мы, короли, сами стали ненастоящими, что мы прячемся под одеждами ветхого, раззолоченного дедовского великолепия, что для глупцов и пройдох и для всех, кто вовлечен сегодня в мелочную торговлю властью, мы не более чем профили на монетах!

Мы – не первые среди людей, но должны разыгрывать эту роль для толпы: и от этой лжи пресыщение и отвращение овладели нами.

Мы ушли, наконец, от этого сброда, от всех этих крикунов и от мушиной пачкотни грязных писак, от смрада торгашей, от судорог честолюбия и от зловонного дыхания – тьфу! жить среди этой сволочи!

– тьфу! играть роль первых среди этой сволочи! О отвращение! Отвращение! Отвращение! Во что превратились мы, нынешние короли!"

"Это приступ твоей застарелой болезни, – сказал король слева, – это приступ отвращения, бедный мой брат. Однако, по-моему, кто-то подслушивает нас".

Заратустра, с напряженным вниманием слушавший эти речи, тотчас вышел из убежища своего, подошел к королям и сказал:

"О короли, тот, кто слушает вас, и слушает весьма охотно, зовется Заратустрой.

Я – Заратустра, я тот, кто сказал некогда: "Кому ныне дело до королей!" Не взыщите, но возрадовался я, услышав, как вы говорите друг другу: "Кому ныне дело до нас, королей!"

Но здесь мое царство и моя держава: что ищете вы здесь? Однако, быть может, дорогой вы *нашли* то, что ищу я, – высшего человека".

Услышав это, короли ударили себя в грудь и сказали в один голос: "Нас узнали!

Мечом этого слова рассекаешь ты густой мрак сердец наших. Ты угадал печаль нашу, ибо, видишь ли, для того и пустились мы в путь, чтобы найти высшего человека,

– человека, который был бы выше нас: хотя мы и короли. Ему ведем мы этого осла. Ибо высший человек должен быть и высшим властелином на земле.

Нет более жестокого несчастья в судьбе человеческой, чем когда властители земли – не первые среди подданных своих. И все тогда становится лживым, превратным и ужасающим.

Когда же они становятся последними и из людей превращаются в скотов, тогда чернь все более поднимается в цене, пока, наконец, добродетель ее не провозгласит: "Смотрите, только я одна – добродетель!"

"Что слышу я? – отвечал Заратустра. – Как мудры короли! Я восхищен и поистине с удовольствием переведу на язык рифм то, о чем говорилось:

– хотя стихи эти и не для всяких ушей и вряд ли понравятся всем. Но я давно уже не обращаю внимания на длинные уши. Итак, вот они!

(Но тут и осел заговорил: отчетливо и не без злого умысла он произнес – "И-А"). [[**3**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-3)]

Однажды – в первый год от Рождества Христа –   
Сивилла, опьянев, но без вина, вещала:   
"О горе! Как все обветшало!   
Как низко опустился мир!   
В блудницу превратился Рим,   
Во всем упадок и развал,   
Пал Цезарь до скота,   
Сам Бог – евреем стал!"

2.

Короли наслаждались стихами Заратустры, а тот, что справа, сказал: "О Заратустра, как хорошо сделали мы, отправившись повидать тебя!

Ибо враги твои в своем зеркале показали нам образ твой: и в том зеркале явился ты в облике демона, с язвительной усмешкой, так что убоялись мы тебя.

Но и это не помогло! Снова и снова продолжал ты уязвлять нам сердца и уши своими речениями. Наконец, мы решили: не все ли равно, как он выглядит!

Надо *услышать* того, кто поучает: "Вы должны любить мир лишь как средство к новой войне, и мир короткий – сильнее, чем мир продолжительный!".

Никто еще не произносил столь воинственных слов: "Что такое – добро? Добро – это быть храбрым. Благо войны освящает всякую цель".

О Заратустра, при этих словах кровь отцов взволновалась в жилах наших: словно сама весна обратилась с речью своей к бочкам, наполненным старым вином.

Когда мечи перекрещивались с мечами, подобно обагренным кровью змеям, тогда любили жизнь отцы наши; мирное солнце в мирном небе казалось им безжизненным и холодным, а долгий мир был позором для них.

Как вздыхали они, отцы наши, видя на стене блестящие, притупленные мечи! Подобно мечам этим, жаждали они войны. Ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от страстного желания."

Пока короли с жаром, увлеченно говорили о счастье отцов своих, Заратустрой овладело сильное желание посмеяться над пылом их, ибо было очевидно, что короли эти – с благородными, тонкими чертами лица – вполне миролюбивы. Однако же превозмог он себя. "Ну что ж! – сказал он. – Вот дорога, ведущая к пещере Заратустры; долог будет вечер сегодняшнего дня! А теперь покину я вас: меня призывает крик о помощи.

Это честь для пещеры моей, что даже сами короли воссядут в ней и будут ждать, однако же долго придется им ждать!

Ну что ж! Ничего не поделаешь! Где ныне лучше всего обучаются ожиданию, как не при дворе? И вся добродетель королей, какая еще осталась у них, не гласит ли она: *уметь* ждать?"

Так говорил Заратустра.

ПИЯВКА

Заратустра, занятый своими мыслями, пошел дальше, спускаясь с гор, по лесам, мимо болотистых мест; и, как это может случиться со всяким, кто размышляет о трудном и нелегком, он нечаянно наступил на кого-то. И вот – разом посыпались ему в лицо крик боли, два проклятья и двадцать два скверных ругательства, так что Заратустра в испуге замахнулся палкой и к тому же ударил того, на кого наступил. Но он тотчас овладел собой, и сердце его смеялось над глупостью, которая только что совершилась.

"Прости, – сказал он приподнявшемуся с мрачным видом человеку, – не сердись и выслушай прежде всего такую притчу.

Подобно путнику, мечтающему о чем-то далеком, который на пустынной улице нечаянно толкает ногой спящую на солнце собаку;

– и подобно тому, как оба они вскакивают и бросаются друг на друга, словно смертельные враги, оба перепуганные насмерть, – точно так же случилось и с нами.

И все же – много ли надо, чтобы они отнеслись друг к другу с лаской. Ведь оба они – одинокие!"

"Кто бы ты ни был, – все еще гневаясь, отвечал незнакомец, – ты больно задел меня не только ногой, но и этим сравнением!

Взгляни, разве я собака?" – И с этими словами сидящий поднялся и вытащил голую руку свою из болота. А до этого он, притаившись и припав к земле, лежал у воды, словно охотник, выслеживающий дичь.

"Что с тобой? – воскликнул Заратустра в испуге, ибо увидел, что по руке незнакомца ручьями льется кровь, – что ты делаешь здесь, несчастный? Не укусы ли это какой-то мерзкой, подлой твари?"

Но истекающий кровью улыбнулся, хотя и не прошел еще гнев его. "Какое тебе дело? – ответил он, собираясь уходить. – Здесь я у себя дома, в своих владениях. Пусть меня спрашивает, кто хочет: но всякому болвану я не собираюсь отвечать".

"Ты ошибаешься, – с состраданием в голосе сказал Заратустра, удерживая его, – ты здесь не у себя, но в моем царстве, а тут ни с кем не должно случиться ничего дурного.

Называй меня как хочешь, – я тот, кем должен быть. Сам же я называю себя Заратустрой.

Вот что! Там, наверху, дорога ведет к пещере моей – это недалеко; не хочешь ли ты перевязать у меня свои раны?

Не повезло тебе в этой жизни, несчастный: сначала тебя ранил зверь, потом на тебя наступил человек!"

Но услышав имя Заратустры, пострадавший преобразился. "Какое везение! – воскликнул он. – Если что и привязывает меня еще к жизни, возбуждая мой интерес, то это один-единственный человек – Заратустра – и одна-единственная тварь – пиявка.

Ради этого и лежу я у болота, словно рыболов, и вот уже раз десять впивалась пиявка в руку мою, теперь же куда более прекрасного зверя привлекла кровь моя – самого Заратустру!

О счастье! О чудо! Да будет благословен тот день, что привел меня к этому болоту! Да будет благословенна наилучшая, сильнейшая из пиявок, ныне живущих, да будет благословенна пиявка совести – Заратустра!"

Так говорил незнакомец; и Заратустра радовался словам его и почтительной манере речи. "Кто ты? – спросил он, протягивая ему руку. – Еще много между нами невыясненного и неясного, но, кажется, светлый и погожий день уже наступает".

"Я – *совестливый духом,* – отвечал тот, – и в том, что касается духа, трудно найти человека, более строгого, твердого и целеустремленного, чем я, кроме того, у кого я учился, – я говорю о Заратустре.

Лучше не знать ничего, чем многое – наполовину! Лучше на свой страх и риск быть дураком, чем мудрецом за счет чужих мнений! Я доискиваюсь основы:

– неважно, мала она или велика, называется болотом или небом. Пусть основа эта будет хотя бы в руку шириной – с меня достаточно: лишь бы была она основанием, на котором можно утвердиться!

– пусть хоть в руку шириной: на ней можно утвердиться. В истинно совестливом познании нет большого и малого".

"Так, может быть, ты – исследователь пиявок? – спросил Заратустра. – Может быть, ты, совестливый духом, до последних основ исследуешь пиявку?"

"О Заратустра, – отвечал совестливый духом, – это было бы слишком, если бы решился я на это!

Если что и познал я, так это мозг пиявки: это – *мой* мир!

Поистине, это целый мир! Но прости, здесь говорит уже гордость моя, ибо в этом нет мне равных. Потому и сказал я, что тут – я у себя дома.

Давно уже исследую я эту единственную вещь, мозг, пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня! Здесь – мое царство!

– ради этого я пожертвовал всем, из-за одного этого все стало мне безразличным; и рядом со знанием моим – тьма невежества.

Совесть духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь одно и не знал ничего другого: мне отвратительны все половинчатые духом, все туманные, выспренние, мечтательные.

Там, где кончается честность моя, я слеп, и хочу быть слепым. Но там, где желаю я знать, хочу я быть честным, а значит – строгим, твердым, целеустремленным, жестоким и неумолимым.

Ты сказал некогда, о Заратустра: "Дух есть жизнь, которая сама надрезывает жизнь"; это привлекло меня и привело к учению твоему. И поистине, собственной кровью умножил я знание свое!"

"И это очевидно", – отвечал Заратустра: ибо с руки совестливого духом все еще лилась кровь. Десять пиявок впились в руку его.

"О ты, странный товарищ, сколь многому учит меня такая очевидность – ты сам! И быть может, не все осмелился бы я доверить слуху твоему, столь взыскательному!

Ну что ж! Здесь мы и расстанемся! Но я хочу снова увидеться с тобой. Там, наверху, дорога к пещере моей: этой ночью будешь ты желанным гостем моим!

Я хочу исцелить также и раны тела твоего, на которое я наступил: я еще подумаю об этом. А теперь мне надо спешить – меня призывает крик о помощи!"

Так говорил Заратустра.

ЧАРОДЕЙ

1.

Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел неподалеку, на ровной дороге, человека, который корчился, как бесноватый, и, наконец, бросился ничком на землю. "Постой! – сказал Заратустра в сердце своем, – должно быть, это и есть тот высший человек, чей мучительный крик о помощи слышал я; надо взглянуть, нельзя ли чем-нибудь помочь ему". Но сбежав вниз, к тому месту, где лежал человек, он увидел перед собой старика: дрожь била его, и взор был неподвижен, и как ни старался Заратустра поднять его на ноги, все было тщетно. Казалось, несчастный даже не замечал, что рядом с ним кто-то есть; было жалко смотреть, как он с жестами отчаяния озирался по сторонам, словно покинутый целым миром и безмерно одинокий. Наконец, после всех этих корчей и мучительных судорог, он стал причитать:

О, кто меня отогреет? Кто меня еще любит?   
Дайте тепла ваших рук,   
Дайте пылающих углей остывшему сердцу!   
Едва живой,   
Бьюсь в приступе неведомой болезни, –   
Раскаленные иглы всепроникающего холода   
Пронзают плоть,   
Я трепещу –   
Ты, Мысль, преследуешь меня!   
Охотник, скрытый тучами!   
Ужасный! Безымянный!   
Твой презрительный взгляд поразил меня молнией   
Из непроглядной тьмы,   
И вот лежу я в мучительных судорогах   
И все извечные скорби и муки постигли меня,   
Жестокий охотник,   
Неведомый Бог!   
Рази сильнее, глубже!   
Пронзи, разбей мне сердце!   
О, почему терзаешь ты меня тупыми стрелами?   
Что еще увидел во мне   
Твой злорадный, твой молниеподобный взгляд,   
Взгляд Божества, что никогда не пресытится зрелищем мук?   
Нет, не погибели моей ты жаждешь,   
А страданий!   
Зачем *меня* – терзаешь,   
Неведомый, злорадный Бог?   
Я чувствую, как ты крадешься,   
Чего ты хочешь от меня в полночный час?   
Ответь!   
Ты гнетешь, подавляешь меня.   
О! Ты уже близко!   
Прочь! Прочь!   
Ты прислушиваешься к моему дыханию,   
Ты подслушиваешь биение сердца,   
Ты, ревнивец! К чему ты ревнуешь меня?   
Прочь! Прочь!   
А эта лестница – зачем она тебе?   
Хочешь проникнуть в сердце?   
В сокровенные помыслы?   
Бесстыдный вор!   
Что ты задумал украсть?   
Что надеешься выведать?   
Что пытаешься выпытать?   
Истязатель!   
Бог пыток и казней!   
Или должен я, как собака,   
Пред тобой пресмыкаться   
И всецело предаться тебе, виляя хвостом?

Напрасно! Уязви же сильнее,   
Жесточайшее жало!   
Нет, я не пес твой, я – твоя дичь,   
Ужасный охотник!   
Я – самый гордый из плененных тобой,   
Сокрытый тучами разбойник!   
Говори же,   
Таящийся в молниях!   
Подстерегающий на дорогах!   
Что надобно тебе, Неведомый?

Как? Ты хочешь выкупа? Что я могу тебе дать?   
"Потребуй многого", – советует гордость!   
"Будь сдержан", – внушает другая.   
Так это – я?   
Ты жаждешь получить – *меня!*   
Меня всего?..   
И при этом ты продолжаешь пытать меня?   
О, безумный, ты унижаешь мое достоинство!   
Дай мне любви – кто обогреет меня?   
Кто меня еще любит?   
Дай мне тепла твоих рук,   
Дай пылающих углей остывшему сердцу!   
Добавь одинокому льда!   
Ибо семь леденящих покровов   
Научили меня тосковать по врагам,   
Покорись мне, злокозненный!   
Дай мне – себя!

Умчался прочь!   
Покинул меня единственный, последний друг,   
Первый недруг,   
Неведомый Бог,   
Бог пыток и казней!

– Нет! Вернись!   
Вернись со всеми муками!   
Вернись к последнему из одиноких!   
Потоки слез моих стремятся за тобой   
И пламя сердца!   
О вернись, мой неведомый Бог!   
Моя боль   
И последнее счастье!

2.

Но тут Заратустра не смог больше сдерживать себя, схватил свой посох и что есть силы стал бить хнычущего чародея. "Перестань! – воскликнул он со злым смехом, – перестань, ты, комедиант! Фальшивомонетчик! Закоренелый лжец! Я вижу тебя насквозь!

Я живо тебя сейчас взгрею, подлый колдун, это я умею – разогревать таких, окоченевших, вроде тебя!"

"Оставь! – вскричал старик, вскакивая с земли. – Не бей меня больше, о Заратустра! Я разыгрывал тебя!

Это – одно из проявлений искусства моего; я хотел испытать тебя, подвергнув этому искусу! И поистине, ты раскусил меня!

Но и сам ты – ты немало дал мне узнать о себе: ты жесток, мудрый Заратустра! Жестоко бьешь ты своими "истинами", и твоя дубина выбил *эту* истину из меня!"

"Не льсти, – отвечал Заратустра, все еще гневаясь, и мрачно взглянул на него, – не льсти мне, закоренелый фигляр! Ты лжив: тебе ли говорить об истине!

Ты, павлин из павлинов, ты, море тщеславия, что разыгрывал ты передо мной, в кого должен был поверить я, когда ты плакался передо мной в таком жалком обличье?"

"Я разыгрывал *кающегося духом,* – сказал старик, – ты сам выдумал некогда это выражение,

– поэта и чародея, который кончает тем, что обращает дух свой против себя самого, я разыгрывал преображенного, который замерзает от своего неведения и дурной совести.

И признайся же, Заратустра: ведь не сразу разгадал ты мои ложь и притворство! Ты *поверил* в горе мое, когда обеими руками поддерживал голову мою,

– я слышал, как ты сокрушался: "Его слишком мало любили, слишком мало любили!". И тайно радовалась злоба моя, что сумел я так ловко тебя обмануть".

"Ты обманывал и более проницательных, нежели я, – резко ответил Заратустра. – Я не остерегаюсь обманщиков, *я должен* жить без осторожности: так хочет судьба моя.

Ты же – должен обманывать: настолько я знаю тебя! Твои слова должны всегда иметь два, три, четыре и более смыслов. И то, в чем ты признался сейчас, не было до конца ни правдой, ни ложью!

Ты, подлый фальшивомонетчик, разве можешь ты иначе? Ты и болезнь свою скроешь под гримом, если придется тебе показаться нагим врачу своему.

Так и сейчас приукрасил ты передо мной ложь свою, говоря: "Я *нарочно* разыгрывал все это!" В этом было и нечто серьезное, и в тебе самом есть что-то от кающегося духом!

Я хорошо разгадал тебя: ты опутал чарами всех, но для себя самого у тебя уже не осталось ни лжи, ни хитрости – ты сам в себе разочарован!

Ты пожинаешь отвращение как единственную истину твою. Все, исходящее из уст твоих, – ложь и фальшь, и лишь сами уста – единственное, что осталось в тебе настоящего, ибо отвращение неотделимо от уст твоих".

"Кто ты такой, что смеешь так говорить со мной, величайшим из ныне живущих? – надменно изрек старый чародей, и зеленая молния сверкнула из глаз его на Заратустру. Но тут же сник он и печально сказал:

"О Заратустра, я устал, претит мне искусство мое и вызывает во мне отвращение, *я не велик* – к чему притворяться! Но тебе хорошо известно – я искал величия!

Я хотел лишь представлять великого человека и многих убедил в величии своем: но ложь эта оказалась выше моих сил. Она сокрушила меня.

О Заратустра, все – ложь во мне, но крушение мое – это *правда!"*

"Это делает тебе честь, – мрачно отвечал Заратустра, глядя в землю. – Это делает тебе честь, что искал ты величия, но это же и выдает тебя. Ты – не велик.

Ты – жалкий, старый чародей, это и есть самое лучшее и правдивое в тебе, и я почитаю тебя за то, что устал ты от себя и сам признал, что не велик.

*За это я* уважаю тебя как кающегося духом: хотя бы на одно мгновение был ты правдив!

Но скажи, чего ищешь ты здесь, среди скал и в лесах моих? И если *ради меня* ты лежал на дороге, в чем ты хотел испытать меня?

– в чем искушал ты *меня?"*

Так говорил Заратустра, и сверкали глаза его. Старый чародей помолчал немного и ответил: "Разве искушал я тебя? Я всего лишь ищу.

О Заратустра, я ищу кого-нибудь правдивого, прямого, простого, недвусмысленного, ищу человека, честного во всем, праведника познания, сосуд мудрости, великого человека!

Разве не знаешь ты это, Заратустра? *Я ищу Заратустру"*.

И тогда наступило долгое молчание, и Заратустра погрузился в глубокое размышление, так что даже закрыл глаза свои. Но затем, когда возвратились к собеседнику мысли его, он взял чародея за руку и сказал ему учтиво, но не без лукавства:

"Ну что ж! Там, наверху, – дорога, что ведет к пещере Заратустры. В ней и ищи того, кого искал ты.

И спроси совета у зверей моих – у орла и змеи: они помогут тебе в поисках твоих. Но пещера моя велика.

Правда, сам я ни разу еще не видел великого человека. Грубы еще глаза даже у самых проницательных для всего великого. Ныне господствует чернь.

Многих встречал я уже, что тянулись вверх и надувались, а народ кричал: "Смотрите, вот великие люди!". Но что толку в кузнечных мехах! В конце концов воздух выходит из них.

В конце концов лопается и лягушка, которая слишком долго надувалась, и воздух выходит из нее. По-моему, неплохая шутка – ткнуть в живот надувшемуся. Внемлите же мне, дети!

Все сегодняшнее принадлежит черни: кто нынче знает, где великое, где малое? У кого поиски величия увенчались успехом? Только у безумцев: им дано это счастье.

Ты ищешь великого человека, странный безумец? Кто *научил* тебя этому? Разве теперь для этого подходящее время? О ты, жалкий искатель, к чему искушаешь меня?"

Так говорил Заратустра, утешенный в сердце своем, и, смеясь, пошел дальше своей дорогой.

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА   
часть четвертая и последняя

– О, кто совершил больше безрассудств, чем милосердные; И что причинило больше страданий, чем безумие сострадательных?   
Горе любящим, еще не достигшим той высоты, которая выше сострадания их!   
Так сказал мне однажды дьявол: "Даже у Бога есть свой ад – это любовь его к людям".   
А недавно я слышал от него: "Бог умер, из-за сострадания своего к людям умер он".

*Заратустра. "О сострадательных"*

ЖЕРТВА МЕДОВАЯ

И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, а он не замечал этого; но волосы его поседели. Однажды сидел он на камне рядом с пещерой своей и молча смотрел вдаль, на вздымавшиеся пучины морские; звери его задумчиво ходили вокруг и, наконец, остановились перед ним.

"О Заратустра, – сказали они, – не высматриваешь ли ты счастье свое?" – "Что мне счастье! – отвечал Заратустра. – Давно уже не стремлюсь я к счастью – я стремлюсь к делу своему". – "О Заратустра, – продолжали звери, – ты говоришь так, словно сверх меры преисполнен блага. Ты как будто плывешь в лазоревом озере счастья!" – "Ах вы, хитрецы, – отвечал Заратустра, улыбаясь, – какой удачный образ выбрали вы! Однако вы знаете, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну: оно гнетет и не отстает от меня, словно растопленная смола".

Тогда звери снова стали ходить вокруг в раздумье и затем опять остановились перед ним. "О Заратустра, – говорили они, – так вот почему становишься ты все желтей и темней, хотя волосы твои белеют и делаются похожими на лен? Взгляни, ты и вправду словно покрыт смолой!" – "Что вы такое говорите, звери мои, – смеясь, отвечал Заратустра, – поистине, оклеветал я счастье свое, сравнив его со смолой. Со всеми плодами, которые созревают, происходит то же, что и со мной. Это – мед в жилах моих; он делает кровь мою гуще, а душу – спокойнее". – "Должно быть, так и есть, – ответили звери, приближаясь к нему, – а не хочешь ли ты подняться сегодня на высокую гору? Воздух прозрачен, и с горы мир виден лучше, чем когда-либо". – "Да, звери мои, – отвечал он, – прекрасен совет ваш и по сердцу мне он: я поднимусь на высокую гору! Но позаботьтесь о том, чтобы был у меня мед – желтый, чистый, прозрачный, холодный, как лед, золотистый сотовый мед. Ибо знайте, – там, наверху, хочу принести я жертву медовую."

Но когда Заратустра достиг вершины горы, он отослал зверей, сопровождавших его, домой и, убедившись, что остался один, рассмеялся от всего сердца и сказал, оглянувшись вокруг:

"Я говорил о жертвах и о жертве медовой; но это было только уловкой и, поистине, полезным чудачеством! Здесь, наверху, могу говорить я свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их.

Жертвовать? Скорее расточаю я то, что дарят мне, я – расточитель с тысячью рук: как посмею я назвать это жертвой!

И когда желал я меда, я желал только притравы и сладкого, густого медового сока, которым лакомятся ворчуны-медведи и диковинные хищные птицы:

– лучшей притравы, столь необходимой охотникам и рыболовам. Ибо если похож этот мир на лес, населенный дикими зверями, и на охотничьи угодья, то, по-моему, еще больше похож он на бездонное и изобильное море,

– на море, полное пестрых рыб и крабов, море, которому возрадовались бы даже боги и захотели бы сами стать рыболовами и забрасывать сети свои: так богат этот мир большими и малыми чудесами!

Особенно человеческий мир, человеческое море: в него закидываю я золотую удочку свою и говорю: разверзнись, человеческая бездна!

Разверзнись и выброси мне рыб и сверкающих крабов! Лучшей притравой своей приманю я сегодня самых диковинных человеческих рыб!

– само счастье свое я закидываю вдаль, во все края, между восходом, зенитом и закатом, чтобы увидеть, много ли рыб среди людей станет биться и дергаться на приманке счастья моего,

– пока, попавшись на острые, скрытые крючки мои, не придется достигнуть им всем – этим разноцветным пескарям бездны – высоты моей, высоты самого яростного ловца человеков [[**1**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-1)] и рыб.

Ибо таков я изначально, влекущий и манящий, тянущий вверх и возвышающий, воспитатель и надсмотрщик, который не напрасно внушал некогда сам себе: "Будь тем, кто ты есть!".

Пусть же теперь поднимаются они *вверх*, ко мне: ибо жду я знамения, возвещающего, что настал час нисхождения моего; а сам я пока еще не спускаюсь в море людское, в которое некогда предстоит мне погрузиться.

Потому и жду я в этих горах, лукавый и насмешливый, без терпения и без нетерпения, а, скорее, как тот, кто разучился даже терпеть, поскольку "терпеть" ему больше уже не приходится. [[**2**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-2)]

Ибо не торопится судьба моя: не иначе, как забыла она обо мне! Или уселась в тени, за каким-нибудь камнем, и ловит мух?

И поистине, за то благодарен я вечной судьбе моей, что она не подгоняет, и не торопит меня, и не жалеет она времени для шуток и злости: вот и сегодня взошел я на эту высокую гору, чтобы заняться рыбной ловлей.

Когда-либо ловил ли кто-нибудь рыбу в высоких горах? Но как ни безумно то, чем занят я тут, наверху: это все-таки лучше, чем сидеть там, внизу, – торжественным, пожелтевшим и позеленевшим от ожидания,

– надутым от ожидания и пышущим гневом, как завывание священной бури, нетерпеливо несущейся с гор в долины с воплями: "Слушайте, не то я ударю вас божьим бичом!".

Нет во мне неприязни к этим гневливым: ибо годятся они для насмешек моих! Они и должны быть столь нетерпеливыми, эти огромные, гремящие барабаны: а вдруг, если сегодня не дадут им слова, не получить им его никогда?

Но я и судьба моя, мы не обращаемся ни к "Сегодня", ни к "Никогда": у нас есть терпение и время, и даже избыток того и другого, чтобы говорить. Ибо некогда должен придти он, и нас он тогда не минует.

Кто же это должен прийти и нас не минует? – Наш Великий Случай, наше великое, грядущее царство земное, тысячелетнее царство Заратустры.

Далеко ли еще до него, до этого царства? Какое мне дело! Однако не слабеет от этого верность моя – на этом стою я, и стою прочно, обеими ногами,

– на этом вечном основании, на твердых первозданных камнях, на высочайших твердынях древних гор, где ветры сходятся, как у предела бурь, вопрошая – где? куда? откуда?

Смейся, смейся, благая ярость моя! Сбрасывай вниз в долины свой сверкающий презрением смех! Самых прекрасных рыб среди людей примани мне сверканием своим!

И все, что принадлежит мне во всех морях, то, что во всем – мое-и-для-меня: вылови мне это и извлеки из глубин. Вот чего жду я, злейший из всех ловцов человеков и рыб.

Дальше, дальше, удочка моя! Глубже опускайся, приманка счастья моего! Излей по каплям сладчайшую росу свою, мед сердца моего! Вонзайся, крючок мой, в брюхо всякой черной скорби!

Дальше, дальше, взор мой! О, как много морей вокруг, сколько мерцает огней человеческого будущего! О, какая алая тишина надо мной! Какое безоблачное молчание!"

КРИК О ПОМОЩИ

На следующий день Заратустра опять сидел на камне перед пещерой, в то время как звери блуждали по свету в поисках пищи, а также нового меда: ибо Заратустра истратил и расточил весь старый мед свой до последней капли. И вот – когда сидел он так, с посохом в руке, и обводил им тень свою на земле, и размышлял, – но не о себе и не о тени своей размышлял он, – вздрогнул он вдруг от испуга, ибо рядом со своей тенью увидел чью-то другую. И когда он поспешно обернулся и встал на ноги, перед собой увидел он прорицателя, того самого, что однажды ел и пил за столом у него, того самого провозвестника великой усталости, поучавшего: "Все равно ничто не вознаграждается, мир лишен смысла, знание – душит". Но с тех пор изменилось лицо его, и когда Заратустра взглянул ему в глаза, вновь содрогнулось сердце его: так много зловещих знамений и пепельно-серых молний запечатлелось на этом лице.

И прорицатель, поняв, что творится в душе Заратустры, провел рукой по лицу своему, словно желая напрочь стереть с него эти зловещие знаки; так же поступил и Заратустра. И тогда, придя в себя, они протянули друг другу руки, в знак того, что готовы узнать один другого.

"Добро пожаловать, пророк великой усталости, – сказал Заратустра, – не напрасно был ты некогда гостем и сотрапезником моим. Будь же им и сегодня, ешь и пей за столом у меня, и не взыщи, если рядом с тобой будет сидеть веселый старик!" – "Веселый старик? – переспросил прорицатель, покачав головой, – кто бы ты ни был и кем бы ни захотел стать, о Заратустра, слишком долго жил ты здесь, наверху, – скоро уже не будет сушей то место, где стоит челн твой!" – "А разве я на суше?" – отвечал Заратустра, смеясь. – "Волны великого бедствия и скорби поднимаются все выше и выше вокруг горы твоей, – сказал прорицатель, – скоро подхватят они челн твой, и тебя унесут вместе с ним". – Заратустра молчал и удивлялся. – "Разве ты не слышишь? – продолжал прорицатель, – не слышишь клокочущий шум, поднимающийся из глубины?" – Заратустра все еще молчал и прислушивался: и вот – услышал он долгий протяжный крик, который пучины бросали друг другу, передавая все дальше и дальше, ибо ни одна не желала оставить его у себя: так зловеще звучал он.

"Ты, роковой провозвестник, – сказал, наконец, Заратустра, – это же крик о помощи, крик человека, и, похоже, доносится он из темных глубин неведомого моря. Хотя какое мне дело до человеческих бед! Но последний грех, что остался во мне, – знаешь ли ты имя его?"

*"Сострадание!* – отвечал прорицатель из глубин сокрушенного сердца, подняв вверх руки свои. – О Заратустра, я пришел, чтобы ввести тебя в последний твой грех!"

И едва произнес он эти слова, как снова раздался крик, еще протяжнее и тоскливее, чем раньше, но уже намного ближе. – "Ты слышишь? Слышишь, Заратустра? – воскликнул прорицатель, – это тебя, тебя призывает этот крик: "Иди, иди, иди, пора, давно пора!".

Но Заратустра молчал, смятенный и потрясенный; наконец он спросил, словно сомневаясь в себе самом: "Кто же это зовет меня?"

"Тебе ли не знать этого, – резко отвечал прорицатель, – зачем ты прячешься? Это *высший человек* взывает к тебе!"

"Высший человек? – воскликнул Заратустра, охваченный ужасом. – Чего же он хочет? Что нужно ему? Высший человек! Что ему нужно здесь?" – и тело его покрылось потом.

Прорицатель же не отвечал на испуганные восклицания Заратустры, а продолжал вслушиваться в зов глубин. Но оттуда долго не доносилось ни звука, тогда он обернулся и увидел, что Заратустра все еще стоит, не двигаясь с места, и дрожь бьет его.

"О Заратустра, – проговорил он, – ты не похож на человека, который от счастья кружится на месте: чтобы не упасть, придется тебе танцевать!

Но даже если ты и захочешь танцевать и выделывать на канате трюки, все равно никто не скажет: "Смотрите, вот танцует последний веселый человек!"

Тот, кто *его* ищет здесь, напрасно поднялся на эти высоты: пещеры найдет он и скрывающихся в них, а также убежища для тех, кто спасается бегством, но не обнаружит ни тайников, ни сокровищниц счастья, ни новых золотоносных жил его.

Счастье – не обрести его у отшельников, заживо похоронивших себя! Неужели придется искать мне последнее счастье на блаженных островах, среди далеких забытых морей?

Хотя все равно ничто не вознаграждается, всякие искания бесполезны, не существует более блаженных островов!"

Так вздыхал прорицатель; но с последним вздохом его к Заратустре вернулись спокойствие и уверенность, словно он из глубокого ущелья снова вышел на свет. "Нет! Нет! Трижды нет! – воскликнул он бодрым голосом, поглаживая бороду, – *это мне* хорошо известно! Существуют еще блаженные острова! Уж лучше молчи об этом, ты, мешок печалей и воздыханий!

Перестань болтать, ты, полуденная дождевая туча. Разве не видишь, что промок я уже от печалей твоих, словно собака, которую окатили водой?

Отряхнусь-ка я и сбегу от тебя, чтобы высохнуть, – так что не удивляйся! Или сочтешь ты это невежливым? Но тут мои владения.

А высшего человека я тотчас разыщу в тех лесах, откуда, быть может, доносился крик его. Быть может, его преследует какой-нибудь лютый зверь.

Он – в моих владениях: здесь с ним не случится несчастья! Действительно, немало тут у меня лютых зверей".

И с этими словами Заратустра направился к лесу. Тогда прорицатель сказал: "О Заратустра, ты – плут!

Я понял: ты хочешь избавиться от меня! Ты предпочитаешь уйти в лес, к диким зверям!

Но тебя это не спасет! Вечером снова буду я здесь; я усядусь в пещере твоей и буду сидеть, терпеливый, тяжелый, словно колода, и ждать тебя!"

"Да будет так! – крикнул Заратустра уже издали. – И пусть все мое в этой пещере принадлежит и тебе, дорогому гостю моему!

Если найдешь ты мед, – ну что ж! лижи его, ворчливый медведь, и услаждай душу свою! А вечером оба мы будем веселы,

– веселы и довольны, что день этот кончился! И будешь ты плясать под песни мои, словно ученый медведь.

Ты сомневаешься? Ты качаешь головой? Ну что ж, посмотрим, старый ворчун! Ведь и я – тоже прорицатель!"

Так говорил Заратустра.

БЕСЕДА С КОРОЛЯМИ

1.

Заратустра не был еще и часу в пути по горам и лесам своим, как вдруг увидел престранное шествие. Посреди дороги, по которой хотел он спуститься, шли два короля, в коронах и украшенные пурпурными поясами, пестрые, словно фламинго: перед собой они гнали нагруженного осла. "Что надо этим королям в моем царстве?" – изумленно сказал Заратустра в сердце своем и поспешил спрятаться за куст. Но когда короли поравнялись с ним, он произнес вполголоса, словно обращаясь к самому себе: "Странно! Странно! Как увязать одно с другим? Двух королей вижу я – но только одного осла!".

Тогда те двое остановились, с улыбкой глядя в ту сторону, откуда донесся голос, и повернулись друг к другу. "Так же думают многие и среди нас, – сказал король, что шел справа, – но они не высказывают этого вслух".

А король слева, пожав плечами ответил: "Это, вероятно, пастух, пасущий коз. Или отшельник, долго живший среди скал и деревьев. Да, отсутствие общества портит самые добрые нравы".

"Добрые нравы? – сердито и с горечью возразил другой король. – Так от чего же мы бежим? Не от "добрых" ли нравов? Не от нашего ли "высшего общества"?

Поистине лучше уж жить среди отшельников и пастухов, чем в кругу нашей раззолоченной, лживой, нарумяненной черни, которая называет себя "высшим обществом",

– которая называет себя "аристократией". Но все в них лживо, и даже сама их кровь – из-за застарелых дурных болезней и еще более дурных исцелителей.

Теперь я предпочитаю им всем крестьянина: он груб и хитер, упрям и вынослив: ныне это самый благородный тип.

Крестьяне – вот кто ныне лучшие из людей; они и должны господствовать! Однако теперь – царство толпы, и я уже не обольщаюсь. Толпа же – это мешанина и неразбериха.

У них все перемешано: святой с негодяем, дворянин с евреем, и все зверье из Ноева ковчега.

Добрые нравы! Все у нас лживо и прогнило насквозь. Никто уже не способен к почитанию: как раз *от этого* мы и бежим. Всюду эти назойливые заискивающие псы, покрывающие позолотой пальмовые листья.

Отвращение душит меня оттого, что мы, короли, сами стали ненастоящими, что мы прячемся под одеждами ветхого, раззолоченного дедовского великолепия, что для глупцов и пройдох и для всех, кто вовлечен сегодня в мелочную торговлю властью, мы не более чем профили на монетах!

Мы – не первые среди людей, но должны разыгрывать эту роль для толпы: и от этой лжи пресыщение и отвращение овладели нами.

Мы ушли, наконец, от этого сброда, от всех этих крикунов и от мушиной пачкотни грязных писак, от смрада торгашей, от судорог честолюбия и от зловонного дыхания – тьфу! жить среди этой сволочи!

– тьфу! играть роль первых среди этой сволочи! О отвращение! Отвращение! Отвращение! Во что превратились мы, нынешние короли!"

"Это приступ твоей застарелой болезни, – сказал король слева, – это приступ отвращения, бедный мой брат. Однако, по-моему, кто-то подслушивает нас".

Заратустра, с напряженным вниманием слушавший эти речи, тотчас вышел из убежища своего, подошел к королям и сказал:

"О короли, тот, кто слушает вас, и слушает весьма охотно, зовется Заратустрой.

Я – Заратустра, я тот, кто сказал некогда: "Кому ныне дело до королей!" Не взыщите, но возрадовался я, услышав, как вы говорите друг другу: "Кому ныне дело до нас, королей!"

Но здесь мое царство и моя держава: что ищете вы здесь? Однако, быть может, дорогой вы *нашли* то, что ищу я, – высшего человека".

Услышав это, короли ударили себя в грудь и сказали в один голос: "Нас узнали!

Мечом этого слова рассекаешь ты густой мрак сердец наших. Ты угадал печаль нашу, ибо, видишь ли, для того и пустились мы в путь, чтобы найти высшего человека,

– человека, который был бы выше нас: хотя мы и короли. Ему ведем мы этого осла. Ибо высший человек должен быть и высшим властелином на земле.

Нет более жестокого несчастья в судьбе человеческой, чем когда властители земли – не первые среди подданных своих. И все тогда становится лживым, превратным и ужасающим.

Когда же они становятся последними и из людей превращаются в скотов, тогда чернь все более поднимается в цене, пока, наконец, добродетель ее не провозгласит: "Смотрите, только я одна – добродетель!"

"Что слышу я? – отвечал Заратустра. – Как мудры короли! Я восхищен и поистине с удовольствием переведу на язык рифм то, о чем говорилось:

– хотя стихи эти и не для всяких ушей и вряд ли понравятся всем. Но я давно уже не обращаю внимания на длинные уши. Итак, вот они!

(Но тут и осел заговорил: отчетливо и не без злого умысла он произнес – "И-А"). [[**3**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-3)]

Однажды – в первый год от Рождества Христа –   
Сивилла, опьянев, но без вина, вещала:   
"О горе! Как все обветшало!   
Как низко опустился мир!   
В блудницу превратился Рим,   
Во всем упадок и развал,   
Пал Цезарь до скота,   
Сам Бог – евреем стал!"

2.

Короли наслаждались стихами Заратустры, а тот, что справа, сказал: "О Заратустра, как хорошо сделали мы, отправившись повидать тебя!

Ибо враги твои в своем зеркале показали нам образ твой: и в том зеркале явился ты в облике демона, с язвительной усмешкой, так что убоялись мы тебя.

Но и это не помогло! Снова и снова продолжал ты уязвлять нам сердца и уши своими речениями. Наконец, мы решили: не все ли равно, как он выглядит!

Надо *услышать* того, кто поучает: "Вы должны любить мир лишь как средство к новой войне, и мир короткий – сильнее, чем мир продолжительный!".

Никто еще не произносил столь воинственных слов: "Что такое – добро? Добро – это быть храбрым. Благо войны освящает всякую цель".

О Заратустра, при этих словах кровь отцов взволновалась в жилах наших: словно сама весна обратилась с речью своей к бочкам, наполненным старым вином.

Когда мечи перекрещивались с мечами, подобно обагренным кровью змеям, тогда любили жизнь отцы наши; мирное солнце в мирном небе казалось им безжизненным и холодным, а долгий мир был позором для них.

Как вздыхали они, отцы наши, видя на стене блестящие, притупленные мечи! Подобно мечам этим, жаждали они войны. Ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от страстного желания."

Пока короли с жаром, увлеченно говорили о счастье отцов своих, Заратустрой овладело сильное желание посмеяться над пылом их, ибо было очевидно, что короли эти – с благородными, тонкими чертами лица – вполне миролюбивы. Однако же превозмог он себя. "Ну что ж! – сказал он. – Вот дорога, ведущая к пещере Заратустры; долог будет вечер сегодняшнего дня! А теперь покину я вас: меня призывает крик о помощи.

Это честь для пещеры моей, что даже сами короли воссядут в ней и будут ждать, однако же долго придется им ждать!

Ну что ж! Ничего не поделаешь! Где ныне лучше всего обучаются ожиданию, как не при дворе? И вся добродетель королей, какая еще осталась у них, не гласит ли она: *уметь* ждать?"

Так говорил Заратустра.

ПИЯВКА

Заратустра, занятый своими мыслями, пошел дальше, спускаясь с гор, по лесам, мимо болотистых мест; и, как это может случиться со всяким, кто размышляет о трудном и нелегком, он нечаянно наступил на кого-то. И вот – разом посыпались ему в лицо крик боли, два проклятья и двадцать два скверных ругательства, так что Заратустра в испуге замахнулся палкой и к тому же ударил того, на кого наступил. Но он тотчас овладел собой, и сердце его смеялось над глупостью, которая только что совершилась.

"Прости, – сказал он приподнявшемуся с мрачным видом человеку, – не сердись и выслушай прежде всего такую притчу.

Подобно путнику, мечтающему о чем-то далеком, который на пустынной улице нечаянно толкает ногой спящую на солнце собаку;

– и подобно тому, как оба они вскакивают и бросаются друг на друга, словно смертельные враги, оба перепуганные насмерть, – точно так же случилось и с нами.

И все же – много ли надо, чтобы они отнеслись друг к другу с лаской. Ведь оба они – одинокие!"

"Кто бы ты ни был, – все еще гневаясь, отвечал незнакомец, – ты больно задел меня не только ногой, но и этим сравнением!

Взгляни, разве я собака?" – И с этими словами сидящий поднялся и вытащил голую руку свою из болота. А до этого он, притаившись и припав к земле, лежал у воды, словно охотник, выслеживающий дичь.

"Что с тобой? – воскликнул Заратустра в испуге, ибо увидел, что по руке незнакомца ручьями льется кровь, – что ты делаешь здесь, несчастный? Не укусы ли это какой-то мерзкой, подлой твари?"

Но истекающий кровью улыбнулся, хотя и не прошел еще гнев его. "Какое тебе дело? – ответил он, собираясь уходить. – Здесь я у себя дома, в своих владениях. Пусть меня спрашивает, кто хочет: но всякому болвану я не собираюсь отвечать".

"Ты ошибаешься, – с состраданием в голосе сказал Заратустра, удерживая его, – ты здесь не у себя, но в моем царстве, а тут ни с кем не должно случиться ничего дурного.

Называй меня как хочешь, – я тот, кем должен быть. Сам же я называю себя Заратустрой.

Вот что! Там, наверху, дорога ведет к пещере моей – это недалеко; не хочешь ли ты перевязать у меня свои раны?

Не повезло тебе в этой жизни, несчастный: сначала тебя ранил зверь, потом на тебя наступил человек!"

Но услышав имя Заратустры, пострадавший преобразился. "Какое везение! – воскликнул он. – Если что и привязывает меня еще к жизни, возбуждая мой интерес, то это один-единственный человек – Заратустра – и одна-единственная тварь – пиявка.

Ради этого и лежу я у болота, словно рыболов, и вот уже раз десять впивалась пиявка в руку мою, теперь же куда более прекрасного зверя привлекла кровь моя – самого Заратустру!

О счастье! О чудо! Да будет благословен тот день, что привел меня к этому болоту! Да будет благословенна наилучшая, сильнейшая из пиявок, ныне живущих, да будет благословенна пиявка совести – Заратустра!"

Так говорил незнакомец; и Заратустра радовался словам его и почтительной манере речи. "Кто ты? – спросил он, протягивая ему руку. – Еще много между нами невыясненного и неясного, но, кажется, светлый и погожий день уже наступает".

"Я – *совестливый духом,* – отвечал тот, – и в том, что касается духа, трудно найти человека, более строгого, твердого и целеустремленного, чем я, кроме того, у кого я учился, – я говорю о Заратустре.

Лучше не знать ничего, чем многое – наполовину! Лучше на свой страх и риск быть дураком, чем мудрецом за счет чужих мнений! Я доискиваюсь основы:

– неважно, мала она или велика, называется болотом или небом. Пусть основа эта будет хотя бы в руку шириной – с меня достаточно: лишь бы была она основанием, на котором можно утвердиться!

– пусть хоть в руку шириной: на ней можно утвердиться. В истинно совестливом познании нет большого и малого".

"Так, может быть, ты – исследователь пиявок? – спросил Заратустра. – Может быть, ты, совестливый духом, до последних основ исследуешь пиявку?"

"О Заратустра, – отвечал совестливый духом, – это было бы слишком, если бы решился я на это!

Если что и познал я, так это мозг пиявки: это – *мой* мир!

Поистине, это целый мир! Но прости, здесь говорит уже гордость моя, ибо в этом нет мне равных. Потому и сказал я, что тут – я у себя дома.

Давно уже исследую я эту единственную вещь, мозг, пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня! Здесь – мое царство!

– ради этого я пожертвовал всем, из-за одного этого все стало мне безразличным; и рядом со знанием моим – тьма невежества.

Совесть духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь одно и не знал ничего другого: мне отвратительны все половинчатые духом, все туманные, выспренние, мечтательные.

Там, где кончается честность моя, я слеп, и хочу быть слепым. Но там, где желаю я знать, хочу я быть честным, а значит – строгим, твердым, целеустремленным, жестоким и неумолимым.

Ты сказал некогда, о Заратустра: "Дух есть жизнь, которая сама надрезывает жизнь"; это привлекло меня и привело к учению твоему. И поистине, собственной кровью умножил я знание свое!"

"И это очевидно", – отвечал Заратустра: ибо с руки совестливого духом все еще лилась кровь. Десять пиявок впились в руку его.

"О ты, странный товарищ, сколь многому учит меня такая очевидность – ты сам! И быть может, не все осмелился бы я доверить слуху твоему, столь взыскательному!

Ну что ж! Здесь мы и расстанемся! Но я хочу снова увидеться с тобой. Там, наверху, дорога к пещере моей: этой ночью будешь ты желанным гостем моим!

Я хочу исцелить также и раны тела твоего, на которое я наступил: я еще подумаю об этом. А теперь мне надо спешить – меня призывает крик о помощи!"

Так говорил Заратустра.

ЧАРОДЕЙ

1.

Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел неподалеку, на ровной дороге, человека, который корчился, как бесноватый, и, наконец, бросился ничком на землю. "Постой! – сказал Заратустра в сердце своем, – должно быть, это и есть тот высший человек, чей мучительный крик о помощи слышал я; надо взглянуть, нельзя ли чем-нибудь помочь ему". Но сбежав вниз, к тому месту, где лежал человек, он увидел перед собой старика: дрожь била его, и взор был неподвижен, и как ни старался Заратустра поднять его на ноги, все было тщетно. Казалось, несчастный даже не замечал, что рядом с ним кто-то есть; было жалко смотреть, как он с жестами отчаяния озирался по сторонам, словно покинутый целым миром и безмерно одинокий. Наконец, после всех этих корчей и мучительных судорог, он стал причитать:

О, кто меня отогреет? Кто меня еще любит?   
Дайте тепла ваших рук,   
Дайте пылающих углей остывшему сердцу!   
Едва живой,   
Бьюсь в приступе неведомой болезни, –   
Раскаленные иглы всепроникающего холода   
Пронзают плоть,   
Я трепещу –   
Ты, Мысль, преследуешь меня!   
Охотник, скрытый тучами!   
Ужасный! Безымянный!   
Твой презрительный взгляд поразил меня молнией   
Из непроглядной тьмы,   
И вот лежу я в мучительных судорогах   
И все извечные скорби и муки постигли меня,   
Жестокий охотник,   
Неведомый Бог!   
Рази сильнее, глубже!   
Пронзи, разбей мне сердце!   
О, почему терзаешь ты меня тупыми стрелами?   
Что еще увидел во мне   
Твой злорадный, твой молниеподобный взгляд,   
Взгляд Божества, что никогда не пресытится зрелищем мук?   
Нет, не погибели моей ты жаждешь,   
А страданий!   
Зачем *меня* – терзаешь,   
Неведомый, злорадный Бог?   
Я чувствую, как ты крадешься,   
Чего ты хочешь от меня в полночный час?   
Ответь!   
Ты гнетешь, подавляешь меня.   
О! Ты уже близко!   
Прочь! Прочь!   
Ты прислушиваешься к моему дыханию,   
Ты подслушиваешь биение сердца,   
Ты, ревнивец! К чему ты ревнуешь меня?   
Прочь! Прочь!   
А эта лестница – зачем она тебе?   
Хочешь проникнуть в сердце?   
В сокровенные помыслы?   
Бесстыдный вор!   
Что ты задумал украсть?   
Что надеешься выведать?   
Что пытаешься выпытать?   
Истязатель!   
Бог пыток и казней!   
Или должен я, как собака,   
Пред тобой пресмыкаться   
И всецело предаться тебе, виляя хвостом?

Напрасно! Уязви же сильнее,   
Жесточайшее жало!   
Нет, я не пес твой, я – твоя дичь,   
Ужасный охотник!   
Я – самый гордый из плененных тобой,   
Сокрытый тучами разбойник!   
Говори же,   
Таящийся в молниях!   
Подстерегающий на дорогах!   
Что надобно тебе, Неведомый?

Как? Ты хочешь выкупа? Что я могу тебе дать?   
"Потребуй многого", – советует гордость!   
"Будь сдержан", – внушает другая.   
Так это – я?   
Ты жаждешь получить – *меня!*   
Меня всего?..   
И при этом ты продолжаешь пытать меня?   
О, безумный, ты унижаешь мое достоинство!   
Дай мне любви – кто обогреет меня?   
Кто меня еще любит?   
Дай мне тепла твоих рук,   
Дай пылающих углей остывшему сердцу!   
Добавь одинокому льда!   
Ибо семь леденящих покровов   
Научили меня тосковать по врагам,   
Покорись мне, злокозненный!   
Дай мне – себя!

Умчался прочь!   
Покинул меня единственный, последний друг,   
Первый недруг,   
Неведомый Бог,   
Бог пыток и казней!

– Нет! Вернись!   
Вернись со всеми муками!   
Вернись к последнему из одиноких!   
Потоки слез моих стремятся за тобой   
И пламя сердца!   
О вернись, мой неведомый Бог!   
Моя боль   
И последнее счастье!

2.

Но тут Заратустра не смог больше сдерживать себя, схватил свой посох и что есть силы стал бить хнычущего чародея. "Перестань! – воскликнул он со злым смехом, – перестань, ты, комедиант! Фальшивомонетчик! Закоренелый лжец! Я вижу тебя насквозь!

Я живо тебя сейчас взгрею, подлый колдун, это я умею – разогревать таких, окоченевших, вроде тебя!"

"Оставь! – вскричал старик, вскакивая с земли. – Не бей меня больше, о Заратустра! Я разыгрывал тебя!

Это – одно из проявлений искусства моего; я хотел испытать тебя, подвергнув этому искусу! И поистине, ты раскусил меня!

Но и сам ты – ты немало дал мне узнать о себе: ты жесток, мудрый Заратустра! Жестоко бьешь ты своими "истинами", и твоя дубина выбил *эту* истину из меня!"

"Не льсти, – отвечал Заратустра, все еще гневаясь, и мрачно взглянул на него, – не льсти мне, закоренелый фигляр! Ты лжив: тебе ли говорить об истине!

Ты, павлин из павлинов, ты, море тщеславия, что разыгрывал ты передо мной, в кого должен был поверить я, когда ты плакался передо мной в таком жалком обличье?"

"Я разыгрывал *кающегося духом,* – сказал старик, – ты сам выдумал некогда это выражение,

– поэта и чародея, который кончает тем, что обращает дух свой против себя самого, я разыгрывал преображенного, который замерзает от своего неведения и дурной совести.

И признайся же, Заратустра: ведь не сразу разгадал ты мои ложь и притворство! Ты *поверил* в горе мое, когда обеими руками поддерживал голову мою,

– я слышал, как ты сокрушался: "Его слишком мало любили, слишком мало любили!". И тайно радовалась злоба моя, что сумел я так ловко тебя обмануть".

"Ты обманывал и более проницательных, нежели я, – резко ответил Заратустра. – Я не остерегаюсь обманщиков, *я должен* жить без осторожности: так хочет судьба моя.

Ты же – должен обманывать: настолько я знаю тебя! Твои слова должны всегда иметь два, три, четыре и более смыслов. И то, в чем ты признался сейчас, не было до конца ни правдой, ни ложью!

Ты, подлый фальшивомонетчик, разве можешь ты иначе? Ты и болезнь свою скроешь под гримом, если придется тебе показаться нагим врачу своему.

Так и сейчас приукрасил ты передо мной ложь свою, говоря: "Я *нарочно* разыгрывал все это!" В этом было и нечто серьезное, и в тебе самом есть что-то от кающегося духом!

Я хорошо разгадал тебя: ты опутал чарами всех, но для себя самого у тебя уже не осталось ни лжи, ни хитрости – ты сам в себе разочарован!

Ты пожинаешь отвращение как единственную истину твою. Все, исходящее из уст твоих, – ложь и фальшь, и лишь сами уста – единственное, что осталось в тебе настоящего, ибо отвращение неотделимо от уст твоих".

"Кто ты такой, что смеешь так говорить со мной, величайшим из ныне живущих? – надменно изрек старый чародей, и зеленая молния сверкнула из глаз его на Заратустру. Но тут же сник он и печально сказал:

"О Заратустра, я устал, претит мне искусство мое и вызывает во мне отвращение, *я не велик* – к чему притворяться! Но тебе хорошо известно – я искал величия!

Я хотел лишь представлять великого человека и многих убедил в величии своем: но ложь эта оказалась выше моих сил. Она сокрушила меня.

О Заратустра, все – ложь во мне, но крушение мое – это *правда!"*

"Это делает тебе честь, – мрачно отвечал Заратустра, глядя в землю. – Это делает тебе честь, что искал ты величия, но это же и выдает тебя. Ты – не велик.

Ты – жалкий, старый чародей, это и есть самое лучшее и правдивое в тебе, и я почитаю тебя за то, что устал ты от себя и сам признал, что не велик.

*За это я* уважаю тебя как кающегося духом: хотя бы на одно мгновение был ты правдив!

Но скажи, чего ищешь ты здесь, среди скал и в лесах моих? И если *ради меня* ты лежал на дороге, в чем ты хотел испытать меня?

– в чем искушал ты *меня?"*

Так говорил Заратустра, и сверкали глаза его. Старый чародей помолчал немного и ответил: "Разве искушал я тебя? Я всего лишь ищу.

О Заратустра, я ищу кого-нибудь правдивого, прямого, простого, недвусмысленного, ищу человека, честного во всем, праведника познания, сосуд мудрости, великого человека!

Разве не знаешь ты это, Заратустра? *Я ищу Заратустру"*.

И тогда наступило долгое молчание, и Заратустра погрузился в глубокое размышление, так что даже закрыл глаза свои. Но затем, когда возвратились к собеседнику мысли его, он взял чародея за руку и сказал ему учтиво, но не без лукавства:

"Ну что ж! Там, наверху, – дорога, что ведет к пещере Заратустры. В ней и ищи того, кого искал ты.

И спроси совета у зверей моих – у орла и змеи: они помогут тебе в поисках твоих. Но пещера моя велика.

Правда, сам я ни разу еще не видел великого человека. Грубы еще глаза даже у самых проницательных для всего великого. Ныне господствует чернь.

Многих встречал я уже, что тянулись вверх и надувались, а народ кричал: "Смотрите, вот великие люди!". Но что толку в кузнечных мехах! В конце концов воздух выходит из них.

В конце концов лопается и лягушка, которая слишком долго надувалась, и воздух выходит из нее. По-моему, неплохая шутка – ткнуть в живот надувшемуся. Внемлите же мне, дети!

Все сегодняшнее принадлежит черни: кто нынче знает, где великое, где малое? У кого поиски величия увенчались успехом? Только у безумцев: им дано это счастье.

Ты ищешь великого человека, странный безумец? Кто *научил* тебя этому? Разве теперь для этого подходящее время? О ты, жалкий искатель, к чему искушаешь меня?"

Так говорил Заратустра, утешенный в сердце своем, и, смеясь, пошел дальше своей дорогой.

В ОТСТАВКЕ

Через некоторое время после того, как Заратустра избавился от чародея, он вдруг увидел, что снова кто-то сидит на дороге, по которой он шел, – какой-то высокий человек в черном, с бледным, изможденным лицом. Заратустра чрезвычайно огорчился, увидев его. "Увы, – сказал он в сердце своем, – вот сидит оно, переодетое уныние; похоже, что человек этот из породы священников: что же *им* нужно в царстве моем?

Как! Едва избавился я от чародея, еще один чернокнижник встал на пути моем,

– какой-то колдун, облеченный властью наложения рук, угрюмый чудотворец, божьей благодатью освященный и посвященный клеветник на жизнь, чтоб его черт побрал!

Но черта нет на месте как раз тогда, когда он нужнее всего: всегда появляется он слишком поздно, этот проклятый хромоногий карлик!"

Так, потеряв терпение, ругался Заратустра про себя, прикидывая, как бы ему свернуть в сторону и проскользнуть мимо черного человека, однако вышло иначе. Тотчас же сидящий на дороге увидел Заратустру, вскочил на ноги, словно внезапная радость обуяла его, и бросился к нему.

"Кем бы ты ни был, путник, – воскликнул он, – помоги старику, заблудившемуся и уставшему от поисков, помоги старику, с которым так легко может приключиться беда!

Незнакомы и чужды мне земли эти, и вой диких зверей слышится мне; и нет больше того, кто защищал меня.

Я искал последнего благочестивого человека, святого и отшельника, единственного, кто в своем лесу не слышал о том, что известно ныне всем".

"Что же ныне известно всем? – спросил Заратустра. – Не то ли, что нет больше в живых старого Бога, в которого некогда верил весь мир?"

"Вот ты и сказал это, – печально ответил старик. – Я же служил этому старому Богу до последнего часа его.

А теперь я – в отставке, без господина, и все же не свободен, и печаль не оставляет меня ни на минуту, а радость приходит только в воспоминаниях.

Потому и поднялся я в эти горы, чтобы, наконец, устроить себе праздник, как подобает последнему Папе и Отцу церкви: ибо знай – я последний Папа! И это будет праздник благочестивых воспоминаний и богослужения!

Но умер и он, тот самый благочестивый человек, святой, живший в лесу, который постоянно славил Бога молитвами и пением.

Самого его я не нашел: а когда обнаружил хижину, только два волка сидели в ней и выли по кончине его; ибо его любили все звери. И я ушел прочь.

Неужели напрасно пришел я в эти горы и леса? И тогда решил я в сердце своем, что стану искать другого, самого благочестивого из тех, кто не верует в Бога, – я решил искать Заратустру!"

Так говорил старик, внимательно вглядываясь в стоящего перед ним; Заратустра же взял руку последнего Папы и долго, с изумлением разглядывал ее.

"Что вижу я, о почтенный! Какая изящная рука! – сказал затем Заратустра. – Это рука человека, неустанно раздававшего благословения. И вот – теперь крепко держит ее тот, кого искал ты, ибо я – Заратустра.

Это я, безбожник Заратустра, который говорил: "Кто безбожнее меня, чтобы возрадовался я наставлению его?".

Так говорил Заратустра, проникая взглядом в мысли и тайные помыслы последнего Папы. И тот сказал, наконец:

"Тот, кто больше всех любил Его и обладал Им, для того Он и потерян теперь окончательно,

– вот, смотри, ныне кто из нас двоих безбожнее? Не я ли? Только вот кто возрадуется этому?"

"Ты служил Ему до конца, – задумчиво проговорил Заратустра после долгого молчания, – тебе известно, *как* Он умер? Правду ли говорят, что сострадание задушило Его,

– когда увидел Он *человека*, висящего на кресте, и не вынес зрелища этого, что любовь Его к человеку стала адом его, а под конец – и смертью?"

Но последний Папа ничего не ответил на это, только робко отвел в сторону взгляд свой, с выражением скорби и уныния на лице.

"Да будет так, – сказал Заратустра, подумав некоторое время и при этом продолжая смотреть старику в глаза. – Да будет так, с Ним покончено. Но, хотя и свидетельствует о чести твоей то, что говоришь ты только благое об этом мертвом, и тебе, и мне хорошо известно, *кем* Он был и как удивительны были пути его".

"Говоря с глазу на два, поскольку у меня он всего один, – оживленно отозвался последний Папа (а он был слеп на один глаз), – в том, что касается Бога, я осведомленнее, чем сам Заратустра, – и по праву.

Много лет служила Ему любовь моя, и воля моя во всем следовала его воле. А хорошему слуге известно все, даже то, что господин его скрывает сам от себя.

Он был сокрытым Богом, преисполненным тайн. Поистине, даже сына своего обрел Он не иначе, как тайными путями. В преддверии веры в Него – прелюбодеяние. [[**4**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-4)]

Тот, кто превозносит Его как Бога любви, не слишком высокого мнения о любви. Разве не хотел этот Бог быть и судьей? Но тот, кто любит, любит невзирая на награду и воздаяние.

Когда был Он юн, этот Бог с Востока, был Он суров и мстителен и создал ад для услады любимцев своих.

Но в конце концов состарился Он и стал мягким, вялым и жалостливым и более стал походить на деда, нежели на отца, а еще больше – на старую дряхлую бабку.

И вот, сидел Он, скорчившись на печке, брюзжал и жаловался на слабость в ногах, уставший от мира, уставший хотеть чего-либо, пока не задохнулся однажды от чрезмерного сострадания своего".

Но тут Заратустра перебил его: "И ты, последний Папа, видел *это* своими глазами? Это могло быть и так; но могло быть и по-другому. Когда умирают боги, всегда многообразна их смерть.

Впрочем, так или иначе, – Он умер! Многое в нем оскорбляло и взор мой, и слух, о наихудшем же я умолчу.

Я люблю все, что смотрит чистым оком и говорит правдиво. Тогда как Он, – а тебе хорошо это известно, старый священник, ибо что-то было в Нем и от вашей породы, от породы священников – Он всегда был неоднозначен.

Был Он к тому же непонятен. Как гневался Он на нас, преисполненный ярости из-за того, что мы плохо Его понимали! Но почему же тогда не говорил Он яснее?

А если виною тому был наш слух, не Он ли виновен в том, что мы не способны были внимать Ему? И если были уши наши забиты грязью, ну что ж! Чьих рук это дело?

Слишком многое не удалось этому горшечнику, который не доучился до конца! Однако же то, что обрушил Он месть на горшки и творения свои, так как плохо они удались Ему, – это было прегрешением против хорошего вкуса.

И в благочестии есть хороший вкус, *и вкус этот* в конце концов провозгласит: "Долой *такого* Бога! Лучше совсем без Бога, лучше на свой страх и риск творить судьбу свою и быть безумцем, лучше самому стать Богом!".

"Что слышу я! – воскликнул тут последний Папа, навострив уши. – О Заратустра, ты, со своим неверием гораздо благочестивее, чем думаешь! Не иначе как нечто божественное в тебе самом сделало из тебя безбожника.

Не само ли благочестие твое не позволяет тебе веровать? А великая честность твоя еще выведет тебя даже за пределы добра и зла!

Взгляни же, что уготовано тебе! Твои глаза, уста и руки от вечности предназначены для благословения. Ибо благословляют не одними только руками.

Хотя ты и настаиваешь на том, что ты безбожник, – находясь близ тебя, я чувствую, как незримо возносится благовонный фимиам благословений: и овладевают мной боль и благоговение.

Позволь мне быть гостем твоим, о Заратустра, на одну эту ночь! Нигде на земле не будет мне так хорошо, как у тебя!".

"Аминь! Да будет так! – ответил Заратустра, глубоко удивленный. – Там, наверху, проходит дорога, там и пещера Заратустры.

Поистине, я бы охотно сам проводил тебя, о почтенный, ибо люблю всех благочестивых. Но сейчас крик о помощи заставляет меня оставить тебя.

Никто не должен терпеть бедствия во владениях моих; пещера моя – добрая гавань. И больше всего люблю я возвращать опечаленным твердую землю, чтобы прочно, обеими ногами стояли они на ней.

Но кто снимет с плеч твоих *твою* тоску? Слишком слаб я для этого. Поистине, долго придется нам ждать, прежде чем кто-либо вновь оживит Бога твоего.

Ибо нет Его больше в живых: Он окончательно мертв".

Так говорил Заратустра.

САМЫЙ БЕЗОБРАЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК

И опять несли Заратустру ноги его по горам и лесам, а глаза его непрестанно искали страждущего в великой беде и взывающего о помощи и нигде не находили его. Однако всю дорогу радовался он в сердце своем, исполненном благодарности. "Сколько хорошего подарил мне сегодняшний день в награду за то, что он так скверно начался! Каких необычных собеседников повстречал я!

Теперь долго буду я пережевывать речи их, словно хорошие хлебные зерна; и зубы мои должны как следует измолоть и истолочь их, пока не потекут они в душу мою, как молоко!"

Но вот дорога вновь обогнула скалу, местность внезапно изменилась, и Заратустра вступил в царство смерти. Словно в оцепенении, застыли здесь черные и красные выступы скал: не было ни травы, ни деревьев, не слышалось пения птиц. Ибо это была долина, которой избегали все звери, даже хищные; только змеи одной породы – безобразные, толстые, зеленые – приползали сюда умирать, когда приходило их время. Поэтому пастухи и называли эту долину "Смертью Змей".

Заратустра погрузился в мрачные воспоминания: ему казалось, что однажды он уже был здесь. И много тяжелого нахлынуло на него, так что шел он все медленнее и медленнее и, наконец, остановился. Но вот, подняв глаза, увидел он у дороги что-то похожее с виду на человека, но едва ли то был человек, – нечто неописуемое и невыразимое. И тотчас охватил Заратустру сильный стыд оттого, что пришлось ему увидеть подобное своими глазами: покраснев до самых корней седых волос своих, он отвернулся и хотел было уже покинуть это злосчастное место. И вдруг мертвая пустыня огласилась звуками: что-то заклокотало и захрипело из земли, подобно тому, как ночью хрипит и клокочет вода в засорившейся водопроводной трубе; наконец, эти звуки обратились в человеческий голос и речь, и таковы были слова ее:

"Заратустра! Заратустра! Разгадай загадку мою! Скажи ответ! Что такое – *месть свидетелю?*

Я предостерегаю тебя, здесь – гладкий и скользкий лед! Смотри, будь внимателен, чтобы гордость твоя не переломала ноги!

Ты мнишь себя мудрым, гордый Заратустра! Так разгадай же эту загадку, ты, разгрызавший и самые твердые орехи! Разгадай загадку, которую я представляю самим собой! Ответь: кто я?"

Но когда Заратустра услышал слова эти, – как вы думаете, что случилось с душой его? *Сострадание овладело им*; и он пал на землю, словно дуб, долго сопротивлявшийся усилиям многих дровосеков, – дуб, что падает грузно, внезапно, пугая даже тех, кто хотел свалить его. Но тут же он снова поднялся, и лицо его стало суровым.

"Конечно же, я узнаю тебя, – произнес он ледяным тоном, – ты – *убийца Бога!* Дай мне пройти.

Ты *не вынес* видевшего тебя, – всегда видевшего насквозь – тебя, самого безобразного человека. И ты отомстил этому свидетелю!"

Так говорил Заратустра и хотел было отправиться дальше; но тот, кому нет названия, ухватился за край его одежды и снова стал клокотать и хрипеть, подыскивая слова. "Останься!" – проговорил он наконец,

– останься! Не проходи мимо! Я угадал, что за топор свалил тебя: хвала тебе, о Заратустра, что ты вновь поднялся!

Я вижу, ты хорошо разгадал душу убийцы – душу убийцы Бога. Останься! Присядь ко мне, ты не пожалеешь об этом!

К кому стремился я, как не к тебе? Останься, сядь! Но не смотри на меня! Почти этим безобразие мое!

Теперь ты – мое последнее прибежище, ибо преследуют меня. Но преследуют не ненавистью своей и не ищейками – о, я смеялся бы над таким преследованием, я бы радовался ему и гордился бы им!

Разве успех не был всегда на стороне преследуемых? А тот, кто преследует добросовестно, кончает тем, что становится последователем, – раз уж он следует по пятам! Но от их сострадания,

– от их сострадания бегу я и прибегаю к тебе. О Заратустра, защити меня, ты – последнее мое прибежище, ты – единственный, кто разгадал меня:

– ты разгадал, каково приходится тому, кто убил *Его*. Останься! А если хочешь уйти, нетерпеливый, не ходи той дорогой, которой шел я. *Эта* дорога губительна.

Ты сердишься, что я слишком долго выворачиваюсь наизнанку? Что я уже советую тебе? Но знай, что у меня, самого безобразного,

– громадные тяжелые ноги. Там, где я прохожу, – путь испорчен. Всякую дорогу запечатлеваю я смертью и позором.

Но по тому, как ты хотел молча пройти мимо меня, по тому, как покраснел ты, – а я и это заметил – я узнал в тебе Заратустру.

Всякий другой словом и взглядом бросил бы мне милостыню – сострадание свое. Но я не настолько нищ, чтобы принять его, – и ты разгадал это,

– я даже слишком *богат*, богат величайшим и ужаснейшим, безобразным и неизреченным! Твой стыд, о Заратустра, *почтил* меня!

С трудом вырвался я из толпы сострадательных, чтобы найти того единственного, кто ныне учит: "Сострадание назойливо", чтобы найти тебя, о Заратустра!

– будь это божеское или человеческое сострадание – оно всегда противно стыду. И нежелание помочь может быть благороднее, чем иная добродетель, тотчас подскакивающая на помощь.

Но как раз сострадание и называется сегодня добродетелью у всех маленьких людей: нет у них благоговения к великому несчастью, великому безобразию, великой неудаче.

Через головы их смотрю я вдаль, как смотрит собака через спины овец, сбившихся в кучу. Все они – маленькие, доброжелательные, мягкошерстные серые людишки.

Как цапля, закинув голову, глядит с презрением на мелкие пруды, так смотрю я на копошащуюся безликую массу ничтожных желаний и душ.

Давно уже признано право за всеми этими маленькими: так что они, наконец, получили и власть и теперь поучают: "Добро – это то, что считают добрым маленькие люди".

А "истиной" признают ныне то, о чем проповедовал тот странный святой и заступник всех маленьких, который и сам вышел из них и свидетельствовал о себе так: "Я есмь истина". [[**5**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-5)]

Это из-за его нескромности давно стали надуваться от важности все мелкие и ничтожные; он не поучал какому-то ничтожному заблуждению, когда учил: "Я есмь истина".

Ответил ли кто-либо учтивее этому гордецу? Но ты, о Заратустра, прошел мимо и сказал: "Нет! Нет! Трижды нет!".

Ты предостерегал от этого заблуждения, ты первый предостерег от сострадания – конечно, не всех, но себя и тех, кто сродни тебе.

Ты стыдишься стыда того великого страдальца; и поистине, когда говоришь ты: "От сострадания надвигается на людей тяжелая туча, берегитесь же!";

– когда поучаешь ты: "Все созидающие безжалостны, всякая любовь выше сострадания": тогда думаю я – как хорошо изучил Заратустра все признаки бури!

Но и сам ты – берегись своего собственного сострадания! Ибо многие уже в пути и направляются к тебе, много страждущих, сомневающихся, отчаявшихся, утопающих, замерзающих.

Остерегайся же и меня. Ты разгадал лучшую – и в то же время худшую из загадок моих, – ты разгадал меня самого, и то, что совершил я. Я знаю, какой топор может свалить тебя.

Но Он – *должен был умереть*: своим всевидящим оком видел Он *все* глубины и основания человека, весь его скрытый позор и безобразие.

Сострадание его не знало стыда: он проникал в самые грязные закоулки мои. Он должен был умереть – тот, кто был столь любопытен, назойлив и так охотно сострадал.

Он постоянно *видел меня*: и я возжелал отомстить такому свидетелю – или не жить самому.

Бог, который видел все, *даже человека*: этот Бог должен был умереть! Ибо *невыносимо* для человека, чтобы был у него подобный свидетель".

Так говорил самый безобразный человек. Заратустра же встал и собрался уйти: ибо холод пронизывал его до самых костей.

"Ты, кому нет названия, – сказал он, – ты предостерегал меня от дороги, которой ты шел. В благодарность за это я советую тебе свою. Взгляни, вон там, наверху, пещера Заратустры.

Обширна и глубока она, и много в ней укромных уголков; даже самый скрытный найдет там убежище. А рядом с пещерой – множество расселин и нор, в которых живут всевозможные звери; те, что прыгают, порхают и ползают.

Ты, изгнанник, изгнавший сам себя, ты не хочешь жить среди людей и их сострадания? Ну что ж! Поступай, как я! Так и научишься у меня; научается только тот, кто действует.

А сначала и прежде всего поговори со зверями моими! Самый гордый зверь и самый мудрый – пусть они будут лучшими советниками нашими!"

Так говорил Заратустра и продолжал путь свой еще задумчивее и медленнее, чем прежде: ибо о многом спрашивал он себя и нелегко давались ему ответы.

"Однако, как все-таки жалок человек, – думал он в сердце своем. – Как безобразен он, как хрипит и как много в нем скрыто стыда!

Говорят, что человек любит себя: о, сколь велика должна быть эта любовь к себе! Как много презрения противостоит ей!

И этот, встретившийся мне, он тоже любил себя, презирая себя, – велика была любовь его, и велико презрение.

Я еще не встречал никого, кто глубже презирал бы себя самого: и это – тоже высота. Увы, может быть, он и был тем самым высшим человеком, крик которого слышал я?

Я люблю тех, кто способен на великое презрение. Однако человек есть нечто, что должно преодолеть".

ДОБРОВОЛЬНЫЙ НИЩИЙ

Когда Заратустра покинул самого безобразного человека, ему стало холодно, и он почувствовал себя одиноким: ибо так много холода и одиночества пережил он в сердце своем, что и сам окоченел от холода. Но пробираясь все дальше и дальше, то вверх,то снова вниз, миновав зеленый луг и дикое каменистое русло, где когда-то пробегал нетерпеливый ручей, он вдруг почувствовал, что согрелся и на сердце у него стало теплее.

"Что со мной? – спрашивал он себя. – Меня укрепляет что-то теплое и живое, что, должно быть, находится где-то неподалеку.

Я уже не так одинок; неведомые спутники и братья витают вокруг меня, их теплое дыхание касается души моей".

Но когда он внимательно осмотрелся вокруг, отыскивая тех, кто утешил его в одиночестве, – что же! – оказалось, что это были коровы, столпившиеся на возвышении; их близость и запах, исходивший от них, согрели сердце его. Однако, судя по всему, эти коровы усердно внимали чьим-то речам и не обращали внимания на приближавшегося к ним Заратустру. А когда он подошел уже совсем близко, то ясно расслышал человеческий голос, доносившийся откуда-то из середины стада; а все коровы повернули головы в сторону говорящего.

Тогда Заратустра стремительно бросился на возвышение и разогнал животных, ибо испугался, не случилось ли тут с кем-то беды, в которой едва ли поможет сочувствие коров. Но он ошибся, перед ним на земле сидел человек и, казалось, уговаривал животных не бояться его, – миролюбивый человек и горный проповедник, из очей которого вещала сама доброта. "Чего ищешь ты здесь?" – пораженный, воскликнул Заратустра.

"Чего я здесь ищу? – отвечал тот. – Того же, что и ты, помеха радости! Я ищу счастья на земле.

Я хотел научиться ему у этих коров. Ибо, да будет тебе известно, я с раннего утра беседую с ними, и они уже готовы были дать мне ответ. Зачем же ты помешал им?

Ибо если не обратимся и не станем подобны коровам, то не войдем в царствие небесное. [[**6**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-6)] Особенно же вот чему должны мы у них научиться: умению пережевывать.

И поистине, если бы даже человек приобрел весь мир и не научился бы как следует пережевывать: что пользы ему! [[**7**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-7)] Он не избавился бы от печали своей,

– своей величайшей печали, что ныне зовется *отвращением*. У кого из ныне живущих не полны отвращением уста, и глаза, и сердца? И у тебя! У тебя тоже! Однако взгляни на этих коров!".

Так говорил горный проповедник и, наконец, обратил взор свой на Заратустру, – ибо до сих пор он с любовью взирал на коров; и его словно подменили. "Кто ты, с кем я говорю? – воскликнул он испуганно и вскочил.

– Это человек, не питающий отвращения, это – сам Заратустра, победитель величайшего отвращения, это уста, и взор, и сердце самого Заратустры".

Говоря слова эти, с глазами, полными слез, он целовал руки Заратустры, подобно человеку, которому нежданно-негаданно упало с неба сокровище или нечто ценное. А коровы смотрели и удивлялись.

"Не говори обо мне, ты, удивительный! Близкий сердцу моему! – сказал Заратустра, уклонясь от нежности его. – Скажи мне сначала о себе! Не ты ли тот добровольный нищий, который отказался некогда от большого богатства,

– который устыдился богатства своего и всех богатых и бежал к самым бедным, чтобы им принести в дар избыток свой и сердце свое? Но они не приняли его".

"Но они не приняли меня, – сказал добровольный нищий, – ты знаешь это. И тогда пошел я к животным и к этим коровам".

"И так обрел ты понимание того, насколько труднее давать, нежели брать, – прервал его Заратустра, – научился тому, что дарить – это *искусство*, последнее, величайшее искусство доброты".

"Особенно в наши дни, – отвечал добровольный нищий. – В наши дни, когда все низкие одержимы трусливой жаждой бунта и стали по-своему высокомерными: по-своему – то есть так, как свойственно черни.

Ибо известно тебе, что настал час чудовищного, гибельного и самого продолжительного мятежа черни и рабов: он все растет и ширится!

Благодеяния и небольшие уступки уже вызывают у низших возмущение: пусть все богатые будут настороже!

У того, кто, подобно пузатой бутылке, по каплям выдает содержимое из узкого горлышка, сегодня у таких бутылок это горлышко отбивают!

Похотливая алчность, желчная зависть, затаенная мстительность, гордость черни: как все это бросается в глаза! Уже не верно, что нищие блаженны. [[**8**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-8)] Царство небесное – у коров".

"А почему не у богатых?" – испытующе спросил Заратустра, отгоняя коров, которые доверчиво взирали на миролюбивого проповедника.

"К чему искушаешь меня? – отвечал тот. – Ты знаешь это, и даже лучше, чем я. Что влекло меня к самым бедным? Не отвращение ли к нашим богатым?

– к этим колодникам богатства, которые из любого мусора извлекают для себя пользу, к этой сволочи с холодными глазами и похотливыми мыслями, от которой зловоние поднимается к небу,

– к этой раззолоченной, насквозь лживой черни, чьи отцы были ворами или питались падалью, собирая отбросы, были падки до баб, похотливы и забывчивы: ибо все они сродни блуднице по сути своей?

Чернь внизу, чернь наверху! Что значит сегодня "бедный" и "богатый"! Я уже перестал видеть различие между ними, – и вот бежал от них все дальше и дальше, пока не пришел к этим коровам".

Так говорил проповедник, отдуваясь и потея: а коровы все удивлялись. Заратустра же с улыбкой слушал эти суровые речи, глядя ему в лицо и молча покачивая головой.

"Ты насилуешь сам себя, горный проповедник, употребляя столь суровые слова. До столь серьезных вещей не доросли еще ни глаза, ни уста твои.

И, похоже, желудок твой тоже противится всей твоей ненависти и гневу с пеной у рта. Ему нужно что-нибудь мягкое: мясо – определенно не по тебе.

Скорее, как мне кажется, ты питаешься растениями и кореньями. Быть может, жуешь зерна. Но наверняка, ты не склонен к радостям чувственной, мясной пищи и отдаешь предпочтение меду".

"Ты угадал, – с легким сердцем отвечал добровольный нищий.

– Я люблю мед и жую зерна, ибо искал я пищи, что приятна на вкус и делает дыхание чистым:

– на поглощение которой потребно время, заполняющее целый день, давая работу челюстям кротких лежебок и лентяев.

Но дальше всех в этом ушли, конечно, коровы: это им принадлежит открытие, что можно целыми днями пережевывать жвачку и валяться на солнышке. И еще они воздерживаются от всех мрачных мыслей, от которых вспухает сердце".

"Ну что ж! – сказал Заратустра. – Ты должен увидеть и *моих* зверей – моего орла и змею мою; подобных им не найдешь теперь на всей земле.

Смотри, вон там проходит дорога к пещере моей: этой же ночью будь гостем ее. И поговори со зверями моими о счастье зверей,

– пока сам я не вернусь домой. Ибо теперь я поспешу от тебя – меня призывает крик о помощи. А у меня найдешь ты и мед – сотовый мед, прохладный, словно лед, и золотистый: угощайся им!

Однако простись сейчас же со своими коровами, ты, – удивительный и близкий сердцу моему! Простись, даже если тебе и нелегко это. Ибо они – самые нежные друзья твои и наставники!"

"За исключением того, которого я люблю еще больше, – отвечал добровольный нищий. – Ты и сам добр, ты добрее любой коровы, о Заратустра!"

"Прочь, прочь, лукавый льстец! – зло воскликнул Заратустра.

– Что ты пытаешься испортить медом лести и похвалой своей?"

"Прочь, прочь от меня!" – воскликнул он еще раз и замахнулся посохом своим на благодушного нищего, но тот проворно убежал.

ТЕНЬ

Но едва только убежал добровольный нищий, и Заратустра остался один, как позади себя он услышал чей-то голос, взывавший: "Стой! Заратустра! Подожди! Это ведь я, о Заратустра, я, твоя тень!". Но Заратустра не стал ждать, ибо внезапная досада охватила его оттого, что так тесно стало в его горах. "Где мое уединение? – проговорил он.

– Право, это уже чересчур; горы эти кишат людьми, царство мое не от *мира сего*, [[**9**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-9)] мне нужны новые горы.

Моя тень зовет меня? Какое мне дело до тени! Пусть догоняет меня, а я убегу от нее".

Так сказал Заратустра в сердце своем и побежал. Но тот, кто был сзади, все следовал за ним: так что теперь трое бежали друг за другом: впереди бежал добровольный нищий, за ним Заратустра, а позади всех – тень его. Но недолго бежали они так, потому что вскоре Заратустра опомнился, пришел в себя и разом стряхнул всю досаду и отвращение.

"Как, – сказал он, – разве издавна не случались с нами, старыми отшельниками и святыми, всякие смешные вещи?

Поистине, высоко выросло в этих горах неразумие мое! И вот – слышу я, как три пары ног, принадлежащие безумцам, топают друг за другом!

Нет, непозволительно Заратустре бояться собственной тени! Однако, сдается мне, что ноги ее длиннее моих"

Сказал это Заратустра, смеясь глазами и всем нутром своим, остановился и быстро повернулся назад, едва не опрокинув при этом тень: ибо она следовала за ним по пятам и к тому же ослабла. Когда же он внимательно рассмотрел ее, то так ужаснулся, словно внезапно увидел привидение: таким худым, почерневшим, изможденным и дряхлым выглядел спутник его.

"Кто ты? – резко спросил Заратустра, – Что ты тут делаешь? И с какой стати называешь себя тенью моей? Ты не нравишься мне".

"Прости меня, – отвечала тень, – прости, что это я; ну, а если я не нравлюсь тебе, что ж! хвала тебе и хорошему вкусу твоему.

Я странник, много дорог исходивший вслед за тобой: всегда я в пути, но без цели, без родины, – так что, поистине, во многом похож я на Вечного Жида, [[**10**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-10)] только вот не вечен я, и к тому же не жид.

Как? Неужели должна я быть постоянно в пути? Увлекаемой, гонимой, кружимой всяким ветром? О земля, слишком круглой стала ты для меня!

Я побывала уже на всякой поверхности, подобно усталой пыли засыпала, оседая, на зеркалах и оконных стеклах: у меня только забирают и ничего не дают, я истощаюсь – я почти что сравнялась с тенью.

Но за тобой, о Заратустра, я бегала и бродила дольше всего, а если иногда и пряталась от тебя, то все-таки была твоей лучшей тенью: где бы ни сел ты, садилась и я.

С тобой обошла я самые дальние и холодные миры, похожая на призрак, бегущий по собственной воле по снегу и по заснеженным крышам домов.

С тобой устремлялась я во все запретное, дурное, далекое: и если есть у меня какая-нибудь добродетель, так только та, что не боялась я никаких запретов.

С тобой разрушала я все, что некогда чтило сердце мое, все пограничные камни, всех кумиров опрокидывала я, гонялась за всеми опасными желаниями; поистине, было время, когда ни одно преступление не могло остановить бега моего.

С тобой разучилась я вере в слова, в ценности, в великие имена. Когда дьявол сбрасывает кожу, имя его не спадает ли вместе с ней? Имя – та же кожа. Быть может, и сам дьявол – не более чем оболочка.

"Нет ничего истинного, все дозволено": так внушала я себе. В самые холодные воды бросалась я головой сердцем. О, часто приходилось мне из-за этого стоять перед всеми нагой и красной, как рак!

Увы, куда подевалась у меня все благое, и всякий стыд, и вера в добрых! Где та лживая невинность, которая была у меня некогда, невинность добрых и их благородной лжи!

Поистине, слишком часто следовала я по пятам за истиной: и вот она отринула меня. [[**11**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-11)] И зачастую случалось, что как раз тогда, когда я намеренно лгала, прикасалась я к истине.

Слишком многое стало мне ясным, и потому перестало интересовать. Умерло все, что любила я. Как же теперь мне любить себя?

"Жить, чтобы жизнь была в радость, или вовсе не жить": так хочу я, так хочет и праведник. Но увы! Есть ли *у меня* еще радость?

Есть ли цель? Та гавань, к которой стремится парус мой?

Попутный ветер? О, лишь тот, кто знает, куда плывет, знает, какой ветер – попутный и несет в море.

Что же осталось еще у меня? – Усталое, дерзкое сердце; непостоянная воля; поникшие крылья; разбитая спина.

А поиски *моей* родины! О Заратустра, ты ведаешь, что поиски эти были тяжелым испытанием и тают силы мои.

"Где же *мой* дом?" – об этом вопрошала я и неустанно искала его, но так и не нашла. О вечное "Везде", о вечное "Нигде", о вечное

"Напрасно"!

Так говорила тень, и вытягивалось лицо Заратустры от слов ее. "Да, ты – тень моя! – произнес он, наконец, с грустью.

Немалая опасность угрожает тебе, ты, свободный дух и странник! Скверный выдался у тебя день: смотри, чтобы не постиг тебя еще худший вечер!

Такие бродяги, как ты, кончают тем, что даже тюрьма кажется им благом. Видела ли ты, как спят преступники в заключении? Они спят спокойно, наслаждаясь непривычной для них безопасностью.

Берегись, чтобы в конце концов не овладела тобой какая-нибудь узкая вера, призрак неподвижный и суровый! Ведь уже и теперь соблазняет и искушает тебя все, что ограниченно и незыблемо.

Ты утратила цель: увы, как избыть, как забыть тебе эту утрату? Вместе с целью потеряла ты и путь!

Бедная скиталица, мечтательница, усталый мотылек! Не хочешь ли на этот вечер обрести пристанище и покой? Иди же наверх, в пещеру мою!

Вот дорога, что ведет к пещере. А теперь я спешу и потому покидаю тебя. И словно какая-то тень уже надвигается на меня.

Чтобы снова светло стало вокруг меня, дальше пойду я один. Бодрость и веселье да сопутствуют мне в пути моем! А вечером у меня будут танцы!"

Так говорил Заратустра.

В ПОЛДЕНЬ

А Заратустра все бежал, никого больше не встречая: в продолжение многих часов был он один, обретал себя вновь и вновь и, наслаждаясь, глоток за глотком пил одиночество свое, думая о хороших вещах. Но в полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой, проходил он мимо старого дерева, кривого, с узловатыми сучьями, с любовью обильно увитого виноградной лозой и скрытого ею от самого себя: пышные желтые гроздья свешивались с дерева, предлагая себя путнику. Заратустра хотел было утолить легкую жажду и уже протянул руку за виноградной кистью, но другое, более сильное желание овладело им, захотелось ему лечь в жаркий полдень под деревом и уснуть.

Так он и сделал; и едва лег он. среди таинственной тишины пестрых трав, как тотчас же забыл о своей жажде и уснул. Ибо, как гласит поговорка Заратустры: одно бывает необходимее другого. Но глаза его оставались открытыми: не могли они насытиться видом дерева и любви лозы виноградной и нахвалиться ими. А засыпая, так говорил Заратустра в сердце своем:

"Тише! Тише! В этот мир не стал ли мир совершенным? Что со мной?

Как нежный ветерок невидимо танцует по тихому, гладкому морю, легкий, словно перышко, так сон танцует по мне.

Он не смежает очей моих, душа моя бодрствует. Поистине, невесом он, будто пушинка!

Он уговаривает меня – как это у него получается? Откуда-то изнутри протягивает он ласковую руку и слегка касается меня; он склоняет душу мою потянуться, раскинуться:

– И потягивается она, моя усталая, удивительная душа! Не настал ли для нее как раз в этот полдень вечер седьмого дня? [[**12**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-12)] Или слишком долго блуждала она, блаженная, среди хороших и зрелых вещей?

Она вытягивается и становится длинной-длинной! Тихо лежит она, странная душа моя. Слишком много благого вкусила она, и ее тяготит золотая печаль, и кривятся уста ее.

Словно корабль, что входит в тихую бухту и причаливает к берегу, уставший от долгих странствий и неведомых морей. Разве земля не надежнее?

– словно корабль, что пристает, приникает к земле, – и теперь достаточно пауку протянуть до берега паутину свою, и крепче причала не потребуется;

– словно усталый корабль в тихой бухте, отдыхаю теперь и я близ земли – доверчивый, верный, ожидающий, привязанный к ней тончайшими нитями.

О счастье! О счастье! Ты лежишь на траве, душа моя; не хочешь ли ты петь? Но в этот таинственный, торжественный час ни один пастух не играет на свирели своей.

Берегись! Знойный полдень почил на нивах. Не пой! Тише! Мир стал совершенным.

Не пой, полевая птица, душа моя! Не говори даже шепотом! Взгляни – кругом так тихо! Спит старый полдень, шевеля губами во сне: не пьет ли он в этот миг свою каплю счастья,

– янтарную каплю счастья, золотого старого вина? Незаметно пробегает по старому полудню счастье его и смеется. Так смеются боги. Тише!

"О, как мало надо для счастья!" – так говорил я когда-то и мнил себя умным. Но понял я теперь, что это было хулой. Мудрые безумцы говорят куда лучше.

Ибо все самое малое, самое тихое и наилегчайшее – шелест ящерицы, дуновение ветра, миг, – *малое*, вот что является признаком полного счастья. Тише!

Что со мной: прислушайся! Не улетело ли время прочь? Не падаю ли я? Не упал ли я в источник вечности?

Что со мной? Тише! Я поражен – увы – в сердце? В сердце! О, разбейся, разбейся же, сердце, после такого счастья, от такой раны!

Как? В этот миг не стал ли мир совершенным? Округлым и зрелым? О, куда мчится он, золотой шар? Побегу за ним!

Тише!" – (и тут Заратустра потянулся и понял, что спал).

"Вставай, сонливец! – сказал он себе. – Вставай, уснувший в самый полдень! Ну-ка, поднимайтесь, старые ноги! Пора, давно уже пора, еще немалый конец предстоит вам.

Теперь выспались вы, а долго ли спали? Полвечности! Ну, поднимайся же, старое сердце! Много ли нужно тебе времени, чтобы пробудиться после такого сна?"

(Но тут он снова уснул, а душа все отговаривала его, противилась и прилегла снова). – "Оставь меня! Тише! В этот миг не стал ли мир совершенным? О золотой шар!"

"Вставай, – говорил Заратустра, – поднимайся, воришка, маленькая лентяйка! Как? Тебе бы только потягиваться, зевать, вздыхать да падать в глубокие источники?

Да кто ты у меня? О душа моя!" (и тут он испугался, потому что солнечный луч упал на лицо ему).

"О небо надо мной, – сказал он, вздыхая, приподнялся и сел, – это ты глядишь на меня? И прислушиваешься к тому, что говорит удивительная душа моя?

Когда выпьешь ты эту каплю росы, что упала на все земное, когда выпьешь ты эту странную душу мою,

– о источник вечности! О светлая, приводящая в трепет бездна полуденная! Когда снова вберешь ты в себя душу мою?"

Так говорил Заратустра и поднялся с ложа своего у дерева, словно придя в себя после какого-то странного опьянения: и что же! Солнце все так же стояло прямо над его головой. И из этого со всей справедливостью можно было заключить, что на этот раз Заратустра спал недолго.

ПРИВЕТСТВИЕ

Только к вечеру, после долгих напрасных поисков и блужданий, Заратустра вернулся к пещере своей. Но когда был он уже не более чем в двадцати шагах от нее, случилось нечто такое, чего он никак не ожидал: он снова услышал громкий крик о помощи. И- поразительно! На этот раз крик доносился из пещеры. Это был протяжный, странный, жуткий крик, и Заратустра ясно различал, что кричали сразу несколько человек, хотя издалека ему казалось, будто крик исходит из одних уст.

Заратустра бросился к пещере, и что же! Вот какое зрелище ожидало его: в пещере друг подле друга сидели все те, кого повстречал он за день, – оба короля, старый чародей, Папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осел: а самый безобразный человек возложил на себя корону и надел оба пурпурных пояса, ибо, как все безобразные, любил он наряжаться и прихорашиваться. И орел Заратустры тоже был среди этой унылой компании, весь взъерошенный и встревоженный, ибо приходилось ему отвечать на многое такое, на что гордость его не имела ответа; а мудрая змея обвивала его шею.

С великим удивлением взирал Заратустра на все это; потом с добродушным любопытством стал рассматривать гостей своих, читая в душе у каждого, и вновь удивлялся. Между тем все собравшиеся поднялись с мест своих и с благоговением ожидали, что он скажет им. И Заратустра говорил так:

"Вы, отчаявшиеся! Вы, удивительные! Так это *ваш* крик о помощи слышал я? Теперь знаю я, где найти того, кого тщетно искал я весь день – *высшего человека*,

– в моей пещере сидит он, этот высший человек! Но чему удивляюсь я! Не я ли сам привлек его медовой жертвой и хитрой приманкой счастья своего?

Однако сдается мне, что вы, взывающие о помощи, плохо подходите друг другу, сидя здесь вместе, и будите взаимную неприязнь в сердцах ваших. Надо, чтобы сперва пришел некто,

– некто способный заставить вас снова смеяться, – славный веселый паяц, шалун, плясун и ветреник, какой-нибудь старый безумец: а вы что на это скажете?

Но простите мне, о отчаявшиеся, что говорю я столь ничтожными словами, поистине недостойными вас, высоких гостей моих! Однако не угадать вам, что делает бодрым сердце мое:

– это вы сами и вид ваш, простите же мне это! Ибо всякий становится бодрым, взглянув на отчаявшегося; и чтобы утешить его, каждый считает себя достаточно сильным.

И эту силу дали мне вы – добрый дар, о высокие гости мои! Хороший подарок за гостеприимство! Ну что ж, не сердитесь, если я предложу вам свой.

Здесь царство мое и держава моя: и пусть все мое в этот вечер и эту ночь будет вашим. Звери мои будут служить вам: моя пещера да будет вам местом отдыха!

У меня, в доме моем, никто не должен отчаиваться, в своих владениях я защищу каждого от диких зверей его. И первое, что предлагаю я вам, – безопасность!

Второе же – мой мизинец. Как только мизинец мой будет у вас, вы возьмете и всю руку, ну что ж! Тогда и сердце впридачу! Прошу вас, добро пожаловать, дорогие гости!"

Так говорил Заратустра, смеясь от любви и ярости. После этого приветствия гости его снова поклонились в почтительном молчании, а король справа ответил ему от лица всех собравшихся.

"По тому, как ты произнес приветствие и предложил нам руку свою, узнаем мы в тебе Заратустру. Ты унизился перед нами; ты едва не оскорбил наше почитание:

– но кто сумел бы, как ты, унизиться с такой гордостью? И это ободряет нас и служит отрадой для глаз и сердец.

Чтобы увидеть такое, мы охотно поднялись бы и на более высокие горы, нежели эта. Ибо с жаждой зрелищ пришли мы сюда, мы хотели увидеть, *что* просветляет печальный взгляд.

И вот – наш крик о помощи уже позади. Уже открыты и исполнены восторга чувства и сердца наши. Еще немного, и наше мужество станет дерзким.

Не растет на земле ничего более радостного, о Заратустра, чем высокая сильная воля: она – прекраснейшее из всего того, что здесь произрастает. Одно такое дерево оживляет всю местность.

Кедру уподобляю я того, кто вырастает подобным тебе, о Заратустра: высокий и молчаливый, суровый и одинокий, величественный, гибкий и упругий,

– и простирающий сильные зеленые ветви к владениям своим, смело вопрошающий ветры, и бури, и все, что от века близко высотам,

– еще более смело отвечающий, господствующий и победоносный: кто не поднялся бы на высокую гору, чтобы увидеть такие деревья?

Здесь, у дерева твоего, о Заратустра, оживает даже тот, кто мрачен и гоним неудачами; глядя на тебя, успокаивается скиталец, и исцеляется сердце его.

И поистине многие взоры обращаются ныне к горе твоей и дереву твоему; возникло великое томление и многие спрашивают: кто такой Заратустра?

И все, в чей слух некогда по каплям вливал ты песнь свою и мед свой: все ушедшие от мира, отшельники и те, кто одинок вдвоем, стали говорить в сердце своем:

"Жив ли еще Заратустра? Не стоит жить больше, все равно все тщетно: или же – мы должны жить с Заратустрой!".

"Почему не приходит он, так давно возвестивший о себе? – так вопрошают многие. – Или уединение поглотило его? Или мы сами должны прийти к нему?"

И вот теперь само уединение истлело и разрушается, подобно могиле, которая рассыпается и не может уже вмещать мертвецов своих. Повсюду видны воскресшие. [[**13**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-13)]

Все выше и выше вздымаются волны вокруг горы твоей, о Заратустра. И как бы ни была высока она, многие достигнут твоей высоты: недолго еще челн твой пребудет на суше.

И что мы, отчаявшиеся, пришли теперь в пещеру твою и уже освободились от отчаяния – это есть знамение и предзнаменование того, что лучшие, чем мы, находятся в пути к тебе,

– ибо уже в пути к тебе то последнее, что осталось от Бога среди людей, а именно: все люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения,

– все, кто не хочет жить иначе, чем научившись опять *надеяться*, научившись у тебя, Заратустра, великой надежде!"

Так говорил король справа, а потом схватил руку Заратустры, чтобы поцеловать ее; но Заратустра уклонился от этого знака почитания и испуганно отступил назад, внезапно и в полном молчании, словно исчезая в глубокой дали. Но тотчас же он снова был с гостями своими и говорил, глядя на них ясным, испытующим взором:

"О гости мои, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки [[**14**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-14)] и откровенно. Не вас ждал я здесь, в этих горах".

("По-немецки и откровенно? Помилуй Бог! – сказал в сторону король слева. – Заметно, что не знает он наших милых немцев, этот мудрец с Востока!

Он, вероятно, хотел сказать – "по-немецки и грубо", – ну что ж! По нашим временам это еще не худший вкус!")

"Пусть даже все вы, вместе взятые, – высшие люди; но для меня вы недостаточно высоки и сильны.

Для меня – это значит: для того неумолимого, что безмолвствует во мне, но не вечно он будет молчать. А если вы и не чужие мне, то не так близки, как правая рука моя.

Ибо у кого, как у вас, больные и слабые ноги, тому прежде всего хочется, чтобы щадили его, сознает он это или же скрывает от себя.

Но ни рук, ни ног своих не щажу *я – я не щажу своих воинов*: так что непригодны вы к *моей* войне!

С вами погубил бы я все победы свои. Многие из вас упадут, едва заслышав громкий бой барабанов моих.

Вы недостаточно прекрасны для меня и недостаточно благородны. Чистые, гладкие зеркала нужны мне для поучений моих; а ваша поверхность искажает даже мой собственный образ.

Ваши плечи гнутся под тяжестью многих воспоминаний; немало гнусных карликов сидит, скорчившись, в тайных закоулках ваших. Сколько плебейского скрываете вы в себе!

И даже когда высоки вы и высшего рода: многое в вас криво и уродливо. Нет во всем мире кузнеца, который выправил бы вас и выпрямил.

Вы только мосты: да пройдут по ним высшие на ту сторону! Вы – всего лить ступени: так не гневайтесь же на того, кто поднимается по этим ступеням на свою высоту!

Быть может, из семени вашего и вырастет некогда истинный сын и настоящий наследник: но далеко еще до этого. Вы – не те, кто унаследует имя и достояние мое.

Не вас жду я тут, в этих горах, не с вами в последний раз сойду я вниз. Вы явились как знамение того, что высшие, нежели вы сами, уже – в пути ко мне,

– не люди великого томления, и отвращения, и пресыщения, не те, кого называете вы тем последним, что осталось от Бога среди людей,

– Нет! Нет! Трижды нет! Других жду я тут, в этих горах, и ни шагу не сделаю без них отсюда,

– я жду высших, сильных, победоносных, бодрых духом, у кого душа и тело – в гармонии: должны прийти *смеющиеся львы!*

О дорогие гости мои, вы, удивительные, вы ничего еще не слышали о детях моих? И что они уже в пути ко мне?

Говорите же мне о садах и блаженных островах моих, о новом и прекрасном потомстве моем. Почему молчите вы об этом?

Этого подарка прошу я у любви вашей, чтобы вы говорили со мной о детях моих. Ради них богат я, ради них стал я беден: чего не отдал бы я,

– чего не отдал бы я. чтобы иметь одно: этих детей, эти живые насаждения, эти деревья жизни, порожденные волей и высочайшей надеждой моей!"

Так сказал Заратустра и прервал внезапно речи свои: ибо тоска овладела им, и сомкнул он уста и очи от движения сердца своего. И все гости молча стояли, неподвижные и смущенные: только старый прорицатель жестом и выражением лица сделал всем знак.

ВЕЧЕРЯ

Но на этом месте прорицатель прервал приветственные речи Заратустры и гостей его: он протолкнулся вперед, словно боялся упустить время, схватил Заратустру за руку и воскликнул: "Но, Заратустра!

Одно бывает необходимее другого, так говоришь ты: и вот одно мне теперь необходимее всего остального.

Кстати: не пригласил ли ты меня *на пир?* А ведь многие из присутствующих совершили долгий путь. Ты же не собираешься кормить нас одними речами?

Все вы вспоминали уже довольно много о замерзании, утоплении, удушении и других телесных бедствиях: однако никто не вспомнил о *моей* беде – об опасности умереть от голода,

(Так говорил прорицатель; но когда звери Заратустры услышали слова его, они в страхе убежали. Ибо видели, что всего принесенного ими за день будет недостаточно, чтобы набить утробу одного только прорицателя),

– и об опасности умереть от жажды, – продолжал прорицатель. – И хотя давно уже слышу я неподалеку плеск воды, которая, как и мудрые речи, течет обильно и без устали: я хочу *вина!*

Не всякий, подобно Заратустре, пьет всегда одну только воду. Вода не годится для усталых и увядших: *нам* подобает вино, только оно дает мгновенное выздоровление и бодрость!"

Воспользовавшись тем, что прорицатель просил вина, король слева, обычно молчаливый, тоже заговорил: "Об этом позаботились мы с братом – королем справа, – сказал он, – у нас достаточно вина, наш осел нагружен вином. Недостает лишь хлеба".

"Хлеба? – возразил Заратустра со смехом. – Как раз хлеба и нет у отшельников. Но не хлебом единым жив человек, но и мясом хороших ягнят, у меня же их два:

– пусть скорее заколют их и приготовят с пряным шалфеем: так люблю я. Нет недостатка в плодах и кореньях, что придутся по вкусу даже лакомкам и гурманам; есть орехи и прочие загадки – их можно пощелкать.

Итак, скоро устроим мы добрый пир. Но всякий, кто будет участвовать в нем, должен приложить руку свою, даже короли. Ибо у Заратустры и королю не зазорно быть поваром".

Предложение это всем было по сердцу: только добровольный нищий возражал против мяса, вина и пряностей.

"Однако вы только посмотрите на Заратустру – на этого кутилу! – шутливо воскликнул он. – Разве затем ищут убежища в пещерах и поднимаются в горы, чтобы устраивать пиршества?

Вот теперь понимаю я, чему учил он нас некогда, говоря: "Хвала бедности!", и почему хочет он уничтожить всех нищих".

"Будь доволен и весел, как я, – отвечал ему Заратустра. – Оставайся при своих привычках, о превосходнейший, жуй свои зерна, пей воду и хвали кухню свою: если только она веселит тебя!

Я – закон только для своих, но не для всех. Но кто из моих, тот должен иметь крепкие кости и легкую поступь,

– с радостью принимать войны и пиры, быть готовым к самому трудному, как будто это праздник, быть бодрым и здоровым, а не каким-нибудь мрачным мечтателем.

Все лучшее принадлежит мне и моим; и если нам не дают, то мы берем лучшую пищу, самое ясное небо, сильные мысли, красивых женщин!"

Так говорил Заратустра; король же справа заметил: "Странно! Слыхано ли, чтобы столь умные речи исходили из уст мудреца?

И поистине, редко случается, чтобы мудрец был умен и не был ослом".

Так говорил король справа и удивлялся; а осел не без умысла прибавил: "И-А". Это было началом той долгой вечерней трапезы, которая по историческим описаниям известна как "вечеря". И в продолжение ее говорили только *о высшем человеке* и ни о чем ином.

О ВЫСШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

1.

Когда я в первый раз пришел к людям, величайшее безумие совершил я, безумие отшельника: я вышел на базарную площадь.

И поскольку говорил я ко всем, то не обращался ни к кому в отдельности. А вечером товарищами моими были канатный плясун и мертвец, да и сам я был почти что трупом.

Но с наступлением нового утра осенила меня новая истина: тогда научился я говорить: "Что мне до базара и черни, до шума толпы и ее длинных ушей"!

Вот чему научитесь у меня, высшие люди: на базаре никто не верит в высших людей. Хотите говорить перед ними, ну что ж, говорите! Но толпа вам бессмысленно моргает: "Мы все равны!".

"Эй, вы, высшие люди, – бессмысленно моргая, говорит чернь, – нет никаких высших, мы все равны, человек есть человек, и перед Богом мы все равны!"

Перед Богом! Но теперь этот Бог умер. А перед толпой мы не хотим быть равными со всеми прочими. О высшие люди, уходите с базара!

2.

Перед Богом! Но теперь этот Бог умер! О высшие люди, этот Бог был вашей величайшей опасностью.

Только с тех пор, как лег он в могилу, вы воскресли. Только теперь наступает Великий Полдень, только теперь высший человек становится господином!

Понятно ли вам это слово, о братья мои? Вы испугались, ваше сердце закружилось? Не зияет ли здесь бездна для вас? Не лает ли на вас адский пес?

Ну что ж! Мужайтесь, высшие люди! Ныне впервые мечется в родовых муках гора человеческого будущего. Бог умер: ныне хотим мы, чтобы жил Сверхчеловек.

3.

Самые заботливые вопрошают сегодня: "Как сохраниться человеку?". Но Заратустра, наипервейший и единственный из всех, спрашивает: "Как *преодолеть* человека?".

К Сверхчеловеку влечет меня сердце, он – первейшее и единственное мое, а не человек – не ближний и не бедный, не страждущий и не лучший.

О братья мои, если что и люблю я в человеке, так это то, что он – переход, закат и уничтожение. И в вас есть многое, что питает любовь мою и надежду.

Мне позволяет надеяться то, что исполнены вы презрения. Ибо способные на глубочайшее презрение способны и на великое почитание.

Достойно великого уважения то, что вы отчаялись. Ибо не научились вы покоряться, не научились мелочному благоразумию.

Ибо сегодня господствуют маленькие люди: они проповедуют смирение, скромность, прилежание, осмотрительность и прочие заповеди маленькой добродетели.

Все, что бабского и рабского рода, и особенно мешанина толпы: именно оно жаждет быть господином человеческой судьбы – *о отвращение! Отвращение! Отвращение!*

Они неустанно спрашивают: "Как лучше всего, дольше всего и приятнее всего сохраниться человеку?". И потому они господствуют сегодня.

Преодолейте их, этих господ нынешнего, этих маленьких людишек, – о братья мои! Это *они* – величайшая опасность для Сверхчеловека!

О высшие люди! Преодолейте ничтожные добродетели, маленькое благоразумие, мелочную осмотрительность, муравьиную суетливость, жалкое самодовольство, "счастье большинства"!

И чем подчиняться, уж лучше отчаивайтесь. И поистине, я люблю вас за то, что не умеете вы жить в настоящем, вы, высшие люди! Ибо так живете вы лучше всего!

4.

Есть ли в вас мужество, о братья мои? Есть ли отвага? Не то мужество, у которого есть свидетели, но мужество отшельников и орлов, которое не видит ни один бог?

Тех, кто из породы ослов, а также слепых, пьяных и тех, чьи души холодны, не назову я мужественными. Но тех, кто, зная страх, побеждает его; кто смотрит в бездну, но смотрит *с гордостью*;

кто видит бездну, но взглядом орла, кто хватает ее орлиными когтями: вот в ком есть мужество.

5.

"Человек зол", – так говорили мне в утешение все мудрейшие. О, если бы и сегодня это еще было так! Ибо зло есть наилучшая сила в человеке.

"Человек должен становиться все лучше и злее", – так учу я. Для лучшего в Сверхчеловеке необходимо самое злое.

Пусть для того, кто проповедовал маленьким людям, было благом то, что пострадал он за них и понес на себе их грехи. [[**15**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-15)] Я же радуюсь великому греху, как своему великому *утешению*.

Впрочем, это сказано не для длинных ушей. Не каждое слово подобает всякому рылу. Это тонкие, далекие вещи: их не смеют попирать овцы копытами своими!

6.

Высшие люди, уж не думаете ли вы, что пришел я исправлять дурное, сделанное вами?

Или устроить вам, страждущим, удобный ночлег? Или вам, скитальцам, блуждающим и сбившимся с пути, указать легкие тропинки?

Нет! Нет! Трижды нет! Надо, чтобы больше погибало вас и чтобы гибли самые лучшие, ибо должно становиться вам все хуже и хуже. Только так,

– только так вырастает человек до той высоты, где молния поражает его, до высоты, достаточно высокой для молнии!

К немногому, к продолжительному, к далекому стремятся мысль и тоска моя: что мне до вашей маленькой, короткой, многообразной нищеты!

Вы мало страдаете! Ибо страдаете за себя; вы еще не страдали *за человека*. Вы солжете, если станете утверждать обратное! Никто из вас не страдал еще за то, за что страдал я.

7.

Мне недостаточно того, чтобы молния больше не вредила: не отвращать хочу я ее: она должна научиться работать *на меня*.

Давно уже, подобно туче, сгущается мудрость моя и становится все темнее и тише. Так поступает всякая мудрость, которая должна некогда породить *молнию*.

Не хочу я быть *светом* для людей нынешнего, не хочу называться у них светом. Я жажду ослепить их! Молния мудрости моей, выжги им глаза!

8.

Не желайте ничего свыше сил своих: дурная лживость присуща тем, которые желают свыше своих сил.

Особенно когда жаждут они великого! Ибо возбуждают они недоверие к великому, эти ловкие фальшивомонетчики и комедианты:

– пока, наконец, не станут сами для себя фальшью, приукрашенной червоточиной, пока не прикроются сильными словами, показными добродетелями, блестящими подделками.

Будьте же осмотрительны, высшие люди! Ибо нет ныне для меня ничего драгоценнее и редкостнее правдивости.

Не принадлежит ли нынешнее толпе? Но толпа не знает, что есть великое, что – ничтожное, что такое прямота и правдивость: она невинно кривит душой и всегда лжет.

9.

Будьте же исполнены ныне благого недоверия, о высшие люди, вы, отважные! Вы, чистосердечные! Держите в тайне убеждения ваши! Ибо настоящее принадлежит черни.

То, что чернь приняла когда-то на веру, без доводов и доказательств, не опровергнуть никакими доводами!

На базаре убеждают жестами. Тогда как доводы вызывают у толпы недоверие.

И когда побеждает там истина, исполнитесь благого недоверия и спросите себя: "Какое же это могущественное заблуждение боролось за нее?".

Остерегайтесь также ученых! Они ненавидят вас, ибо бесплодны! У них – холодные и высохшие глаза, для них все птицы – уже ощипаны.

Подобные им кичатся тем, что не лгут, но неспособность ко лжи отнюдь не то же самое, что любовь к истине. Остерегайтесь их!

Избавление от лихорадки – это еще не познание! Я не верю застывшим умам. Кто не умеет лгать, не знает, что такое истина.

10.

Если хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте *нести* себя наверх, не садитесь на чужие спины и головы!

Я вижу, ты сел на коня? И быстро несешься вверх, к своей цели? Ну что ж, скачи, мой друг! Только знай, что хромота твоя скачет вместе с тобой!

Когда будешь ты у цели и спрыгнешь с коня своего: о высший человек, – именно там, *на высоте* своей, ты будешь спотыкаться!

11.

О созидающие, о высшие люди! Только ради собственного ребенка претерпевают беременность свою.

Не слушайте же ничьих россказней, не позволяйте себя одурачивать! Ибо кто он – ближний ваш? И если затеяли вы что-либо "для ближнего", то созидаете вы все же не для него!

Забудьте об этом "для", вы, созидающие: ибо добродетель ваша требует, чтобы не было вам никакого дела до всех этих "для", "ради" и "потому что". Да не внемлет слух ваш всем этим лживым словам.

"Для ближнего" – это добродетель маленьких людей; у них говорят: "Свой своему поневоле брат" и "Рука руку моет". У них нет ни силы, ни права для *вашего* себялюбия!

О созидающие, в себялюбии вашем – осторожность и предусмотрительность беременной! Любовь ваша бережет, питает и защищает тот плод, которого еще никто не видел.

Там, где вся ваша любовь, там и вся добродетель ваша – в ребенке! Ваше призвание, ваша воля – вот ваш "ближний": не позволяйте навязать себе ложных ценностей!

12.

Вы – созидающие, высшие люди! Кому предстоит родить, тот болен; но кто родил, тот нечист.

Спросите у женщин: рожают не потому, что это доставляет удовольствие. Боль заставляет кудахтать поэтов и кур.

В вас много нечистого, созидающие. Итак, вам предстоит материнство.

Новорожденное дитя: о, как много новой грязи приходит с ним в мир! Посторонитесь! Тот, кто родил, должен омыть душу свою!

13.

Не будьте добродетельны свыше своих сил! И не требуйте от себя ничего, что выходит за пределы вероятного!

Избегайте во всем рабски следовать отцам вашим, но идите протоптанными тропами, по которым уже ходила добродетель их! Иначе как подняться вам выше, если воля отцов ваших не поднимается вместе с вами?

Но будь внимателен тот, кто хочет быть первенцем, – как бы ему не сделаться последышем! И там, где проявляются пороки отцов ваших, нечего разыгрывать святых!

Если отцы ваши провели свою жизнь, охотясь на вепрей, устраивая кутежи и попойки в компании женщин, не будет ли безумием воздержание ваше?

Оно будет безумием! Напротив, я полагаю, что тот из вас, у кого есть одна, или две, или всего только три жены, достиг немалого по сравнению с отцом своим.

А если ты строишь монастыри и пишешь на воротах: "Путь к святости", я говорю: "К чему? Не новое ли это безумие?"

Для самого себя основал ты исправительный дом и убежище – ну что ж! На здоровье! Только не верю я этому.

Ибо в уединении растет то самое, что человек приносит в него: возрастает и скот, которого он носит внутри себя. Поэтому многим следует избегать уединения.

Было ли до сих пор на земле что-нибудь более грязное, чем пустынники? Не один только дьявол неистово кружил вокруг них – но и свиньи.

14.

Часто видел я, как робкие, пристыженные, неловкие, словно тигр, которому не удался прыжок, прокрадывались вы стороной, о высшие люди! Ибо неудачно вы *бросили игральные кости*.

Не стоит огорчаться из-за этого! Вы не научились еще играть и смеяться над риском так, как должно! Не сидим ли мы всегда, так или иначе, за большим игральным столом, за которым так много смеются?

И если не удалось вам великое, значит ли это. что вы сами не удались? А если вы сами не удались, значит ли это, что не удался Человек? Но если не удался Человек: что ж! Вперед!

15.

Чем благороднее, тем редкостнее. Вы, собравшиеся здесь высшие люди, разве не все вы не удались?

Пусть так – ну и что ж? Не падайте духом! Сколь многое еще возможно! Научитесь смеяться над собой, смеяться, как следует!

Нет ничего удивительного в том. что вы не удались или удались лишь наполовину, вы, полуразбитые! Разве не бьется, не мечется в вас человеческое *будущее?*

Вся глубина и даль, вся звездная высь и чудовищная сила человека: не поднимается ли все это пеной в котле вашем?

Нет ничего удивительного в том, что многие котлы разбиваются! Учитесь смеяться над собой, смеяться, как следует! Сколь многое еще возможно, о высшие люди!

И поистине, много того, что уже удалось! Как богата земля совершенством небольших, но прекрасных вещей, что, поистине, так хорошо удались!

Окружайте же себя этим совершенством, высшие люди! Его золотая зрелость исцеляет сердце. Все совершенное учит надеяться.

16.

Какой из грехов, совершенных здесь, на земле, до сих пор остается самым тяжким? Не слова ли того, кто сказал: "Горе смеющимся!".

Неужели он не нашел на земле причин для смеха? Значит, он плохо искал. Их находит даже ребенок.

Мало любви было в нем, иначе он возлюбил бы и смеющихся! Но он ненавидел и поносил нас, предвещая нам плач и скрежет зубовный.

Следует ли тотчас проклинать, если не любишь? Для меня это – дурной вкус. Но именно так поступал он, этот нетерпимый. Он вышел из черни.

Мало в нем было любви – иначе бы он не гневался, что не любят его самого. Всякая великая любовь желает не любви, она жаждет большего.

Сторонитесь таких нетерпимых! Это порода больных и несчастных, это – чернь; кисло взирают они на жизнь, дурным глазом смотрят на землю.

Сторонитесь таких нетерпимых! У них тяжелые ноги и подавленные сердца: не умеют они плясать. Как же быть земле легкой для них!

17.

Кривыми путями следуют все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, словно кошки, мурлыкая от близости счастья своего: все хорошие вещи смеются.

Идет ли уже человек по своему пути, нет ли, – это выдает походка его: взгляните, как иду я! Ну, а тот, кто приближается к цели своей, тот танцует!

И поистине я не стал еще памятником и не сделался неподвижным, тупым, окаменевшим, как столб: я люблю быстро бегать.

Хотя есть на земле и трясины, и вязкая печаль, все равно тот, у кого легкие ноги, пробегает даже по илу и танцует на нем, как на расчищенном льду.

Братья мои, поднимайте сердца ваши все выше! Но не забывайте и про ноги! Выше, как лихие танцоры, вздымайте ноги свои, а еще лучше – стойте на голове!

18.

Этот венец смеющегося, венец из роз, сам возложил я на себя [[**16**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-16)] и сам освятил смех свой. Больше никого не нашел я достаточно сильным для этого.

Заратустра – танцор, Заратустра – легок, он взмахивает крыльями и готов к полету, он зовет за собой всех птиц, проворный и блаженно легкий.

Заратустра пророк, Заратустра, вещающий истины смехом своим, терпеливый, терпимый, влюбленный в прыжки и авантюры, [[**17**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-17)] сам я возложил на себя этот венец!

19.

Братья мои, поднимайте сердца ваши все выше! Не забывайте же и про ноги! Вы – лихие танцоры, так выше поднимайте ваши ноги, а еще лучше – встаньте на голову!

Бывают звери, тяжеловесные даже в счастье своем; есть неуклюжие от рождения. Так же забавно смотреть на их потуги и усилия, как на слона, что пытается стоять на голове.

Но лучше обезуметь от счастья, чем от неудач, лучше неуклюже танцевать, чем ходить прихрамывая. Учитесь же мудрости моей: даже у худшей вещи есть пара хороших обратных сторон,

– даже у худшей вещи достаточно крепкие ноги для пляски: научитесь же, высшие люди, стоять на собственных ногах!

Забудьте напевы скорби, забудьте уныние черни! О, какими унылыми ныне видятся мне все эти паяцы, веселящие толпу! Но все нынешнее принадлежит толпе.

20.

Будьте подобны ветру, вырывающемуся из ущелий: под свист своей дудки готов он плясать, моря дрожат и мечутся под стопами его.

Хвала тому бравому, неукротимому духу, дающему крылья ослам, доящему львиц, духу, что ураганом приходит ко всему нынешнему и ко всякой черни,

– духу, который враждебен мудрствующему чертополоху, всем увядшим листьям и плевелам: хвала этому дикому, бодрому, свободному духу бури, который танцует по трясинам и унынию, словно по лугам!

Который ненавидит жалких дворняг простонародья и всякое отродье, неудавшееся и мрачное; хвала этому духу свободных умов, этой смеющейся буре, что засыпает пылью глаза тем, кто покрыт язвами и видит все в черном цвете!

О высшие люди, вот ваше худшее: вы не учились танцевать так, как должно, – так, чтобы в танце выйти за пределы свои! Что с того, если вы – не удались!

Сколь многое еще возможно! Так научитесь же в смехе выходить за пределы свои! Вы, лихие танцоры, выше и выше вздымайте сердца ваши! И не забывайте как следует посмеяться!

Этот венок смеющегося, этот венок из роз: вам я бросаю его, братья мои. Смех объявил я священным: о высшие люди, учитесь смеяться!

ПЕСНЬ ТОСКИ

1.

Говоря эти речи, Заратустра стоял около входа в пещеру; а с последними словами ускользнул от гостей своих и выбежал ненадолго на свежий воздух.

"О чистые запахи вокруг меня, – воскликнул он, – о блаженная тишина, меня окружающая! Но где же звери мои? Ко мне, мой орел и змея моя!

Скажите мне, звери: быть может, дурной запах исходит от этих высших, когда они собираются все вместе? О чистые запахи вокруг меня! Лишь теперь понимаю и чувствую я, как люблю вас, звери мои!".

И снова Заратустра повторил: "Я люблю вас, звери мои!". И когда говорил он слова эти, змея и орел приблизились к нему, подняв на него взоры. Так стояли они тихо втроем, вдыхая в себя чистый воздух и упиваясь им. Ибо здесь он был лучше, чем у высших людей.

2.

Но едва Заратустра покинул пещеру, как поднялся старый чародей и сказал, лукаво оглянувшись: "Он вышел! И вот, высшие люди, – позвольте и мне, подобно ему, пощекотать вас этим льстивым именем, – и вот, высшие люди, мной уже овладевает злой мой дух и обманщик, дух лжи и чар, демон уныния,

– извечный противник Заратустры: простите это злому духу моему! Жаждет он развернуть перед вами чары свои, ибо как раз наступил *час* его: тщетно борюсь я с этим злым духом.

Всем вам, каковы бы ни были почести, что воздаете вы себе на словах, называя себя "свободными умами", или "правдивыми", или "кающимися духом", или "свободными от оков", или "исполненными великой тоски",

– всем вам, страдающим, подобно мне, от *великого отвращения,* – ибо старый Бог умер для вас, а новый не лежит еще спеленатый в колыбели – всем вам близок злой дух мой, демон чар.

Я знаю вас, высшие люди, я знаю и его, этого мучителя, которого люблю против воли своей, – Заратустру; часто напоминает мне он прекрасную маску святого,

– новый причудливый маскарад, которым развлекается злой дух мой, демон уныния: часто кажется мне, что я люблю Заратустру ради злого духа моего.

Но уже овладевает он мной и подчиняет себе, этот дух тоски, демон вечерних сумерек; и поистине жаждет он:

– откройте же глаза! Жаждет он явиться нагим, – я не знаю еще, в мужском или женском обличье, – но приближается он и подчиняет меня, о горе мне! Пробудите же чувства свои!

День стихает, на все нисходит вечер, даже на все наилучшее; теперь слушайте и смотрите, высшие люди, каков этот дух, – мужчина ли он, женщина ли – этот демон вечерней тоски!".

Так говорил старый чародей, лукаво оглядываясь вокруг, а потом взял свою арфу.

3.

Когда отстоится воздух,   
И утешительница-роса   
Незримо – неслышно низойдет на землю,   
ибо легка ее обувь,   
Как у всех кротчайших утешителей, –   
Вспоминаешь ли ты, о пылкое сердце мое,   
Как некогда алкало росы, слезы небесной,   
Как жаждало – изможденное;   
А солнце бросало на тебя косые взгляды   
Сквозь черное плетение деревьев,   
И взгляды эти, лучи его,   
Слепящие, насмешливые,   
Затевали злую игру вокруг тебя,   
Мелькая на травянистых тропинках,   
Залитых закатным золотом раскаленного ока?

"Ты? *Истины* Жених? – насмехались они, –   
О нет! Поэт – и только!   
Зверь изворотливый и хищный,   
Обреченный лгать,   
Лгать без принужденья, искусно и умело,   
Зверь, жадный до поживы,   
Лицо скрывающий под разноцветной маской,   
Ты – маска самому себе,   
И самому себе – добыча!   
И это – Истины Жених?   
О нет! Безумец, поэт – и только!   
Способен ты лишь к ухищреньям речи,   
Скрываясь под личиной сумасброда; ты –   
мастер на словесные коленца;   
Ты возводишь мосты из слов – разноцветные радуги,   
И по ним, ненадежным, слоняешься бесцельно,   
Витая меж воображаемым небом   
И выдуманной землей, –   
Безумец, поэт – *и только!*

И это – Истины Жених?   
Не холодный, не бесстрастный,   
Не набожный,   
Не истукан, пред храмом,   
Нет! Но нетерпимый к изваяньям Истины,   
К безжизненным ее подобьям   
Жилище твое – пустыня, не храм.   
Ты полон дерзости кошачьей,   
Запрыгнуть норовишь во все Случайное,   
Как подлый кот в открытое окно,   
Тебе щекочет ноздри одурь девственного леса –   
Призывная, манящая,   
Тебе бы оказаться в том лесу   
Среди зверей в нарядных пестрых шкурах,   
Тебе бы зверем быть –   
Могучим и надменным,   
Блаженно-кровожадным,   
Божественно и дьявольски прекрасным,   
Коварным,   
Ты фыркаешь от страстных вожделений,   
Не ведаешь греха в погоне за добычей!

Тебе бы зверем быть,   
Орлом, что зрит *свои* глубины,   
Паря над бездной,   
Потом внезапно,   
Разгоряченный голодом   
И трепеща сладострастно крылами,   
Низринется на блеющих ягнят,   
Ибо жестоко ненавидит он овечьи души   
И тех, чей взгляд невинен, как у агнца, –   
Пушистых, серых и ручных.

Как у орла, у пантеры –   
Вожделения поэта   
И страстные желания *твои*,   
Сокрытые под тысячью личин,   
Ведь ты – безумец, ты поэт – и только!

Взираешь ты на человека, как на Бога,   
И в нем же видишь ты покорную овцу;   
И высшая тебе награда –   
Терзать и Господа, и агнца в человеке,   
Терзать, *смеясь* при этом!   
Услада в том пантеры и орла,   
В том счастье высшее безумца и поэта!"

Когда отстоится воздух,   
В размытом зареве заката проступает   
Завистливо вкрадчивый   
Бледно-зеленый лунный серп,   
Враждебный дню, крадется он над розами,   
И с каждым шагом лунного жнеца   
Цветы бледнеют, поникают   
И погружаются все глубже в темноту: –

Так некогда и я,   
Поникший и усталый от Дневного,   
Больной от света,   
Отринул мудрости безумье   
И страстные дневные помышленья   
И погрузился в сумерки,   
Страждущий и опаленный прозреньем *одной* истины:   
Помнишь ли ты, пылкое сердце мое,   
Как некогда тебя снедала жажда? –   
*Жажда быть отринутым*   
*От всякой мудрости!*   
*Только безумец! Только поэт!*

О НАУКЕ

Так пел чародей; и все собравшиеся незаметно попали, как птицы, в сети его мрачного, лукавого сладострастия. Только совестливого духом не удалось ему пленить: он быстро выхватил арфу из рук чародея и воскликнул: "Воздуха! Дайте чистого воздуха! Позовите Заратустру! Ты отравляешь воздух этой пещеры и делаешь его удушливым, старый, коварный колдун!

Ты внушаешь нам неведомые желания, ты соблазняешь нас жаждой неведомых пустынь. Горе, если такие, как ты, начинают превозносить *истину* и болтать о ней!

Горе всем свободным умам, которые не остерегаются *подобных* тебе чародеев! Пропала свобода их, ибо учением своим заманиваешь ты назад, в темницы;

– старый, мрачный демон уныния, манящие звуки свирели слышатся в жалобах твоих; ты похож на того, кто своим восхвалением целомудрия тайно склоняет к негам сладострастия!".

Так говорил совестливый духом, а старый чародей оглядывался вокруг, наслаждаясь победой, и потому проглотил досаду, причиненную ему словами совестливого духом. "Тише! – кротко ответил он. – Чтобы хорошие песни нашли отклик в душе, после них подобает хранить молчание.

Так ведут себя все высшие люди, собравшиеся здесь. Ты, должно быть, мало что понял в песне моей? Мало в тебе духа чар!"

"Ты воздаешь мне хвалу тем, что отделяешь от себя, – возразил совестливый духом, – вот и прекрасно! Но вы, сидящие здесь, я все еще вижу похоть в ваших глазах:

– вы, свободные души, где же свобода ваша, вы, свободные? Чем-то смахиваете вы на тех, кто долго пялился на пляшущих голых девок: так и души ваши – сами пустились в пляс!

Должно быть, много в вас того, что чародей называет своим злым духом чар и обмана: и этим отличаюсь я от вас.

И поистине немало мы переговорили и передумали тут, в пещере, пока не вернулся Заратустра, и для меня этого было достаточно, чтобы понять: мы с вами разные.

Разного *ищем* мы здесь, наверху, – вы и я. Ибо я ищу *большей надежности*, потому и пришел я к Заратустре. Он – самая прочная башня и самая крепкая воля

– ныне, когда все колеблется, когда трясется земля. Но глядя сейчас в глаза ваши, кажется мне, что вы, наоборот, ищете *большей неустойчивости*,

– вы хотите побольше ужасов, опасностей, землетрясений. Простите мне самоуверенность мою, но порой сдается мне, что вы, высшие люди,

– жаждете как раз такой жизни, которая *меня* страшит больше всего, жизни скверной, полной опасностей, жизни диких зверей; вас привлекают леса и пещеры, горные стремнины и лабиринты.

И больше всего вам нравится не тот, кто может избавить от всякой опасности, а совратитель, уводящий в сторону от всех дорог. Но если для вас жажда всего этого является чем-то *подлинным*, то для меня – желать подобное представляется *невозможным*.

Ибо страх – это врожденное и изначальное чувство человека; страхом объясняется все – и первородный грех, и унаследованная добродетель. Из страха выросла и моя добродетель, которая зовется наукой.

Ибо искони взращивался в человеке страх перед дикими животными, включая и того зверя, которого таит он в себе и сам же страшится: Заратустра называет этого зверя – "внутренний скот".

Этот страх, древний и изначальный, ставший, наконец, утонченным и одухотворенным, теперь, как мне кажется, зовется *наукой*.

Так говорил совестливый духом; Заратустра же, который как раз входил в пещеру, – а он слышал последнюю речь и разгадал ее смысл, – бросил ему пригоршню роз, рассмеявшись над его "истинами". "Как? – воскликнул он. – Что слышу я? Поистине, кажется мне, что один из нас двоих – глупец, а "истину" твою я мигом поставлю вверх ногами.

Ибо для нас *страх* – это исключение. Но мужество и дух приключения, жажда неизведанного и того, на что никто еще не решался, – *мужество*, вот что по моему разумению есть человеческая предыстория.

У самых диких и бесстрашных зверей похитил человек, ревнуя, все их добродетели: и только так сделался он человеком.

Это мужество, став, наконец, утонченным и одухотворенным, это человеческое мужество с крыльями орла и мудростью змеи, я думаю, зовется ныне – "

*"Заратустра!"* – воскликнули в один голос все собравшиеся и громко рассмеялись; но что-то наподобие тяжелой тучи отделилось от них и поднялось вверх. Рассмеялся и чародей и сказал не без лукавства: "Ну что ж! Злой дух мой ушел!

И разве я сам не предостерегал вас против него, когда говорил, что он плут и обманщик, этот дух лжи?

И в особенности тогда, когда показывается нагим. Но *я* не виноват в его кознях! Разве я создал этот мир и его вместе с миром?

Ну что ж! Будем же снова довольны и веселы! И хотя гневен взор Заратустры – взгляните на него! Он сердит на меня,

– но еще до наступления ночи вновь он полюбит меня и станет восхвалять, ибо не может обходиться долго без подобных глупостей.

*Он* – любит врагов своих: из всех, кого только видел я, лучше всех овладел он этим искусством. Но за любовь эту к врагам – мстит он друзьям своим!"

Так говорил старый чародей, и высшие люди выражали одобрение словам его: и тогда Заратустра стал ходить среди них, с любовью и ненавистью пожимая руки друзьям своим, словно желая примириться со всеми и испросить прощения. Но когда дошел он до выхода из пещеры, опять потянуло его на свежий воздух и к зверям его, и он собрался незаметно ускользнуть.

СРЕДИ ДОЧЕРЕЙ ПУСТЫНИ

1.

"Не уходи! – сказал тогда странник, называвший себя тенью Заратустры. – Останься с нами, не то прежняя смутная тоска снова нападет на нас.

Старый чародей от души поделился с нами тем наихудшим, что было у него, и вот, взгляни, – у нашего доброго благочестивого Папы на глазах слезы, и он опять готов плыть по морю уныния.

Похоже, что эти короли стараются сдерживаться перед нами: ибо лучше всех нас научились они этому за сегодняшний день! Но я готов побиться об заклад, что не будь свидетелей, они бы тоже затеяли скверную игру,

– скверную игру медленно ползущих облаков, влажного уныния, сырой тоски, заволоченного неба, украденных солнц, завывающих осенних ветров!

– скверную игру наших рыданий и криков о помощи: останься с нами, о Заратустра! Здесь много скрытых бед, желающих высказаться, много облачного и вечернего, много спертого воздуха!

Ты насытил нас сильной, мужской пищей и напитал подкрепляющими притчами: так не допусти же того, чтобы дух женственности и изнеженности овладел нами за десертом!

Ты один делаешь воздух, тебя окружающий, крепким, бодрым и чистым! Нигде на земле не встречал я воздуха свежее, чем в пещере твоей!

Хотя и повидал я много стран, а нос мой разучился распознавать и оценивать разные запахи; у тебя же, в пещере твоей, услаждается обоняние мое как никогда ранее!

Разве что однажды, – о, прости мне одно воспоминание! Не обессудь за одну старую застольную песню, которую сложил я, живя среди дочерей пустыни:

– ибо там тоже был добрый, здоровый, светлый воздух Востока: там отдалился я дальше всего от затянутой тучами, от сырой, угрюмой, дряхлой Европы!

Любил я тогда девушек Востока и других поднебесных стран, чьи лазоревые небеса не омрачали ни единое облако, ни единая мысль.

Вы не поверите, до чего же чинно восседали они, когда не плясали – глубокие, но при этом бездумные, словно маленькие тайны, словно разукрашенные лентами загадки, словно десертные орешки,

– пестрые, яркие и чуждые, поистине так! Но не омрачало их ни одно облачко – эти загадки позволяли разгадывать себя: и вот – в честь этих девушек сочинил я тогда застольный псалом – псалом для десерта".

Так говорил странник, называвший себя тенью Заратустры; и прежде чем кто-нибудь успел ответить ему, он схватил арфу старого чародея и, скрестив ноги, оглянулся вокруг, спокойный и мудрый: медленно и испытующе он втянул в себя воздух, будто пробуя на вкус новый, незнакомый воздух чужой страны. А потом запел в какой-то особой манере, с воплями и завываниями.

2.

*Пустыня ширится: горе тому, кто пустыни таит!*

О! Торжественно!   
Поистине торжественно!   
Достойное начало!   
По-африкански пышно!   
Как и пристало льву   
Или высоконравной обезьяне, –   
Но чуждо вам, возлюбленные девы,   
У чьих прелестных ног мне, европейцу,   
Позволено сидеть. Селах.

Поистине, достойно удивленья,   
Что я – вблизи пустыни   
И в то же время от нее далек   
И не опустошен:   
Оазис-крошка,   
Зевнув, открыл благоуханные уста   
И я низринулся в сладчайшие пределы,   
И вот, возлюбленные девы,   
Я перед вами. Селах.

Благословенно чрево того кита,   
Что гостя приютил! –   
Понятен ли ученый мой намек?   
Хвала утробе, что была с невольным постояльцем   
Радушна, как со мной оазис:   
Но в чем себе позволю усомниться, –   
Я сын Европы, а она –   
Старух всех недоверчивей на свете.   
Да исправит это Господь!   
Аминь!

И вот я здесь,   
Вокруг меня оазис;   
Я словно финик –   
Румяный, сладкий, сочный, золотистый,   
Вожделеющий девичьих уст, алчущий укуса   
Белоснежных, холодных и острых девичьих зубов:   
Сердца всех пылких фиников   
Томятся такой же страстью. Селах.

Итак, похожий – даже слишком –   
На вышеназванные южные плоды,   
Лежу я, окруженный роем   
Игривых и назойливых жучков,   
А также сумасбродной суетой   
Нескромных, крошечных причуд и вожделений –   
О кошки-девушки, Зулейка и Дуду –   
Безмолвные и полные предчувствий,   
Я вами окружен и *осфинксован*,   
Когда одним бы словом   
Мне выразить как можно больше чувства:   
(Да простится мне этот грех против языка!)   
Я с упоением вдыхаю райский воздух,   
Прозрачный, свежий, в золотых прожилках,   
Давно уже не посылал на землю месяц   
Такого воздуха, –   
Случайно ли, по прихоти, –   
Как повествуют древние поэты?   
Но я из рода скептиков и сомневаюсь в этом,   
Я вышел из Европы, а она –   
Старух всех недоверчивей на свете.   
Да исправит это Господь!   
Аминь!

Сижу я здесь, любезные подруги,   
Без будущего, без воспоминаний,   
Упиваюсь благоуханьем,   
Втягиваю его раздутыми от жадности ноздрями,   
Гляжу на пальму,   
Что как танцовщица   
Сгибает стройный стан,   
Стоит заглядеться   
И начинаешь подражать ее движениям!   
Она похожа на танцовщицу, что долго –   
О, как небезопасно долго! –   
Стояла на одной ноге –   
Быть может, о второй она забыла?   
По крайней мере тщетно я искал   
Бесценную другую половину,   
В священной близости искал легчайших,   
Покровов тканых и блестящих,   
Тончайших, развевающихся юбок.   
Увы, мои прелестные подруги,   
Хотите верьте, хотите – нет:   
Она утратила вторую ножку!   
Ах, какая жалость!   
Быть может, где-то блуждает она,   
Безутешная, одинокая?   
Быть может, ужасного чудовища страшится –   
Льва с пышной желтой гривой?   
Или уже обглодана, разгрызена на части?   
О горе! Не иначе, как съедена она! Селах.

О, не рыдайте, нежные сердца!   
Сердца сладчайших фиников, не плачьте!   
Сосцы, наполненные молоком!   
Сосуда с благовониями!   
Бедняжечка Дуду, утешься!   
Зулейка, будь смелей!   
Или уместней укрепиться сердечным средством –   
Умащенной бальзамом притчей?   
Торжественным наставленьем?

Поднимись, достоинство!   
Достоинство добродетели! Достоинство Европы!   
Раздуйтесь, мехи добродетели!   
Не повыть ли,   
Пореветь еще!   
Исторгнуть рев высоконравный!   
Высоконравным львом рычать   
пред дочерьми пустыни!   
О девы!   
Для алчной страсти европейской   
Рев добродетели всего милее!   
Я, европеец, перед вами,   
Я не могу иначе, помоги мне, Боже! [[**19**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-19)]   
Аминь!

*Пустыня ширится: горе тому, кто пустыни таит!*

ПРОБУЖДЕНИЕ

1.

После песни странника – тени Заратустры пещера вдруг наполнилась шумом и смехом: и так как собравшиеся гости говорили все разом, и даже осел при таком воодушевлении не остался безмолвным, то Заратустрой овладели легкое отвращение к гостям своим и озорное настроение, хотя и радовался он веселью их. Ибо оно казалось ему признаком выздоровления. И вот выскользнул он потихоньку на свежий воздух и стал говорить со зверями своими.

"Куда подевалось теперь несчастье их? – спросил он, вздохнув с легкой досадой. – Похоже, что, побыв у меня, разучились они взывать о помощи!

– хотя, к сожалению, не разучились еще вообще кричать". И Заратустра заткнул себе уши, ибо к шумному ликованию высших людей каким-то странным образом примешивалось ослиное "И-А".

"Им весело, – продолжал он, – и кто знает, быть может, веселятся они за счет хозяина дома? И хотя они учились смеяться у меня, *не моему* смеху научились.

Хотя, что с того! Они уже немолоды и смеются, и выздоравливают по-своему; куда более худшее выносили уши мои и не возмущались.

День этот – победа: уже отступает, бежит мой старый, заклятый враг – *Дух Тяжести!* Как хорошо кончается день, начавшийся так тяжело и скверно!

*И хочет* он завершиться. Наступает вечер: он мчится по морю, лихой всадник! Как раскачивается он, блаженный, возвращаясь домой, на пурпурных седлах своих!

Небо смотрит так ясно, мир так глубок: о вы все, удивительные люди, пришедшие ко мне, еще стоит жить, если жить рядом со мной!".

Так говорил Заратустра. И вновь из пещеры послышались крики и смех высших людей: тогда он заговорил опять.

"Клюет эта рыба, годится для нее приманка моя, и вот – отступает их враг, Дух Тяжести. Если я не ослышался, они уже учатся смеяться над собой.

Действует на них мужская пища, сочные и укрепляющие притчи мои: и поистине, не угощаю я гнилыми овощами! У меня пища воинов, пища завоевателей; я пробуждаю новые желания.

Новые надежды в руках и ногах их, сердца их расширяются. Новые слова находят они, и скоро будет их дух дышать дерзновением.

Разумеется, такая пища не пригодна для детей и для томящихся унынием женщин – как старых, так и молодых. По-другому как-то надо убеждать нутро их: не врач я им и не учитель.

*Отвращение* отступает от этих высших людей: ну что ж! это моя победа. В моем царстве они в безопасности, всякий глупый стыд бежит их, сердца их открываются.

Они раскрывают сердца свои, счастливые часы возвращаются к ним, они тщательно обдумывают и находят успокоение, – они становятся *благодарными*.

И то, что они становятся благодарными, считаю я лучшим признаком. Пройдет еще немного времени, и они придумают себе праздники и поставят памятники своим прежним радостям.

Они *выздоравливают!*" – Так говорил с радостью Заратустра в сердце своем, глядя вдаль; а звери подошли ближе к нему и почтили покой его и счастье.

2.

Но тут испуг овладел Заратустрой, ибо слух его, уже привыкший к шуму и смеху, доносившимся из пещеры, был поражен внезапно наступившей мертвой тишиной; а нос его учуял запах курящихся благовоний, как будто жгли сосновые шишки.

"Что случилось? Чем они занимаются?" – спросил он себя и подкрался к входу в пещеру, так, чтобы увидеть гостей своих, оставаясь при этом невидимым. О чудо из чудес! Что же узрели глаза его!

"Все они снова стали *благочестивыми*, они *молятся*, они обезумели!" – сказал он, безмерно удивленный. И действительно! Все высшие люди – оба короля, Папа в отставке, злой чародей, добровольный нищий, странник и тень, старый прорицатель, совестливый духом и самый безобразный человек – все они стояли на коленях, словно дети или старые набожные бабки, и молились ослу. А самый безобразный человек как раз начал хрипеть и сипеть, словно нечто невыразимое в нем искало исхода; когда же, наконец, он облек это в слова, то это было не что иное, как своеобразная благочестивая литания в честь осла, которому молились и воскуряли благовония. И таковы были слова ее:

Аминь! Честь, и хвала, и мудрость, и благодарение, и сила, и слава Господу нашему во веки веков! [[**20**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-20)]

– А осел издал крик: "И-А".

Он взял на себя бремя наше, он принял образ слуги, сердце его терпеливо, и он никогда не скажет "Нет"; и тот, кто любит Господа своего, тот наказует его [[**21**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-21)].

– А осел издал крик: "И-А".

Он не говорит: разве что постоянно произносит "Да" тому миру, который сотворил: так восхваляет он его. И в этом искушенность его, что не говорит он: так что редко бывает он неправ.

– А осел издал крик: "И-А".

Незаметно проходит он по миру. Серый цвет любит он, им окутывает добродетель свою. Если и есть дух у него, то он сокрыт: однако каждый верует в его длинные уши.

– А осел издал крик: "И-А".

Какая потаенная мудрость – иметь длинные уши всегда говорить "Да" и никогда "Нет"! Не по своему ли образу и подобию сотворил он мир сей – то есть, как можно глупее?

– А осел издал крик: "И-А".

И прямыми, и кривыми путями ходишь ты; и мало заботит тебя, что кажется людям кривым, а что – прямым. По ту сторону добра и зла лежит царство твое. В том и невинность твоя, что не знаешь ты, *что такое* невинность.

– А осел издал крик: "И-А".

Никого не отвергаешь ты, ни королей, ни нищих. И детям не возбраняешь ты приходить к тебе, а если скверные мальчишки дразнят тебя, ты простодушно говоришь: "И-А".

– А осел издал крик: "И-А".

Любишь ты ослиц, и свежие фиги нравятся тебе, и воздаешь ты должное всякой пище. Запах чертополоха волнует сердце твое, когда случается тебе быть голодным. И в этом – божья премудрость.

– А осел издал крик: "И-А".

ПРАЗДНИК ОСЛА

1.

[[**22**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-22)] Но на этом месте литании Заратустра уже не мог больше сдерживаться, сам крикнул "И-А" еще громче, чем осел, и ринулся на обезумевших гостей своих. "Чем это вы тут занимаетесь, приятели? – воскликнул он, рывками поднимая с земли молящихся. – Счастье ваше, что никто, кроме Заратустры, не видел вас.

Всякий подумал бы, что вы, с этой вашей новой верой, – ярые богохульники или вконец потерявшие разум старые бабы!

А ты, последний Папа, как миришься ты с самим собой, столь недостойным образом молясь ослу, как будто это Бог?".

"Прости меня, о Заратустра, но во всем, что касается Бога, я просвещеннее тебя. И это по праву.

Лучше уж возносить молитвы Господу в таком вот образе, чем вообще не иметь образа божьего! Подумай над этими словами, мой возвышенный друг, и ты скоро постигнешь истину, заключенную в них.

Тот, кто сказал: "Бог есть Дух", сделал величайший шаг и прыжок, приблизивший к неверию, шаг, какого никто еще на земле до него не делал: нелегко выправить то, что сказано им!

Старое сердце мое волнуется и трепещет от того, что есть еще на земле нечто достойное молитвы. Прости же, о Заратустра, старому благочестивому сердцу последнего Папы!"

"А ты, – обратился Заратустра к страннику, называвшему себя его тенью, – ты именуешь себя свободным духом и мнишь себя таковым? А сам грешишь идолопоклонством, участвуя во всяких поповских ухищрениях?

Поистине, то, что ты устраиваешь здесь, еще хуже того, что ты вытворял с этими скверными черномазыми девчонками! Эх ты, жалкий новообращенный!".

"Да, все это довольно гнусно, – отвечал странник, называвший себя тенью Заратустры, – и ты прав: но я ничего не могу с этим поделать! Старый Бог снова жив, о Заратустра, что бы ты ни говорил.

Во всем виноват самый безобразный человек – это он воскресил его. Хоть он и говорит, будто бы когда-то он убил его, но *смерть* богов – всегда предрассудок".

"А ты, – спросил Заратустра, – ты, старый злой чародей, что делаешь ты? Кто в этот свободный век поверит в тебя, если сам ты исповедуешь этот божественный ослизм?

Глупостью было то, что делал ты; как ты, будучи столь умным, мог совершить такую глупость?".

"О Заратустра, – отвечал проницательный чародей, – ты прав, то была глупость, и я уже поплатился за это".

"Ну, а ты, – обратился Заратустра к совестливому духом, – поразмысли как следует и раскрой глаза пошире! Не восстает ли против этого совесть твоя? Не слишком ли чист дух твой для молитв и чадящего фимиама этих святош?".

"В этом что-то есть, – отвечал тот, вытаращив глаза, – есть нечто такое во всем этом спектакле, что ублажает даже совесть мою.

Возможно, я просто не осмеливался веровать в Бога, однако для меня несомненно то, что в этом образе Бог предстает наиболее достоверным.

По свидетельству благочестивых, Бог вечен: у кого столько времени, тот может позволить себе не торопиться. Как можно глупее и медленнее – *таким способом* можно зайти весьма далеко.

Тот, у кого столько духа, вполне может увлечься глупостью и безумием. Вспомни себя, Заратустра!

Поистине! Даже сам ты вполне мог бы сделаться ослом от изобилия своего и от мудрости своей.

Разве не любит истинно мудрый ходить кривыми путями? Этому учит сама очевидность, этому учишься, *глядя на тебя*, Заратустра!".

"Ну и, наконец, ты, – сказал Заратустра, повернувшись к самому безобразному человеку, который все еще лежал на земле, протянув руку к ослу (ибо он давал ему испить вина). – Ты, кому нет наименования, скажи, что делал ты?

Ты казался мне преображенным, сверкали глаза твои, безобразие твое было окутано возвышенным: что же делал ты?

Значит, это правда, что говорят, будто ты воскресил его? Для чего же? Разве безо всякой причины его убили и отделались от него?

Ты сам казался мне воскрешенным: так в чем же дело? Почему ты повернул назад? Почему изменил себе? Говори же, безымянный!".

"О Заратустра, – отвечал самый безобразный человек, – ты плут!

Жив ли он еще, воскрес ли, умер ли окончательно, кто из нас двоих лучше знает это? Я спрашиваю тебя.

Однако я знаю одно: у тебя научился я некогда этому, о Заратустра: тот, кто желает убить окончательно, тот *смеется*.

"Убивают не гневом, а смехом", – так говорил ты когда-то. О Заратустра, ты, сокрытый, разрушающий без гнева, опаснейший из всех святых, ты – плут!"

2.

И тогда произошло следующее: Заратустра, удивленный столь дерзкими ответами, бросился к выходу из пещеры и, повернувшись к гостям своим, воскликнул громовым голосом:

"Ах вы, шуты и паяцы, все вы, тут собравшиеся! Ни к чему прятаться и притворяться передо мной!

Как трепетали сердца ваши от ярости и восторга, что наконец-то вы снова стали, словно малые дети – столь же благочестивы,

– что, наконец, вы снова, подобно детям, стали молиться, складывать ручки и говорить: "Добрый Боженька!".

Однако покиньте теперь эту детскую – пещеру мою, где сегодня все несмышленое чувствует себя, как дома. Уймите там, на свежем воздухе, ваш ребяческий пыл и волнение сердца!

Конечно, если не станете вы подобны детям, то не войти вам в царствие небесное. (И Заратустра воздел руки горе).

Но мы и не стремимся в то небесное царство: мы стали мужественны, мы стали мужами, *и потому желаем мы земного царства"*.

3.

И снова Заратустра начал говорить. "О новые друзья мои, – сказал он, – вы, удивительные, вы, высшие люди, как нравитесь вы мне теперь,

– с тех пор, как вы снова стали веселы! Поистине все вы расцвели: и думаю я, что для подобных цветов нужны *новые праздники*, – какая-нибудь дерзкая бессмыслица, что-то вроде литургии и ослиного праздника, да еще старый дурень и безумец Заратустра, ветер и ветреник, который проветрит и просветлит вам души.

Не забывайте этой ночи и этого ослиного праздника, о высшие люди! Будучи у меня, выдумали вы это, и я считаю это добрым предзнаменованием, ибо такое могут выдумать лишь выздоравливающие!

И если будете вы отмечать праздник осла еще когда-нибудь, делайте это из любви к себе и из любви ко мне! И в память обо *мне*!".

Так говорил Заратустра.

ПЕСНЬ ОПЬЯНЕНИЯ\*

1.

Тем временем все вышли на свежий воздух, в прохладную задумчивость ночи; Заратустра вел за руку самого безобразного человека, чтобы показать ему свой ночной мир, большой округлый месяц и серебристые водопады у пещеры. И вот наконец все эти люди – уже немолодые, но с утешенными и бодрыми сердцами – встали друг подле друга и дивились сами себе, что им так хорошо на земле; а тайна ночи все глубже и глубже проникала в сердца их. И снова подумал Заратустра: "О, как нравятся мне теперь эти высшие люди!" – но не высказал этого вслух, ибо почтил счастье их и молчание.

\* В издании КСА эта глава называется "Песнь странствующих в ночи".

Но тут случилось самое удивительное из всего произошедшего за этот долгий и удивительный день: самый безобразный человек вновь, и теперь уже в последний раз начал хрипеть и клокотать, а когда, наконец, дошло дело до слов, что ж! – уста его внятно и вразумительно исторгли вопрос, вопрос столь чистый, глубокий и ясный, что у всех, услышавших его, замерло в груди сердце.

"О вы, друзья мои, – вопрошал самый безобразный человек, – что происходит в душах ваших? Благодаря этому дню, впервые в жизни своей доволен я, что прожил ее,

– и не устану я свидетельствовать о том, что стоит жить на земле: один день, один праздник с Заратустрой научил меня любить ее.

"Так это была жизнь? – скажу я смерти. – Ну что ж! Еще раз!".

Друзья мои, что происходит в душах у вас? Готовы ли вы, как и я, сказать смерти: "Так *это* была жизнь? Ну что ж! Еще раз!".

Так говорил самый безобразный человек, а уже было близко к полуночи. И как вы думаете, что случилось тогда? Как только высшие люди выслушали его, осознали они преображение и выздоровление свое и поняли, кто принес им все это. И тогда бросились они к Заратустре, исполненные уважения, любви и признательности, целовали ему руки и, соответственно душевному складу своему, одни смеялись, другие же плакали. А старый прорицатель плясал от удовольствия; и если, как полагают многие повествователи, был он пьян от сладкого вина, [[**23**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-23)] то, несомненно, гораздо сильнее опьяняла его радость жизни, ибо отрекся он от всякой усталости. Некоторые даже утверждают, что плясал и осел: видно, не зря самый безобразный человек напоил его вином. Было ли это так, иначе ли, не важно, но если даже осел и не плясал в тот вечер, то произошли вещи куда более странные и удивительные. Словом, как гласит поговорка Заратустры: "Ну что ж!".

2.

Заратустра же, пока происходило все вышеописанное, стоял, будто пьяный: угасал взор его, язык заплетался, ноги подкашивались. И кто бы мог угадать, какие мысли проносились тогда в душе его? Однако было очевидно, что дух его отступил от него, и обратился вспять, и устремился вперед, и находился где-то в далеком будущем, и словно пребывал, как написано, "над горными перевалами, между двумя морями,

– блуждая, словно тяжелая туча, между прошедшим и будущим". [[**24**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\задания%20для%20теологов,%201%20курс%20(диск)\электронные%20хрестоматии\Истор%20этич%20учен%20Первоисточн\Ницше.%20Так%20говорил%20Заратустра\nitzf01\refer.htm#g4-24)]

Но высшие люди поддерживали его со всех сторон, и мало-помалу пришел он в себя и отстранил рукой толпу озабоченных почитателей. Вдруг он быстро повернул голову, словно услышал что-то, и, приложив палец к губам, молвил: "Грядет!".

И тотчас окружила его атмосфера тишины и тайны, а из глубокой дали донесся долгий, протяжный звон колокола. Заратустра, как и все высшие люди, прислушался к нему, а потом снова приложил палец к губам и сказал: "Грядет! Грядет! Приближается полночь!" – и преобразился голос его. Но он все еще не двигался с места; и тогда еще больше сгустилась вокруг атмосфера тишины и тайны, и все вокруг прислушивалось – даже осел, и звери, бывшие в особом почете у Заратустры, – орел и змея, и сама пещера Заратустры, и большой холодный месяц, и сама ночь. И вот, Заратустра в третий раз приложил палец к губам и произнес:

*"Грядет! Грядет! Грядет! Пойдемте же! Час пробил! Отправимся странствовать в ночь!"*.

4.

О, горе мне! Куда исчезло время? Или погрузился я в глубочайшие источники? Мир дремлет –

О! лает пес, светит месяц. Я скорее умру, нежели поведаю думы, что ныне переполняют полночное сердце мое.

Я умер. Свершилось. Паук, зачем оплетаешь меня паутиной? Жаждешь крови моей? О! Выпадает роса, близится час,

– час леденящего холода, час, когда я замерзаю и цепенею, час, вопрошающий неустанно: "Чье сердце способно вместить это?

– кто должен быть властелином земли? Кто скажет: "Отныне так вы будете течь, большие и малые реки!"?

– близится час: о человек, о высший человек, внимай! Эта речь – для тонкого слуха, для твоего слуха – *что вещает глубокая полночь?*

3.

"Близится полночь, о высшие люди: и вот – хочу сказать я вам кое-что на ухо, как и тот древний колокол, что обращается к слуху моему,

– с той же тайной и ужасом, так же проникновенно, как тот древний полночный колокол, переживший на веку своем больше любого из смертных;

– отсчитавший до последнего мучительные удары сердец, что бились в груди отцов ваших. О, как вздыхает она! Как смеется во сне древняя глубокая полночь!

Тише! Тише! Слышится многое, что днем не осмеливается говорить в полный голос; лишь теперь, в прохладе ночи, когда успокоился шум сердец,

– лишь теперь внятно слуху оно и вещает, проникая в ночные не спящие души: о, как вздыхает она! О, как смеется во сне!

– разве не слышите вы, как таинственно, страшно и проникновенно вещает она, глубокая-глубокая древняя полночь? *О человек, внимай!*

*5*.

Меня уносит, танцует душа моя. Ежедневный труд! Ежедневный труд! Кто должен быть господином земли?

Холоден месяц, ветер молчит. О! Достаточно ли высоко летали вы? Вы танцевали: но ноги – все же – не крылья.

Вы, лихие танцоры, всякая радость уже миновала, прокисло вино, истлели кубки, слышен невнятный голос могил.

Невысоко летали вы: и вот – стал слышен невнятный голос могил: "Избавьте же мертвых! Почему так долго тянется ночь? Не пьянит ли нас месяц?".

О высшие люди, избавьте же мертвых, пробудите умерших! Увы! Почему червь все еще гложет? Близится, близится час,

– стонет колокол, и в груди еще сердце скрежещет, а червь все гложет и точит древо сердца. О! *Мир глубок!*

6.

Сладкозвучная лира! Сладкозвучная лира! Как люблю я звучание твое, это мелодичное пьянящее кваканье! Издалека, с прудов любви, доносятся до меня переливы песни твоей!

О, древний колокол, сладкозвучная лира! Чьи только скорби не разрывали сердце твое – скорби отцов, дедов и прадедов;

– зрелой стала речь твоя, зрелой и спелой, словно золотая осень и полдень, словно сердце отшельника. И теперь говоришь ты: "Мир созрел, виноградная лоза потемнела",

– ныне хочет он умереть, этот мир, умереть от счастья. О высшие люди, чуете ли вы благоухание? Неощутимо распространяется оно,

– благоухание и аромат вечности, аромат золотого вина, поднимающийся от древнего потемневшего и созревшего счастья,

– от пьянящего счастья полуночи, счастья смерти, поющего: *мир глубок, и глубже, чем думает день!*

7.

Оставь меня! Пусти! Оставь меня! Я слишком чист для тебя. Не прикасайся ко мне! Разве мир мой не стал совершенным?

Слишком чиста кожа моя для рук твоих. Оставь меня, бестолковый, темный, удушливый день! Разве полночь не светлее тебя?

Самые чистые должны господствовать над землей, никому не ведомые, непризнанные и сильные, души полуночи – полуночи, что светлее и глубже всякого дня.

О день! тяжелой поступью ходишь ты за мной! Ты протягиваешь руку за счастьем моим? Я, одинокий, богат для тебя, я для тебя – кладезь сокровищ, хранилище золота?

О мир, ты хочешь *меня?* Разве принадлежу я миру? Разве я набожен? Или божественен? Но, день и мир, слишком вы неуклюжи:

– пусть ваши руки будут более ловкими, протяните их за глубочайшим счастьем и столь же глубоким несчастьем, ловите какого-нибудь бога, но не меня:

– мое несчастье, мое счастье глубоки, о удивительный день, однако не бог я и не божий ад: *глубока боль мира*.

8.

Боль Бога глубже, о ты, удивительный мир! Возьми же страдания Бога, но не меня! Что я! Опьяненная сладкозвучная лира,

– полночная лира, никому не понятные вещания колокола, но все равно он *должен* говорить, взывать к лишенным слуха, о высшие люди! Ибо вы не понимаете меня!

Миновало! Свершилось! О юность! О полдень! О время послеполуденное! Вот настал вечер, и ночь, и полночь – пес воет, ветер:

– разве ветер не пес? Он визжит, лает, воет. О полночь! Как вздыхает она и смеется, как хрипит и задыхается!

Как трезво она говорит теперь, эта пьяная сочинительница стихов! Не перепила ли она само опьянение свое? Бодрствовала ли она? Пережевывает ли вновь и вновь свою жвачку?

– во сне пережевывает она печаль свою, эта древняя глубокая полночь, а еще больше – радость свою. Именно радость, когда глубока уже ее боль: *но радость глубже, нежели скорбь*.

9.

Ты, лоза виноградная! За что восхваляешь ты меня? Я же срезал тебя! Я жесток, и вот – истекаешь ты кровью: за что воздаешь ты хвалу моей опьяненной жестокости?

"Все, что стало совершенным, все зрелое – жаждет смерти!" – так говоришь ты. Да будет благословен нож виноградаря! Но все незрелое, увы, хочет жить!

Боль говорит: "Прейди! Иди прочь, боль!". Но все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным, томящимся от желаний,

– от желаний дальнего, высочайшего и светлого. "Я хочу наследников, – так говорит все страдающее, – я хочу детей, я не хочу *себя"*.

Радость же не хочет ни наследников, ни детей: радость хочет только саму себя, она жаждет вечности, возвращения; хочет, чтобы все было вечно равным себе самому.

Боль говорит: "Разорвись, истеки кровью, сердце! Пошевеливайтесь, ноги! Крылья – в полет! Вдаль! Ввысь, скорбь!". Ну что ж! Вперед! О мое старое сердце! *Боль говорит: "Прейди!"*.

10.

О высшие люди, что думаете вы обо мне? Кто я? Прорицатель? Сновидец? Опьяненный? Толкователь снов? Полночный колокол?

Капля росы? Испарение и благоухание вечности? Разве не слышите вы? Не чуете? Мир мой стал совершенным, полночь – это и полдень,

– боль – это и радость, проклятие – это также и благословение, ночь – это и солнце; идите прочь, не то узнаете: мудрец – это также и глупец.

Говорили ли вы когда-нибудь радости "Да!"? О друзья мои, тогда говорили вы "Да!" также и *всякой* боли. Все вещи связаны друг с другом, сопряжены, проникнуты взаимной любовью,

– хотели ли вы когда-нибудь дважды того же самого, говорили ли вы когда-нибудь: "Ты нравишься мне, счастье! Мгновение! Миг!"? Тем самым хотели вы, чтобы *все* возвратилось!

– все сызнова, все навечно, все связано, сопряжено, проникнуто взаимной любовью, о, так *любили* вы мир,

– вы, вечные, любите его вечно и всегда: и даже боли говорите: "Прейди, но возвратись! Ибо *всякая радость жаждет* вечности!".

– радость так богата, что она жаждет боли, ада, ненависти, позора, увечий, *мира,* – о, этот мир, вам ли не знать его!

11.

Всякая радость жаждет вечности всех вещей, хочет меда, закваски, хочет опьяненной полуночи, могил и слез утешения на них, хочет позолоты вечерних зорь,

– о, чего только не хочет радость! Она проникновеннее, ужаснее, таинственнее, она больше жаждет, больше алчет, чем всякая боль, она хочет *себя*, она впивается в *себя*, воля кольца борется в ней,

– она хочет любви, она хочет ненависти, она безмерно богата, она дарит, она разбрасывает, она просит, как милостыни, чтобы кто-нибудь взял ее, она благодарит того, кто берет ее, она хотела бы, чтобы ненавидели ее,

О высшие люди, по вам исходит тоской эта радость – неукротимая, блаженная, – по вашей боли, вы, неудавшиеся! По неудавшемуся тоскует всякая вечная радость.

Ибо всякая радость хочет себя самой, а потому желает и горя!

О счастье! О скорбь! О высшие люди, научитесь же тому, что радость жаждет вечности,

– радость жаждет вечности всех вещей, *жаждет глубокой, глубокой вечности!*

12.

Ну, а теперь научились ли вы песне моей? Разгадали, чего хочет она? Ну что ж! Отлично! О высшие люди, спойте мне теперь круговую песню мою!

Сами спойте теперь ту песню, что зовется "Еще раз!", смысл же ее – "Во веки веков!". Спойте, о высшие люди, круговую песнь Заратустры!

О, человек! Внимай!   
Что вещает глубокая полночь?   
"Я спала,   
И от глубокого сна пробудилась:   
Мир глубок, –   
И глубже, чем думает день.   
Глубока боль мира –   
И все же радость глубже, нежели скорбь.   
Боль говорит: "Прейди!"   
Но всякая радость жаждет вечности,   
Жаждет глубокой, глубокой вечности!"

ЗНАМЕНИЕ

А утром после той ночи вскочил Заратустра с ложа своего, препоясал чресла и вышел из пещеры, сияющий и сильный, словно утреннее солнце, выходящее из-за темных гор.

"О великое светило, – сказал он, как уже говорил однажды, – ты, глубокое око счастья, в чем было бы счастье твое, не будь у тебя *тех*, кому светишь ты!

И если бы они оставались в жилищах своих, когда ты уже бодрствуешь, и восходишь, и одаряешь, и наделяешь, как негодовала бы на это гордая стыдливость твоя!

Ну что ж! Еще спят они, эти высшие люди, в то время, как я уже бодрствую: *не они* мои истинные последователи! Не их ожидаю я тут, в горах моих.

За дело свое хочу я приняться и начать свой день: но не понимают они знамений утра моего, и не зов к пробуждению для них шаги мои.

Они спят еще в пещере моей, их сонные грезы упиваются моими песнями опьянения. Однако ушей, что слушают *меня* – слуха, *повинующегося* словам моим, – этого не хватает им".

Так говорил Заратустра в сердце своем при восходе солнца; и тут же он вопрошающе взглянул ввысь, ибо услыхал над головой пронзительный крик орла своего. "Ну что ж! – воскликнул он, – это мне нравится,так и должно быть. Звери мои проснулись, ибо проснулся я.

Орел мой бодрствует и, подобно мне, славит солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы мои, истинно мои звери. Я люблю вас.

Но еще недостает мне истинно моих людей!"

Так говорил Заратустра; но вдруг услышал вокруг себя трепетание и шум крыльев, словно от бесчисленного множества птиц, и этот шум, и суматоха над головой его были так велики, что он закрыл глаза. И поистине, показалось ему, будто целая туча опустилась на него, словно туча из стрел, что сыплются на новообретенного врага. Однако то была туча любви над головой новообретенного друга.

"Что это со мной?" – подумал Заратустра, изумляясь в сердце своем, и медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в пещеру. Но когда он, махая руками, отстранял от себя птиц, что с нежностью окружали его со всех сторон, случилось нечто еще более удивительное: ибо неожиданно для себя он запустил руки в космы густой, теплой шерсти; и тотчас послышалось рычание – протяжное, но кроткое рычание льва.

*"Знамение сбывается",* – сказал Заратустра, и, сердце его преобразилось. И действительно, когда стало светлее, он увидел, что у ног его возлежит могучий зверь с желтоватой шкурой, который приник головой к коленям его и, полный любви, не желал отходить от него, словно собака, нашедшая своего старого хозяина. Однако и голуби выказывали не менее горячую любовь, чем лев; и всякий раз, когда какой-нибудь голубь пролетал над носом льва, лев качал головой своей и смеялся, удивляясь.

На все это сказал Заратустра только одно: *"Дети мои близко, дети мои",* – и после этого умолк совершенно. Однако разрешились узы сердца его, и из глаз покатились слезы и стали падать ему на ладони. И больше он уже ничего не замечал и сидел недвижимо, не отмахиваясь от птиц, его окружавших. Голуби улетали и прилетали, садились ему на плечи, ласкали седины его и не уставали в нежности своей и ликовании. А могучий лев беспрестанно слизывал слезы, падавшие на руки Заратустры, издавая при этом робкое рычание. Так вели себя эти звери.

Все это продолжалось довольно долгое время, а быть может, напротив, короткое: ибо на самом деле для подобных вещей вообще *нет* времени на земле. Между тем в пещере Заратустры проснулись высшие люди и собрались устроить своего рода шествие – выйти навстречу Заратустре и произнести утреннее приветствие: ибо проснувшись, они обнаружили, что среди них его нет. Но когда подошли они к выходу из пещеры и стал слышен шум их шагов, лев насторожился, и вид его стал грозен; он разом отпрянул от Заратустры и, дико рыча, прыгнул к пещере; а высшие люди, услышав рык его, вскрикнули в один голос, ринулись назад и мгновенно исчезли.

Сам же Заратустра, пораженный и рассеянный, не понимая, в чем дело, поднялся с камня, удивленно оглянулся, вопрошая сердце свое и, опомнившись, увидел, что он один. "Что же слышал я? – наконец произнес он медленно. – Что только что приключилось со мной?"

И вот – память вернулась к нему, и он мгновенно постиг все, что произошло между вчерашним и сегодняшним днем. "Вот тот камень, на котором я сидел вчера утром, – сказал он, поглаживая бороду, – сюда подошел прорицатель, здесь же услышал я в первый раз тот крик, который слышал только что, великий крик о помощи.

О высшие люди, это *вашу* беду предсказал мне вчера утром старый прорицатель, вашей нуждой хотел он искусить и соблазнить меня: "О Заратустра, – говорил он мне, – я пришел, чтобы ввести тебя в твой последний грех".

"В мой последний грех? – гневно воскликнул Заратустра, рассмеявшись собственным словам, – *что* же было уготовано для меня как последний грех?"

И вновь Заратустра ушел в себя, и снова в раздумье опустился на камень и погрузился в размышление. Вдруг вскочил он.

*"Сострадание! Сострадание к высшему человеку!* – воскликнул он, и лицо его потемнело и стало суровым. – Ну что ж! *Этому* – было свое время!

Мое страдание и сострадание мое – что мне до этого! Разве *к счастью* стремлюсь я? Я стремлюсь *к делу* своему!

Вперед! Явился лев, близко дети мои, созрел Заратустра, настал мой час:

Это *мое* утро, *мой* день загорается: *вставай, поднимайся, Великий Полдень!"*

Так говорил Заратустра, покидая пещеру свою, сияющий и сильный, словно утреннее солнце, восходящее из-за темных гор.